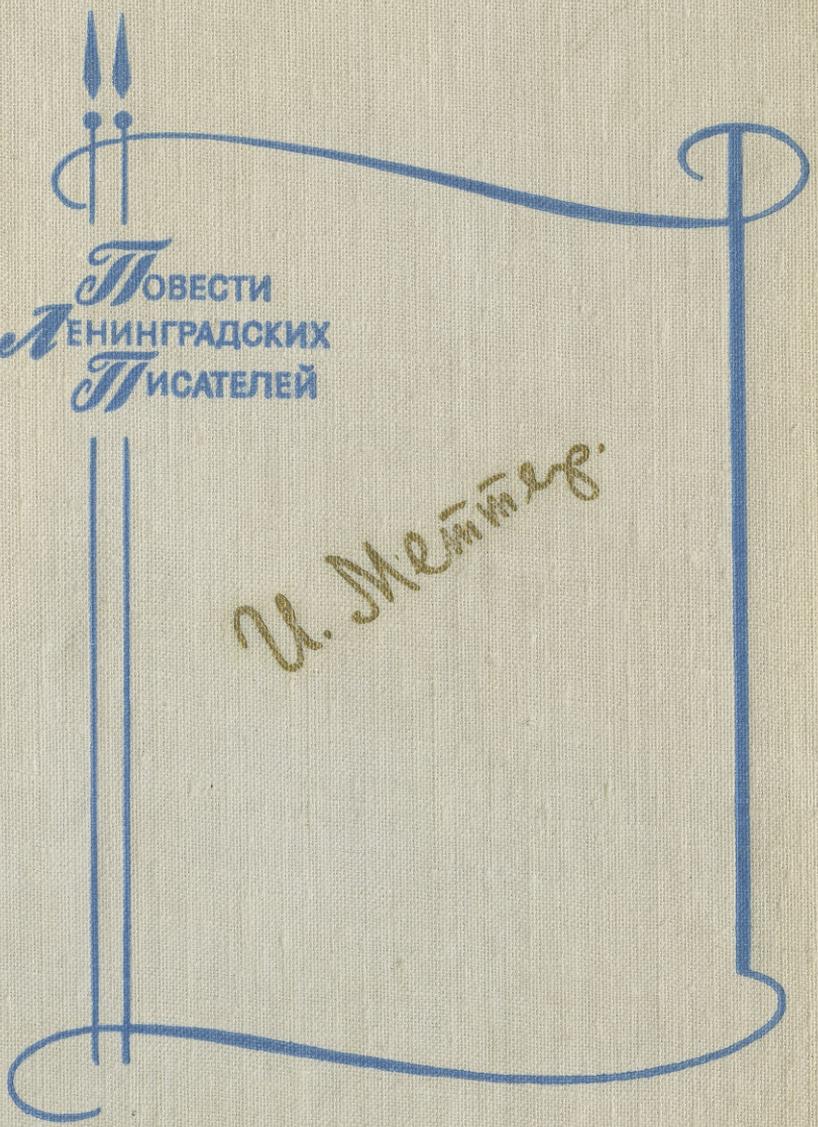


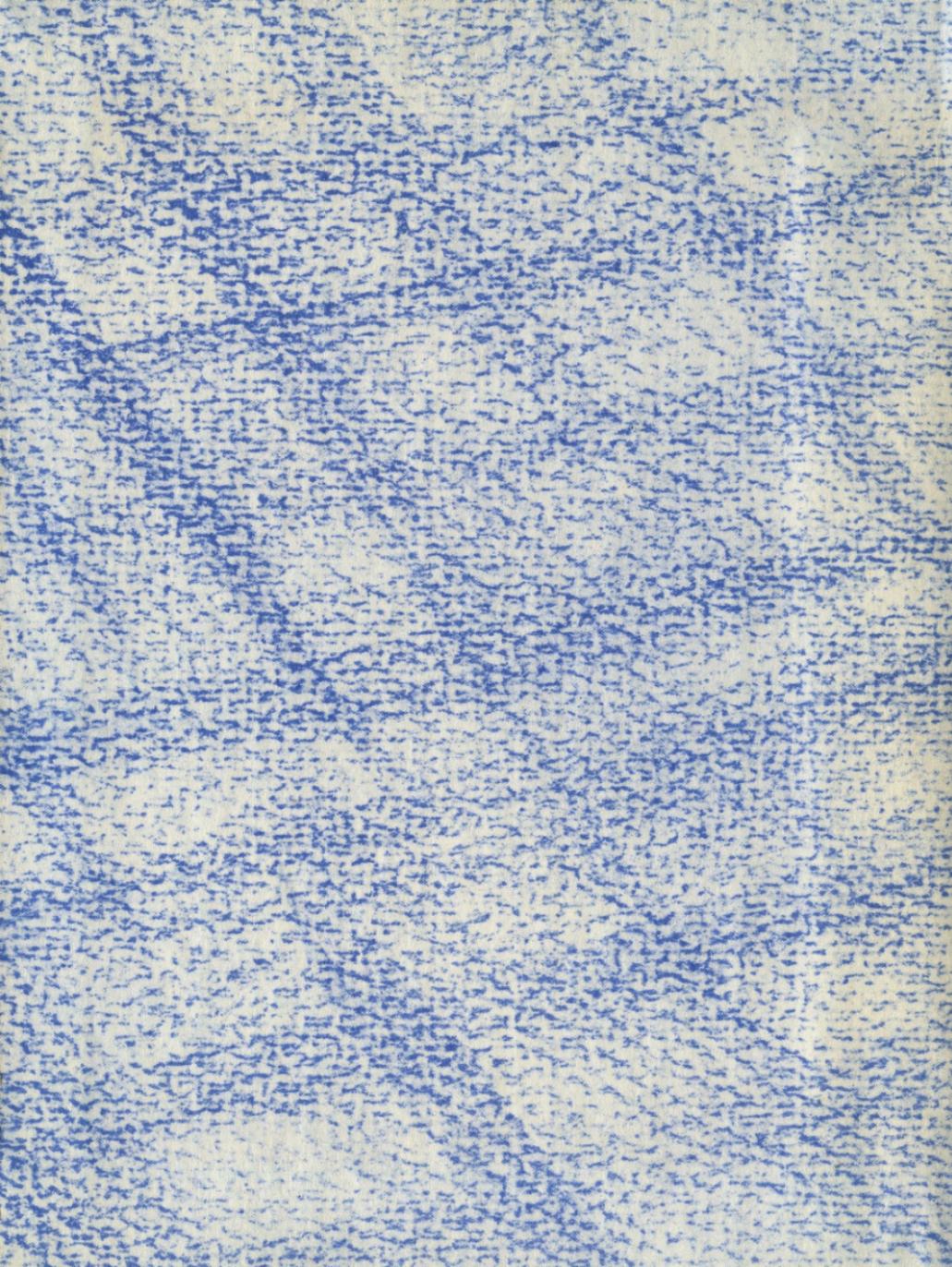


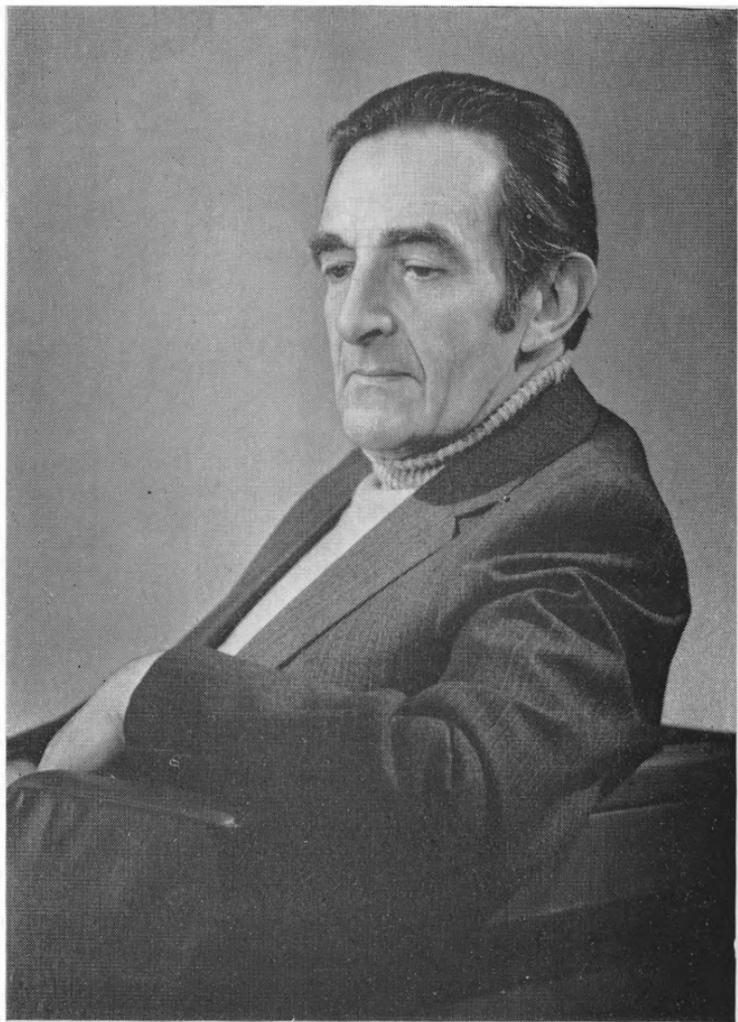
И. МЕТТЕР

ПОВЕСТИ
ЛЕНИНГРАДСКИХ
ПИСАТЕЛЕЙ

И. Меттер







И. МЕТТЕР



МУХТАР

АЛЕКСЕЙ ИВАНЫЧ

ГОЛОЛЕД

СТАЖЕР

КАТЯ

ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?

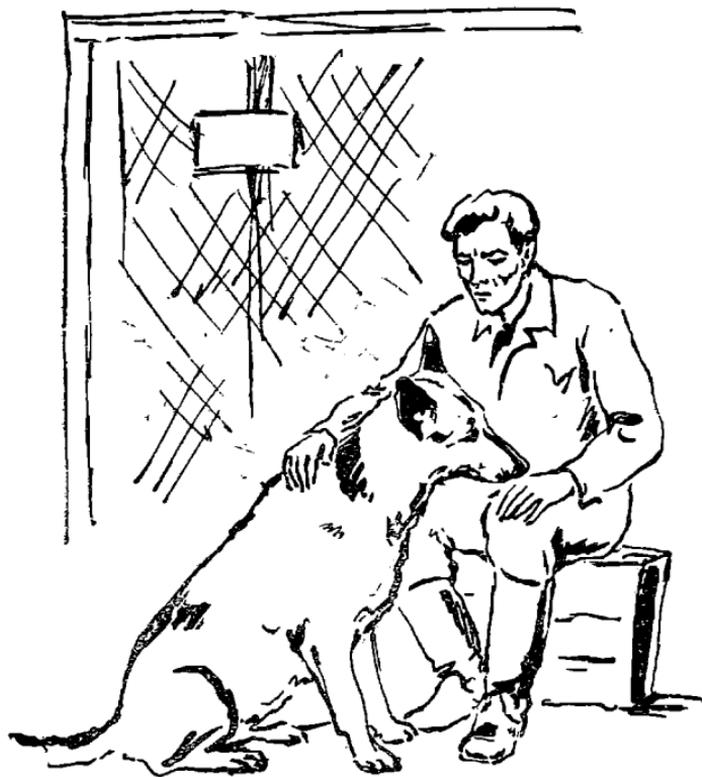
ЛЕНИЗДАТ

1982

Редакционная коллегия:

*Ф. А. Абрамов, А. И. Белинский, И. И. Виноградов,
С. А. Воронин, А. Е. Гаврилов, Г. А. Горышин,
Д. А. Гранин, Л. И. Емельянов, А. М. Минчковский,
Б. Н. Никольский, Н. П. Утехин, В. С. Шефнер*

МУХТАР



1

Мухтар появился в питомнике совершенно неожиданным образом.

В одну из летних ночей тысяча девятьсот пятидесятого года дежурному по Управлению милиции города позвонили с Финляндского вокзала. Было это уже под утро, дежурный порядком устал, ночь прошла беспокойно, поэтому он не сразу сообразил, о чем идет речь.

— Не понимаю,— раздраженно говорил он.— Почему отцепили вагон? Какая собака, чья?

Положив трубку, дежурный сказал своему напарнику:

— Совсем с ума посходили! Пса, понимаешь ли, испугались... Приучились, дьяволы, чуть что, трезвонить в милицию!

Оба они, и дежурный и его помощник, считали, что происшествия, выпавшие на их ночную долю, уже закончились, и этот пустопорожний звонок был тем ненужным, хлопотливым довеском, который выводил их из себя.

— Записывать в журнал? — спросил помощник.

— Еще чего! — сказал дежурный.

Однако, походив по комнате минут пять, чтобы разогнать предутреннюю усталость, он позвонил на Финляндский вокзал и спросил диспетчера:

— Ну как там у вас с собачкой?

Диспетчер что-то ответил ему, на что он саркастически бормотнул:

— Железнодорожнички! Распустили сопли из-за щенка...

Но тут же дежурный сразу вызвал проводника собаку Глазычева, спавшего рядом в комнате отдыха, и велел ему быстренько съездить на Финляндский вокзал.

— Заберешь там из вагона какую-то бесхозную собаку — она, говорят, хулиганит — и отвезешь к себе в питомник.

— Взрослая собака? — спросил Глазычев, беря из шкафа плащ. — Какой породы?

— Я с нее анкеты не снимал, — ответил дежурный.

Спокойно улыбнувшись, маленький неторопливый Глазычев аккуратно застегнул плащ на все пуговицы, надел кепку, примял ее, проверил, лежит ли в кармане плаща крепкая веревка с металлическим карабином для ошейника, и вышел на площадь к оперативной машине.

На Финляндском вокзале он справился в отделении дорожной милиции, где собака и что, собственно, она натворила. Лейтенант, только что заступивший на дежурство, ничего толком не знал, кроме того, что пес находится в отцепленном вагоне на шестом запасном пути у будки стрелочницы.

— Дать вам с собой милиционера? — спросил лейтенант.

— Да нет, — ответил Глазычев. — Палка у вас какая-нибудь есть? Метра на полтора.

Палку вынули из метлы. Не спеша Глазычев пошел на шестой путь. Будку стрелочницы он увидел еще издали, подле нее толклось человек десять народу; оттуда доносились громкие, взволнованные голоса.

Когда Глазычев приблизился, стрелочница, коре-настенная бабенка в ватнике, тыча свернутым флаж-

ком в сторону вагона, стоящего неподалеку, азартно до-казывала, вероятно не в первый раз, подробности недавнего события:

— Носится кобелина по вагону, из двери в дверь, из двери в дверь! Выкатил глазища, язык на сторону... Пассажиров всех выгнал, проводница как залезла с но-чи в туалет, так до сих пор там и запершись. Я уж ей через окошко кефир носила... Подходит время отпра-влять состав в обратный рейс, диспетчер лает, в чем задержка, а бригадир говорит: «Я не могу катать в по-рожнем вагоне одного пса, тем более за него не пла-чена проездная плата».

Затем стрелочница, переваливаясь на своих коро-теньких тугих ножках и не переставая трещать, охотно повела всех слушателей на экскурсию к вагону.

Глазычев последовал за ними.

Еще издали стрелочница весело крикнула, очевидно запертой проводнице:

— Ранса, как жизнь молодая?

В крайнем, чуть-чуть приоткрытом, вымазанном густыми белилами вагонном окошке показалось испу-ганное лицо пожилой женщины.

— Чего слышно? — тихо спросила она.

— В милицию звонил диспетчер,— на ходу захлебывалась стрелочница.— Сейчас пришлют человека, стрéльнет — и все... Выйдешь, Рансочка, на волю. А по-ка хорошо: тебе с перепугу недалеко бегать...

— Убивать жалко,— все так же тихо сказала Ран-са.— Я могу еще потерпеть.

— Глупости! — фыркнула коротконогая стрелочни-ца.— Было б из-за чего.

Она подвела своих спутников к середине вагона. Здесь на земле стояла высокая чурка, которую, должно быть, подкатали под окно. Взобравшись на эту чурку, стрелочница осторожно, потихоньку приподымая голову,

словно кто-то сквозь закрытое окошко мог в один миг отхватить ее, заглянула внутрь вагона.

— Есть! — прошептала она. — Лежит, бандит, у самой двери...

На чурку по очереди стали взбираться любопытные. Даже какой-то старичок-боровичок, кряхтя и цепляясь за плечо стрелочницы, вскарабкался к окошку и поскреб пальцами по стеклу. Тотчас же из вагона донеслось рычание, затем густой, осипший лай. В окне показалась крупная собачья голова. Старичок ссыпался вниз.

— Видали? — восторженно взвизгнула стрелочница.

Люди столпились внизу под окном. Погавкав на них, собака склонила голову набок и стала следить за мухой, ползущей по стеклу.

Глазычев подошел к стрелочнице.

— Вот что, девушка, — сказал он, как всегда неторопливо и дружелюбно. — Публику вы отсюда уберите, а мне, если можно, одолжите на десяток минут свой ватничек. Хлебца у вас, случайно, нету? И вагончик мне отоприте.

Публика отошла в сторону и остановилась неподалеку.

Стрелочница дала Глазычеву ватник, горбушку хлеба и ключ от вагона.

— Вы бы лучше палили через окошко, — посоветовала она Глазычеву.

Он взобрался на высокие ступеньки, отпер дверь и вошел в тамбур.

Очевидно, внутренняя вагонная дверь была неплотно прикрыта: Глазычев услышал, как собака ударила по ней лапами и распахнула с такой силой, что дверь стукнулась о стенку.

Теперь пес был совсем рядом, отделенный только дверью из тамбура.

Придерживая за ручку, Глазычев приоткрыл ее и бросил за порог на пол горбушку хлеба.

Собака хлеб не взяла и гулко залаяла, пытаясь просунуть морду в щель.

— Молодец,— сказал Глазычев.— Хорошо. А чего, в самом деле, со мной церемониться? Тебя как, дурака, зовут?

Он обращался к собаке не то чтобы ласковым, а удивительно спокойным и даже уважительным тоном. Оскалив крупные клыки, залитые слюной, сморщив темный нос и выгнув книзу широкую шею, на которой торчком встала длинная шерсть, собака злобно лаяла. Ее особенно раздражало, что сквозь щель в дверях Глазычев был совсем рядом, а схватить его не было никакой собачьей возможности.

— Ну что? — уговаривал ее Глазычев, незаметно делая последние приготовления: он закреплял на конце длинной палки короткую веревку с карабином.— Ну, чего расхотелся? Я ведь все равно тебя умнее. И насколько я тебя не испугался. Давай лучше сделаемся похорошему... Не хочешь, дурень? Ну смотри, дело твое...

Затем он быстро и сильно толкнул плечом дверь, так что пес от неожиданности отпрыгнул назад, и перешагнул порог.

Не останавливаясь, Глазычев решительно пошел на собаку, и когда она, тотчас же опомнившись от удивления, что ее не боятся, бросилась навстречу, он ловко сунул вперед левую руку, обмотанную ватником, прямо в ее раскаленную пасть.

Пес впился в ватник. А Глазычев спокойно правой рукой зацепил карабин об его ошейник.

Минут через двадцать они оба выпрыгнули из вагона: собака, привязанная к концу длинной палки, и Глазычев, держащий эту палку за другой конец.

В питомнике он запер пса в просторную клетку. Из собачьей кухни принес и поставил ему кастрюлю с жирным супом. К вечеру, перед уходом домой, Глазычев зашел его проведать. Кастрюля лежала на боку, суп из

нее вытек. Пес кинулся на проволочную сетку, встал на задние лапы и зарычал.

Старший инструктор Дорохов, который подошел к клетке вместе с Глазычевым, сперва присел на корточки, потом зашел сбоку, справа и слева осматривая беснующуюся собаку, и в заключение крикнул Глазычеву, перекрывая лай:

— Хороша машина!

В устах Дорохова это было высшей похвалой псу.

Назавтра нашлась его хозяйка. В питомник приехала на «Победе» отлично одетая женщина, от которой так пахло духами, что казалось, даже ее автомобиль работал не на бензине, а на духах. Запах этот был настолько силен, что тридцать семь кобелей в клетках подозрительно зашевелили влажными черными ноздрями, когда она прошла в кабинет к начальнику, майору Билибину.

Отрекомендовавшись женой капитана первого ранга, она сообщила, что собака, задержанная накануне в поезде, принадлежит ей. Собачьи документы, родословная, были у женщины при себе.

Просмотрев их, Билибин спросил:

— Каким же путем вы его потеряли в вагоне?

— Я его не теряла. Я от него ушла.

Увидев, что Билибин удивленно прищурился, она пояснила:

— Да, ушла совершенно сознательно. Я велела ему лечь под скамью. Он не соизволил послушаться. А когда я замашнулась на него поводком, он бросился на меня. Посудите сами, товарищ майор: мне было стыдно перед пассажирами! Собака, бросающаяся на свою хозяйку...

— Согласно документов,— перебил ее Билибин,— хозяином немецкой овчарки, по кличке Мухтар, является гражданин Колесов А. С.

— Это мой муж.

— Попрошу паспорт,— сказал Билибин.

Женщина Билибину не понравилась. Ему было не по душе, что она сразу заявила о своем браке с капитаном первого ранга. Билибин не терпел, когда на него пытались воздействовать чинами и званиями. Вообще эта женщина не понравилась ему всем, даже тем, что на нее бросилась собственная собака. А если майору Билибину кто-нибудь не нравился, то он становился таким отчаянным формалистом и чиновником, что его самого тошнило от этого, но сдержаться у него не хватало сил.

— Гражданин Колесов А. С. действительно является вашим мужем, — сказал Билибин, отдавая ей паспорт. — Брак зарегистрирован.

— А я в этом несколько не сомневалась, — язвительно ответила женщина.

— Остается только одно: собака должна опознать вас.

— Вы хотите сказать, что я должна опознать собаку?

— Таков порядок, — ответил Билибин. — Пройдемте на территорию.

Мухтар почувал хозяйку еще издали. Из грозного зверя он вдруг превратился в щенка. Подпрыгивая от счастья на всех четырех лапах, Мухтар повизгивал, вертелся на месте, хвост его затибал, как маятник. В соседних клетках беспокойно забрехали собаки, когда мимо них проходила незнакомая посетительница, а Мухтар в ужасе слушал их лай, не понимая, как же можно так негостеприимно встречать его хозяйку. Он тотчас же грозно зарычал на этих невеж, пытаясь объяснить им, что если они сию секунду не замолчат, то будут иметь дело лично с ним.

Все это произошло еще до того, как Мухтар увидел свою хозяйку. Когда же она появилась перед его клеткой, он повалился на пол, задрал кверху лапы и стал елозить хребтом по полу, изгибаясь в разные стороны и кося на нее светящиеся восторгом глаза.

«Я могу и так, и так, и эдак,— рассказывали его глаза.— Я очень веселый, я ужасный шутник, я чуть не издох без тебя...»

— Убедились? — спросила Билибина женщина.

Услышав ее неповторимый голос и запах, от которого он сомлел, Мухтар перевернулся на живот и пополз к металлической сетке, отделяющей его от хозяйки.

«Сейчас мы пойдем с тобой домой,— говорила Мухтарова умильная морда.— Кажется, я в чем-то виноват перед тобой, но ведь ты самая добрая, самая умная, самая справедливая... Да посмотри же на меня наконец!»

И, словно поняв, о чем он просит, женщина посмотрела на него, затем обернулась к Билибину и сказала:

— Не согласитесь ли вы взять у меня эту собаку?

— То есть как «взять»? — спросил Билибин.— Купить?

— Я могу отдать ее даром.

— Зачем же,— сухо сказал Билибин.— За хорошую собаку мы платим приличную сумму.

— Интересно, какую же? — засмеялась женщина.

— До тысячи двухсот рублей.

— Слышишь, Мухтар? — весело сказала женщина.— Мне предлагают за тебя тысячу двести рублей. Мухтар радостно залаял.

— Эту сумму мы даем только за очень хорошую собаку,— сказал Билибин.— И после соответствующей проверки.

— Его родители знаменитые золотые медалисты,— сказала женщина.

— Этого еще мало.— Глядя ей в глаза и с удовольствием думая, что то, что он сейчас скажет, имеет второй, сладкий для него смысл, Билибин продолжил: — Родители могут быть трижды знамениты, а сын или дочь — порядочной дрянью.

— Ну что ж,— сказала она.— В общем-то, мне все равно. Деньги не играют решающей роли. Как скоро вы можете устроить эту самую проверку? Мухтар ужасно линяет, в квартире от него кошмарная грязь...

Билибин ответил, что оценку собаки можно произвести сейчас же, если у гражданки Колесовой есть полчаса свободного времени: она сама должна принять в этом участие.

Был вызван ветеринарный врач питомника Зыранов — поджарый крепкий старик с длинным лицом, старший инструктор Дорохов и проводник собак Глазычев.

— Возьмите пса из клетки,— сказал Билибин хозяйке,— и выведите его к нам на тренировочную площадку. Он у вас хоть немного обучен?

— Александр Серафимович с ним занимался.

— Это кто ж такой? — спросил Билибин, хотя и понял, о ком она говорит.

— Мой муж.

Она вывела Мухтара из клетки на поводке. От волнения и счастья он тут же задрал заднюю ногу на пенек. Он досадовал на эту вынужденную задержку и все посматривал назад, под свой живот, скоро ли это безобразие кончится. Оно длилось, и Мухтар все это время страдальческими глазами глядел на хозяйку.

На площадке Мухтара осмотрел ветеринар. Рядом, совсем близко, стояла хозяйка и ласково гладила его по голове, чесала ему бок. Вытянув вверх морду, Мухтар закатывал глаза под самый лоб, часто и быстро высовывал язык, облизывая свой нос. За то наслаждение, что он сейчас испытывал, Мухтар разрешил чужому человеку, от которого пахло множеством собак, осмотреть себя.

— Кобель клинически здоров, удовлетворительной упитанности и чистки,— сказал ветеринар Билибину.

Билибин сидел за столом, вкопанный на площадке в землю.

— Привяжите его к дереву и отойдите в сторону,— велел он женщине.

К привязанному Мухтару подошел Дорохов и замахнулся на него палкой. Не отпрянув, не зажмуривая глаз, Мухтар рванулся к нему на всю длину поводка, и, когда поводок отбросил его назад, он стал рвать ремень из стороны в сторону.

Дорохов ударил его тряпкой. Мгновенно подбросив свое тяжелое туловище вверх, Мухтар лягнул зубами и ухватил тряпку, едва только она взлетела над его головой. Мотнув шеей, он вырвал тряпку из рук Дорохова и с ненавистью принялся полосовать ее своими литыми зубами.

— Собака хорошей злобности,— сказал Дорохов Билибину и потише добавил: — Стоящая собачонка, Сергей Прокофьевич.

Билибин поднялся из-за стола, приблизился к Мухтару сзади и, вынув из кармана пистолет, выстрелил. Мухтар оставил тряпку, гневно обернулся и бросился на Билибина.

После этого стали оформлять счет.

Билибин диктовал, женщина писала.

— Сумму проставьте тысячу рублей,— сказал он.

Она засмеялась.

— Вы говорили — тысяча двести. А ведь мой Мухтар еще умеет приносить газету.

— Газеты должен носить почтальон,— сухо сказал Билибин.— Глазычев, собака ела сегодня?

— Вторые сутки не ест, товарищ майор.

— Принесите еду, пусть гражданка покормит его.

Ей вручили кастрюлю с густым супом. Она поставила это подле Мухтара, он мигом, громко захлебываясь, вылакал все до дна.

— Только посмей вымазать меня жирной мордой,— сказала ему хозяйка.— Лежать, Мухтар!

Положив голову на вытянутые лапы, он прилег у ее ног и лежал до тех пор, куда она заканчивала оформление счета на его продажу.

Перед уходом из питомника хозяйка сама отвела его в клетку. Он шел рядом с ней, гордо подняв голову, высоко вскидывая лапы — сытый, счастливый,— и только бдительно посматривал по сторонам, не грозит ли ей какая-нибудь страшная опасность. Ведь это именно ее он защищал сейчас от врагов, нападавших с палкой, с тряпкой, с пистолетом.

Шел Мухтар недолго.

Хозяйка ввела его в клетку, велела: «Сидеть!» — и вышла вон. Сколько было сил, вздрагивая от напряжения, он заставлял себя не двигаться с места, пока не увидел, что ее платье исчезло за поворотом. Еще мгновение он втягивал ноздрями то, что оставалось от хозяйки,— ее острый запах,— а затем сорвался с места, в один прыжок достиг металлической сетки и, ткнувшись в нее носом, тонко заскулил.

Глазычев приблизился к клетке. С жалостью глядя на тоскующего пса, он тихо сказал ему:

— Ну что? Познакомился с человечеством?..

Мухтар вскинулся на задние лапы и свирепо зарычал.

Так началась его служба в милиции.

2

Собственно, служба началась не сразу. Для того чтобы превратиться из домашней собаки в служебно-розыскную, Мухтару пришлось потратить год напряженной жизни.

Ему надо было учиться. Он поступил в школу.

В ленинградском милицейском питомнике уже давно

не выводят и не содержат щенков. Оказалось, что первый год щенячьей жизни обходится государству в одиннадцать тысяч рублей. Каким образом невинному щенку удавалось так беспардонно объедать государство, сказать трудно. Сам-то он лакал не так уж много — рублей на пять в день, но, покуда у него прорезались зубки и открывались глаза, в графе накладных расходов угрожающе росли цифры. На каждого еще послушного щенка накидывались чьи-то зарплаты, какой-то ремонт, чьи-то дрова и даже стоимость украшений питомника к Первому мая и к Седьмому ноября. Когда все это было подсчитано начфинами хозяйственных управлений и соответственно доложено по инстанциям, инстанции пришли к выводу, что разводить щенков нерентабельно.

Был установлен иной порядок.

Питомник стал закупать взрослых собак, в возрасте от года до двух. Каждая такая собака закреплялась за одним проводником. Он работал с ней до конца ее служебной жизни, лет восемь-девять. Затем собаку выбраковывали, списывали, и проводник получал другого пса. Сук в питомнике не держали, ибо два раза в год они были неработоспособны: им хотелось рожать.

Незадолго до скандального появления Мухтара у проводника Глазычева погибла собака. Он успел поработать с ней недолго — года с полтора, особой привязанности между ними не возникло, и теперь, увидев новую овчарку, Глазычев стал тотчас же присматриваться к ней.

Вскоре после ее покупки последовал приказ Билибина, соединивший их — пса и человека — еще в то время, когда Мухтар ненавидел Глазычева всеми силами своей собачьей души.

Проводник не торопил собаку. На первых порах ему было важно, чтобы Мухтар смирился с тем, что он, Глазычев, имеет право подолгу торчать у Мухтара на глазах,

Возясь подле клетки, Глазычев беседовал с собакой на разные темы, сущности которых она не усваивала, но к тихому и неторопливому голосу его, к запаху чисто мытого банным мылом тела она постепенно привыкала.

Два раза в день он просовывал в клетку кастрюлю с едой. На седьмые сутки, ослабев, Мухтар смирился и с этим. Он только не мог сперва есть при Глазычеве, а делал это тайком, когда никто не видел. Вероятно, ему казалось тогда, что он ворует еду, а это было менее позорно, нежели принимать пищу из враждебных рук.

К концу недели на него напала какая-то апатия: ему было все безразлично. Злобно встречать проводника он уже не мог, а радоваться его приходу было еще рано; пусть вертится сколько хочет поблизости, лишь бы только не прикасался к нему руками.

Через проволочную сетку Мухтар видел, как выводили собак, живущих по соседству, на тренировочную площадку.

Рядом с ним, за деревянной стеной, жил кобель Дон. Рослый матерый пожилой пес весил пятьдесят шесть кило; когда он чесал бок о стенку, она подрагивала. Характер у Дона был суровый, шуток он не любил, на жизнь смотрел мрачно. Проводник его, старший лейтенант Дуговец, воспитывал Дона исключительно на научной основе, и поэтому взаимоотношения у них были суховато-деловые. Дуговец строго спрашивал с Дона все, что требовалось по службе, Дон неукоснительно выполнял его распоряжения; на ежегодных осенних состязаниях они занимали первые места. Что же касается практической работы в угрозыске, то никаких особых талантов у Дона не было, и Глазычев даже считал, что Дон — старый халтурщик.

Вот с этим-то своим соседом на третий день жизни в питомнике и сцепился Мухтар.

Произошло это таким образом. Собак выгуливали поодиночке два раза в день, выпуская их для этого в

маленький огороженный дворик, густо поросший лебедой. Минут двадцать собака бегала там, справляя все свои неотложные дела, затем ее уводили обратно в клетку и на смену выпускали другого пса.

Не заглянув предварительно в этот дворик, пуст ли он, Дуговец выпустил туда своего Дона. А там в это время, печально свесив голову, стоял Мухтар, безучастный к окружающему, его грызла тоска.

Дон с ходу, не издав ни звука, как это умеют делать только очень злые и опытные собаки, налетел на него сбоку, свалил с ног и впился в загривок.

В первое мгновение Мухтар растерялся. Но, подмятый тяжелой собакой, полузадушенный, он вдруг ощутил такую ярость на все то, что проделывают с ним в последние дни, такая ненависть пронзила каждый его мускул, что все тело его напряглось до последней возможности, он извернулся под врагом, перекатившись через спину, и вскочил на ноги.

Рыча — Мухтар еще не умел драться молча, — он кинулся на Дона, сшибить его не смог, но рванул всей пастью за ухо, пригнул его голову к земле и только потом опрокинул. Он был легче своего противника килограммов на пятнадцать, однако движения Мухтара были неуловимо быстрыми, клыки вонзались, как гвозди, рвали и снова вонзались.

Первым вбежал во двор Глазычев.

— Дуговец! — позвал он тотчас же.

— Дон, ко мне! Дон, рядом! — заорал Дуговец, влетая во двор.

Дон, может, был бы и счастлив оказаться сейчас рядом со своим проводником, но старый Дон в данный момент извивался под Мухтаром, раздираемый в клочья.

— Будешь отвечать! — крикнул Дуговец Глазычеву. — Убери своего стервеца!

Глазычев сунулся было к клубящимся собакам, протянул руку, чтобы схватить Мухтара за ошейник, но, увидев бешеную окровавленную морду, отступил и быстро выбежал со двора.

Он мигом вернулся, волоча пожарный шланг. Тугая струя воды, как палкой, стукнула Мухтара сперва в бок, а затем начала стегать по всему телу. Яростно обернувшись, он выпустил Дона и ударил струю лапой. Он хотел схватить эту палку зубами, но она забивалась в рот, слепила глаза, глушила его.

Ругаясь, Дуговец повел ковыляющего Дона к ветеринару. Мокрый, ошалевший Мухтар легко дал увести себя в клетку.

— Намаешься с этим псом,— сказал Дуговец Глазычеву.— Злобу у него надо снимать. Слушаться тебя не будет...

— Полюбит — так послушается,— беззаботно ответил Глазычев.

— Любви у собак не бывает. Есть рефлексы. Их и надо отрабатывать.

— Да ну тебя,— сказал Глазычев.— Скучно.

— Современному человеку наука не может быть скучна.

— По науке, Дуговец, мы с тобой состоим на семьдесят процентов из воды. Интересно это тебе?

— Разумеется.

— А мне нет.

Дуговец пожал плечами.

— Ну а собака тут при чем?

— При том,— сказал Глазычев,— Пока. Через год повстречаемся.

И проводник повез Мухтара в школу.

На первых порах учение давалось ему с трудом. Он был упрям, горяч и любил делать только то, что ему нравилось.

Бывало так, что Глазычев часами мучился с ним,

добиваясь безотказного выполнения какого-нибудь самого простого приема общего послушания, а Мухтар, словно издеваясь над ним, валял дурака. И тут же с легкостью он проделывал то, чего не могли выполнить хорошо дисциплинированные собаки.

Хуже всего обстояло дело, когда за его работой наблюдало начальство. Он этого не выносил. Какой-то собачий бес вселялся тогда в Мухтара, превращая его в тупого, капризного и злобного пса. Школьные инструктора совсем было махнули на него рукой, Глазычев выслушал от начальства немало горьких слов, но на выпускных испытаниях Мухтар внезапно получил высший балл за работу по следу.

След был проложен пять часов назад по трудной местности, он шел и по булыжной дороге, и вдоль нее, через кустарники и овраги, выходил на асфальт, пересекался широкими тропками — и под тупыми, и под острыми углами; прокладчик зарыл на следу в землю одну свою рукавицу, вторую подвесил на дерево, а в конце своего пути, протяженностью в три километра, он спрятался между высокими поленищами дров.

— Пустой номер, — сказал начальник учебной части, когда дошла очередь до Мухтара. — Проскочит первый же угол...

Глазычев подвел собаку к дверям сарая, откуда начинался путь прокладчика, тихо сказал ей: «Нюхай, Мухтар!» — затем, вложив в голос все свое беспокойство за судьбу испытаний, тревожно прошептал:

— След, Мухтар! След!..

И спустил его с поводка.

Собака сперва пошла медленно, принюхиваясь и чихая от пыли, которая набивалась в ноздри; погода стояла сухая, запах прокладчика быстро выгорал на солнце.

— Пустой номер, — повторил начальник учебной части. Он придвинул к себе оценочный лист собаки и

горестно почмокал: четверки и тройки обильно усеяли страницу. Этот проклятый пес может крепко занизить общую картину выпускной группы.

Нервно зевнув, начальник учебной части прикрыл рот ладонью. Он всегда нервно зевал, когда ему хотелось опохмелиться, «поправиться», а для этого не представлялось ближайшей возможности. Нащупав в кармане кителя обгрызенный мускатный орешек, который он всегда носил с собой в качестве закуски, для отбития аромата алкоголя, начальник с тоской двинулся за удаляющейся собакой.

Мухтар шел все быстрее. Он держал нос у самой земли. Глазычев едва поспевал за ним.

Дойдя до первого тупого угла, Мухтар покрутился на развилке, все более и более распаяясь против того человека, что оставил свой еле слышный след в пыли, свернул было с дороги на тропку, однако здесь запах совсем пропал, и Мухтар снова вернулся на булыжное шоссе.

От булыжника било в нос лошаадьми, железом, резиной, кошкой, коровами, бензином, бензином, бензином, но сквозь всю эту вонь пробивался и раздражал Мухтара и гнал его вперед запах врага, которого ему велел найти Глазычев.

На шоссе попалась вторая развилка, третья — Мухтар миновал их, не задерживаясь. Он уже бежал рысью, по-прежнему ведя нос над самой землей. Булыжник кончился, запах ушел в кусты, спустился в овраг, здесь он уже гремел вовсю. Он внезапно так усилился, этот запах, что Мухтару показалось, будто враг зарылся под палые листья в землю. Быстро покосившись на проводника — здесь ли он, Мухтар стал яростно разбрасывать передними лапами кучу мусора. Дорывшись до закопанной рукавицы, он рванул ее зубами, но подоспевший Глазычев тотчас же отнял ее, велел сидеть и, ткнув рукавицу ему в нос, приказал: «Нюхай!»

Бока пса дрожали от возбуждения.

Подошли члены комиссии, один из них сказал:

— Собака работает заинтересованно.

Понюхав рукавицу, Мухтар ходко пошел дальше. Теперь уже он ни в чем не сомневался. Ему только хотелось поскорее выполнить приказ проводника и дожидаться от него одобрения. Проводник все время бежал сзади; еще поотстав, за ним двигались какие-то люди, и от одного из них пахло тем же, что и от ларьков, стоящих на углу.

На бегу Мухтару нанесло ветром в нос вони, которой он сейчас нанюхался из рукавицы. Только теперь вонь шла не от земли, а откуда-то поверху. Замедлив шаг, он почуял, что потоки ее низвергались справа, с дерева. Он остановился под березой и, ничего не видя в ее листве, залаял на запах.

Глазычев снял с ветки вторую рукавицу.

— Молодец,— сказал он Мухтару.— Умница!

— Поощрять собаку надо уставными словами,— поправил проводника начальник учебной части.— Если каждый курсант начнет заниматься отсебятиной...

Дальше Глазычев не расслышал; Мухтар понесся вперед, и он побежал за ним.

Прокладчик, в ватном тренировочном костюме, сидел в дровах и докуривал папиросу, пуская дым себе за пазуху. Он задумался, высчитывая, сколько дней осталось до получки, когда прямо с поленницы Мухтар прыгнул на него, повалил на дрова и стал рвать на нем толстый комбинезон.

Подоспел Глазычев и за ошейник отодрал пса от прокладчика. Мухтар не совсем понимал, почему у него отнимают добычу, которую сперва так настойчиво приказывали выследить. Задыхаясь в крепких руках проводника, он хрипел, лаял и рвался к врагу.

Приблизились и члены комиссии. Начальник учебной части недовольным голосом произнес:

— Собака еще сырая. Она способна причинить покус.

После долгих споров Мухтару выставили за следую-щую работу пятерку.

К вечеру испытания закончились. В оценочном листе был выведен средний балл—4,6.

Мухтар вернулся из школы в питомник оформлен-ным для милицейской службы. В чистенькой новой пап-ке на него завели «личное дело». Оно было тоненькое, как у всякого начинающего работника.

3

Каждый день по две собаки дежурили круглосуточно в Управлении городской милиции. Их привозили на машине с Крестовского острова, из питомника, и уводи-ли на задний двор управления, где в каменном здании стояли две большие клетки. В ожидании происшествий псы скучали здесь, зевали, спали. Они не умели играть в «козла», как делали это их проводники в комнате от-дыха, покуда не требовался выезд с собакой к месту происшествия.

График дежурств сложился у Мухтара так, что ему чаще всего приходилось дежурить вместе с Доном. Вза-имная ненависть их со временем не ослабла. А может, они и чувствовали, что их проводники тоже недолюбли-вают друг друга.

Дуговец был постарше Глазычева. Ему оставалось несколько лет до выхода в отставку, и эти последние годы он остерегался на чем-нибудь оступиться. За три-дцать лет службы Дуговец достиг звания старшего лей-тенанта, скрывал свою досаду на это, сочиняя сложные теории, как его постоянно обносили чинами и наградами и как ему наплевать на все это, ибо самое важное — честно исполнять свой долг.

Легкомыслие Глазычева раздражало его, Дуговец не

доверял людям, которые любят слишком много шутить. Глазычеву же нравилось донимать его и «заводить» пустыми разговорами.

— Слушай, Степан Палыч, почему ты никогда не поешь? — спрашивал его Глазычев.

— То есть как не пою?

— Ну, я никогда не слышал, чтобы ты чего-нибудь напевал.

— Что ж, я всех, что ли, один буду петь?.. На демонстрации или в клубе — другое дело.

— А почему ж все люди сами для себя напевают?

— Кто это, интересно, все?

— Ну я, например...

— Дуракам закон не писан, — сердился Дуговец. — Ты много чего делаешь, как не положено.

В первые месяцы работы с новой собакой Глазычеву не везло. Во время его дежурств ничего особенного не случалось, а если что-нибудь и происходило, то отправляли к месту происшествия Дуговца с Доном.

Как бы ни складывались у Дуговца обстоятельства, возвращаясь, он в подробностях рассказывал, что именно было предпринято им для раскрытия преступления. Операция лежала перед слушателями как на ладони: Дуговец чертил на листке план местности, помечал крестиками, где стоял вор, в какую сторону пошел, откуда Дон взял его след, и если при всем этом задержать преступника все-таки не удавалось, то невольно выходило, что преступник совершил какую-то непоправимую ошибку, из-за которой Дон не смог его найти.

Однажды, приехав с Мухтаром утром в управление, Глазычев посадил его в клетку на заднем дворе и зашел к дежурному доложить. В этот день дежурил тот самый капитан, который когда-то послал Глазычева на Финляндский вокзал за взбунтовавшейся собакой.

Перед столом дежурного сидела аккуратная маленькая старушка, с головой, повязанной двумя косынка-

ми — белой снизу и темной поверху. Она внимательно слушала капитана, поправляя все время свои косынки глянцевыми подагрическими пальцами и кивая головой.

Капитан объяснял, вероятно, уже долго и рассчитывал, что старушка сейчас подыметя и уйдет. Но она не уходила.

Глазычев тотчас же понял, что дежурному до смерти не хочется принимать от старухи заявление — конец квартала, подбиваем бабки — и он старается во что бы то ни стало убедить ее не возбуждать дела.

Наклонившись через стол, он ласково спрашивал:

— Ведь сарай-то ваш был не закрыт? Так? Замка на дверях не было, так?

Старушка кивала.

— Вот видите! Как же можно, бабушка? И клетка с кроликами тоже была не на запоре, так?.. Сколько, говорите, у вас там штук сидело?

— Двое. Самец и самочка.

— Ну вот. А может, они взяли да ушли... Почему кролики-то?

— По пятнадцать брала, — ответила старуха.

— Значит, итого тридцать целковых. И вы хотите, чтобы мы расследовали такое малозначительное дело, посылали к вам проводника с собакой, когда и сам факт кражи не установлен.

— Давеча приносила им корм, — сказала старуха, — они сидели, а нынче утром нету.

— Так я же вам объясняю. Они, может, сами ушли. — Капитан через силу улынулся. — Погода хорошая, надоело им сидеть в клетке, видят, замка нет, взяли да пошли... Вот как, бабушка, — попробовал заключить он. — Никакого заявления подавать вам не надо, горе ваше небольшое, другой раз будете замыкать сарай.

Протянув ей листок с ее заявлением, он взялся за телефонную трубку,

Старуха держала свою бумагу на весу. Капитан уже разговаривал по телефону, а она все не уходила. Когда он положил наконец трубку на место, старуха спокойно сказала ему:

— Жаловаться на тебя буду.

Глазычев шепотом обратился к дежурному:

— Может, мне съездить к ней, товарищ капитан? С утра пораньше время тихое, я вам не понадоблюсь...

Дежурный раздраженно посмотрел на него.

— Вас, между прочим, Глазычев, не спрашивают. И не имейте привычки встревать в разговор.

Однако, взглянув боком на старуху и заметив, что она достала из-за пазухи свернутый конвертом носовой платок, развернула его и вынула оттуда чистый лист бумаги и авторучку, дежурный сказал ей:

— Нехорошо, бабушка, делаете, несознательно... Сейчас поедете с нашим работником и со служебно-розыскной собакой.

Бабушка снова согласно кивала головой.

В машине она без всякого страха, с любопытством рассматривала огромного Мухтара и даже хотела погладить его, очевидно задабривая собаку, чтобы она добросовестней искала украденных кроликов.

Дом, в котором старуха жила, находился на Охте. Это был старый кирпичный трехэтажный домина, стоявший в глубине двора; посреди же двора, вероятно, когда-то помещался каретный сарай, поделенный сейчас дощатыми перегородками на клетушки-дровяники.

В одной из таких клетушек и жили бабкины кролики.

Двор был сперва пуст, но, как только появился здесь Глазычев с собакой, тотчас же набежали дети, вышел рослый дворник, из окон стали выглядывать женщины.

— Начальству привет! — сказал Глазычеву дворник. — Держись, ребята! — подмигнул он мальчиш-

кам.— Вертайте назад зайцов, а не то сабака вам задницы пообкусывает!

Проводник попросил дворника придержать в сторонке детей, чтобы они не болтались под ногами; Мухтара он завел в каретник, посветил карманным фонарем в дровянике; здесь у кроличьей клетки, под распахнутой дверкой, валялась охапка вялой травы, она была сырой. По сырости след сохраняется крепче и дольше, поэтому Глазычев указал Мухтару пальцем на траву. Ткнув в нее нос, Мухтар сразу развернулся и пошел прочь из каретника. Он пробежал недалеко, всего шагов пятнадцать — до того места, где столпились ребята, и, спружинив к земле лапы, часто залаял на дворника.

— Правильно! — восторженно крикнул дворник. — Я же с утра весь двор заметал, дрова жильцам из сарая носил!.. Мои сапоги любой дух перешибут...

— Обозналась собака, — разочарованно сказала бабка. — Дали мне завалящего пса, лишь бы отвязаться от старухи.

Окоротив поводок, Глазычев взял лающего Мухтара за ошейник.

— Вы где живете? — дружелюбно спросил он дворника.

— А вот мои окна, от панели первые снизу... Не обижайся на собачку, бабуля, ей зарплата не идет... В каком, интересно, она у вас чине? — спросил он Глазычева.

— Рядовая, — ответил Глазычев. — Водички у вас, товарищ дворник, можно попить?

— Чего доброго, — сказал дворник.

Зайдя в дворницкую, Глазычев стал медленно пить из ковшика и — как бы случайно — спустил с руки поводок. Мухтар тотчас же натянул его, забравшись под кровать. Он вынес оттуда в зубах две кроличьи шкурки, отдал их проводнику, затем деловито направился к плитке, поставил на нее свои лапы и облаял закрытую кастрюлю.

— Суп? — спросил Глазычев, приподымая крышку. В кастрюле торчали кроличьи ноги.

— Ну и ну! — сказал дворник. — Нашла все-таки, паскуда!

Старуха смотрела на него, отвалив нижнюю челюсть, подбородок ее вздрагивал.

— Я же тебя ростила, Федя, — сказала она.

— Внук? — спросил Глазычев.

Не отвечая, она развязала две свои косынки; реденькие сухие седые волосы рассыпались на ее голове.

— Как же ты, Федя, без спросу? А? — Голос у нее был тоскливый, жалобный.

— Да ну вас, бабуля! — отмахнулся дворник. — Люди больше воруют, а тут из-за двух крысят шуму подняли, минимум вас зарезали... Мне-то ничего, я деньги верну, отбодаясь, а вам совестно: рдного внука травите собаками!

— Ну и подлец же ты, — сказал ему Глазычев. — Снимай фартук, поедем в управление.

Так на счету у Мухтара появились первые деньги — горестные старушечьи тридцать рублей.

В питомнике над этой суммой посмеялись. И только начальник, майор Билибин, поздравил проводника:

— С почином вас, товарищ Глазычев.

Глазычева Билибин заметил с первых же дней работы. Среди проводников попадались люди случайные. Служба эта неустойчивая, неудачи ее всегда можно свалить на собаку, успехи же приписать себе.

Билибин работал в питомнике с незапамятных времен; с грустью наблюдал он, как постепенно отмирает это дело: городские мостовые и тротуары становились все более и более затоптанными, вонючими, собак применяли все реже, они умели брать только последний след, а в условиях большого города сохранить место преступления и окрестность вокруг него свежими удавалось не часто.

В городском управлении завелось много новых людей, к служебно-розыскной работе собак они относились снисходительно, полагая ее устаревшей, примерно как в армии конницу. Из-за этой снисходительности оформлялись порой в питомнике люди без особого подбора: либо прощтрафившиеся на другой работе в милиции, либо бездарные сотрудники, которых пристраивали в питомнике, не сумев подыскать формулировки для их увольнения.

Одним из таких проводников был лейтенант Ларионов. Тридцати пяти лет от роду, он успел за короткий срок службы в милиции перебрать множество должностей: был постовым, участковым, начальником паспортного стола, служил в угрозыске. Он ценил на всех этих должностях только одно: власть. Как известно, плохие шахматисты не умеют думать дальше своего второго хода, да и то при этом всегда полагают, что против них играет человек более глупый, нежели они. В затруднительных случаях лейтенант Ларионов делал то, что ему подсказывала его власть. Он не задумывался над тем, к чему это приведет и что за этим последует. Власть давала ему возможность сделать один-два хода. Он их делал. А если потом ему и влетало от начальства, то это опять-таки не нарушало стройности его теории: начальство поступало правильно, ибо у начальства была еще бóльшая власть, нежели у него, у лейтенанта Ларионова.

Суждения Ларионова о людях тоже были просты. Они укладывались в два понятия: ему повезло, или ему не повезло. Например, майору Билибину повезло, писателю Шолохову повезло, авиаконструктору Туполеву повезло; улыбнись же судьба ему, Ларионову, и он достиг бы точно таких же результатов, как и все эти счастливики.

Однако судьба не улыбнулась лейтенанту, ему сильно не повезло — его перевели в питомник на должность

проводника. Пройдя годичный курс обучения в специальной школе, он получил под свое начальство кобеля Бурана, которого не любил и побаивался, ибо Буран трижды покусал его за время обучения.

Дела Ларионова на проводницкой службе шли ни шатко ни валко, пожалуй, даже лучше, нежели в других должностях: здесь он был все еще новичком, его полагалось воспитывать, вытягивать, выращивать.

К нему прикрепили Дуговца, который, как старший, опытный товарищ, опекал его, учил, советовал ему.

Дуговец настойчиво повторял:

— Нажимай на теорию, Ларионов. Ликвидируй свою слабинку в части трудов академика Павлова. Литературу я тебе подберу.

И он принес ему несколько брошюр. Ларионов старательно прочитал их, сделал выписки в специальной тетради, четко ответил на наводящие вопросы Дуговца, после чего на еженедельных занятиях в питомнике Буран покусал своего проводника в четвертый раз.

Перевязывая ему руку, ветеринарный врач Зырянов покачал своей длинной лысой головой:

— Что ж это с вами получается, товарищ Ларионов? Этак он вам когда-нибудь в горло вцепится. Буран — зверь серьезный.

— Не повезло мне с собакой, Трофим Игнатьевич. Уж я, кажется, стараюсь...

Зырянов запыхтел. По природе своей человек мягкий, он всегда начинал пыхтеть перед тем, как ему надо было сказать кому-нибудь резкость.

— Стараетесь, да не так, — сказал Зырянов. — Давеча прохожу я мимо Бурановой клетки, он ест, а вы ни с того ни с сего обозвали его заразой. Конечно, ему обидно... И вот вам результат.

Он показал на перевязанную руку Ларионова.

— По-вашему, значит, выходит, собака понимает разговор? — ухмыльнулся Ларионов.

Взяв его за плечо и придвинув к себе, словно собираясь сообщить важный секрет, Зырянов громко сказал ему в самое ухо, как глухому:

— Она решительно все понимает.

Затем он отстранился и уже обыкновенным тоном спросил:

— Вы книжки про животных любите читать?

— Товарищ Дуговец меня снабжает,— ответил Ларионов.

— Ну а вот, например, Джеком Лондоном вам доводилось увлекаться?

— Не попадался мне,— ответил Ларионов.

В тот же день он рассказал Дуговцу свой разговор с ветеринарным врачом. Выслушав, Дуговец иронически улыбнулся и постучал пальцем по своему виску:

— Я давно замечаю — старик у нас чокнутый.

Но, поразмыслив над всем этим, Дуговец пришел к выводу, что дело, может, вовсе и не так просто, как кажется с первого взгляда.

Он явился к начальнику питомника, майору Билибину.

— Я насчет нашего ветврача, Сергей Прокофьевич,— сказал Дуговец.— По совести говорят (Дуговец произносил это выражение именно так: не «по совести говоря», а «по совести говорят»), по совести говорят, беспокоит меня Зырянов. Это же фигура, Сергей Прокофьевич! Молодежи бы надо равняться на таких специалистов...

Билибин слушал хмуро. Он знал, что если Дуговец начинает так хорошо говорить о человеке, то, значит, человек этот чем-то раздражает его.

— А разговоры мне его не нравятся,— тотчас же сказал Дуговец.— Взять хотя бы со мной. Согласно последних данных, порода наших собак нынче называется «восточноевропейская овчарка». А Зырянов, в присутствии молодежи, именует их по старинке — «немец-

кая овчарка». Я попробовал было тактично поправить его, а он заявляет, что никаких таких восточноевропейских собак в жизни никогда не встречал... Факт, конечно, маленький, но воспитывать народ надо и на мелочах.

— Все? — спросил Билибин.

— Не все, — ответил Дуговец. — Третьего дня была у Зырянова беседа с Ларноновым. Ветврач рекомендует ему читать литературу не отечественную, а исключительно зарубежную. И внушал, между прочим, взгляды, в корне противоречащие теории академика Павлова.

— Например? — спросил Билибин.

Дуговец протянул ему листок бумаги.

— Я тут все изложил. Чтобы не быть голословным.

Опершись на руку и прикрыв ладонью глаза, Билибин прочитал бумажку.

— Не совестно вам, Дуговец? — устало спросил Билибин.

— А что? — восторженно воскликнул Дуговец. — Заедают меня эти запятые, Сергей Прокофьевич!.. Я же окончил только пять классов. В наше время знаете как учили: через пень колоду...

Билибин сказал:

— Я ведь тоже учился в ваше время. И классов у меня тоже немного, всего семь.

— Ну, вы-то фигура, Сергей Прокофьевич!

— Бросьте заниматься чепухой, Дуговец. Трофим Игнатьевич Зырянов отличный работник, дай бог каждому...

— А он за это деньги получает, — сказал Дуговец. — Я его работу не хаю. Конечно, ваше дело, товарищ майор, я человек маленький... Докладную прикажете оставить или взять с собой?

— Оставьте, — сказал Билибин.

Когда проводник вышел, он еще раз прочитал бумажонку, скрипнул зубами и, ткнув в нее горящую папиросу, прожег в середине дырку, вторую, третью;

затем для чего-то посмотрел в эти дырки на свет, в сторону окна. Через окно было видно, как идет по двору Дуговец, размахивающий руками, и рядом с ним Ларнонов.

4

Мухтар привязывался к Глазычеву все крепче.

Дело не в том, что собака слушалась своего проводника, — это сравнительно нехитрая штука. Отношения их были гораздо серьезнее. Мухтар знал, в каком строении находится Глазычев. Знал он это по тем невидимым человеку признакам, о которых не догадывался и сам проводник. Сюда входили не только голос или выражение лица Глазычева, но и его обыденные, житейские движения: то, как он вынимал из кармана папиросы, гребенку, носовой платок, как вытирал пот со лба, как садился и вставал.

Если Глазычев чувствовал утомление, то немедленно утомлялся и Мухтар. Язык его тотчас же вываливался на сторону, шумно дыша, он поглядывал на проводника, тактично давая ему понять, что устал, собственно, не Глазычев, а он лично, Мухтар, и совершенно нет ничего страшного в том, что они сейчас немножко отдохнут. Когда же работа требовала от них обоих непрерывных и долгих усилий, Мухтар никогда не позволял себе первым показать, что силы его на исходе. Он готов был, как и Глазычев, десять раз начинать поиски сначала, чувствуя себя виноватым и глубоко несчастным, если они не увенчались удачей.

Неутомимость его удивляла даже крепкого на ходьбу Глазычева.

— А ты, брат, железный, — говорил ему иногда проводник.

Хвостом, глазами, ушами, всем своим телом Мухтар отвечал:

— Ничего не поделаешь — служба!

Хвост у Мухтара вообще был необыкновенно выразительный; такие простые чувства, как умиление, радость, злость, в счет не идут. С хвостом Мухтара дело обстояло сложнее. Бывало, что Глазычев, идя за своей собакой, начинал вдруг придирчиво посматривать на ее хвост. Казалось бы, все было в порядке, все шло нормально: Мухтар старательно бежит по следу, рыская носом над самой землей. Но проводнику постепенно становился подозрителен Мухтаров хвост. Что-то в нем было лживое и унылое. Глазычев командовал:

— Рядом, Мухтар!

Собака тотчас же подбегала к нему.

Проводник строго спрашивал ее:

— Ты зачем халтуришь? Думаешь, я не вижу? А ну, не липачить, Мухтар! След!

И, нервно покрутившись на том месте, откуда позвал его проводник, Мухтар сперва возвращался немного назад, а затем сворачивал со своего прежнего пути и шел в другом направлении.

Что поделаешь, он действительно слегка схалтурил. Задумался при исполнении служебных обязанностей. Собакам ведь тоже есть о чем подумать...

По-прежнему худо складывались у Мухтара отношения с начальством. Никого он не хотел признавать, кроме Глазычева, да еще, пожалуй, поварихи собачьей кухни Антоновны.

Никакой фамильярности он не позволял и ей, но заносить в его клетку кастрюлю с едой и ставить ее на пол Антоновне милостиво разрешалось. Убирать же пустую кастрюлю из клетки имел право только сам Глазычев. Поэтому, когда проводник как-то дней на семь забюллетенил, Мухтар еду от Антоновны принимал, вылизывал все до дна, но кастрюли тотчас же сам прибирал за собой, снося их в дальний угол клетки. Они лежали там горкой, семь кастрюль, покуда не вернулся Глазычев:

это было его, проводническое, имущество — так считал Мухтар,— и он сдал ему все сполна, как говорится, с рук на руки.

Других работников питомника Мухтар равнодушно терпел. Он знал их в лицо и по запаху, однако они были для него чужими людьми, способными в любую минуту сотворить пакость.

Некоторое исключение составлял еще ветврач Зырянов. Заходить к нему в амбулаторию вместе с Глазычевым Мухтару нравилось. Здесь пронзительно пахло зеленым мылом, а мыться Мухтар любил. Он охотно вскакивал на длинный амбулаторный стол, под кварцевую лампу, и спокойно стоял, разрешая Зырянову осматривать лапы, шерсть, глаза, уши. Нравилось ему, как старик беседует с Глазычевым: тихо, без угроз, не размахивая руками.

Мухтар вообще всегда внимательно прислушивался к тому, каким тоном разговаривают с его проводником. Он даже полагал, что Глазычев порой проявляет излишнюю доброту или легкомыслие, разрешая кое-кому непозволительные интонации. Было как-то, что на городских осенних состязаниях Мухтар сработал неважно, и председатель комиссии, майор, начал довольно сильно распекать проводника:

— Управляете собакой плохо, лейтенант...

Мухтар сидел рядом, подле непривычно вытянувшегося в струнку Глазычева, и, задрав морду, удивленно поглядывал на него, не выпуская из поля зрения майора.

— Безотказность у вашей собаки совсем не отработана. Защиту своего проводника выполняет она лениво!..

У майора был и без того непочтительный голос, а сейчас голос этот, наточенный раздражением, резал Мухтаров слух до невозможности. Поставив вздрагивающие уши, он покрепче уперся передними лапами в землю.

Искося видя, что собака волнуется, Глазычев сильно натянул поводок и вежливо попросил председателя комиссии:

— Пожалуйста, потише говорите, товарищ майор...

— Что-о?! — повысив голос, рявкнул майор.

И тут Мухтар рванулся к нему; проводник еле удержал его, откинувшись всем своим туловищем назад.

Майор же оступился, его поддержали под локотки два члена комиссии.

В результате этого неприятного случая — в сущности, из-за того, что Мухтар не умел различать погоны, — он получил на состязаниях диплом третьей степени вместо диплома второй степени.

— Не любит твой Мухтар критики, — язвительно сказал Глазычеву Дуговец.

— А какая собака ее любит? — ответил Глазычев.

Слава шла к Мухтару медленно, задерживаясь в пути. Он долго пробавлялся мелкими делами; имущество, найденное им, оценивалось небольшими суммами денег, и все это были квартирные или чердачные кражи.

— Они с Глазычевым ударяют по частному сектору, — посмеивались в питомнике. — Одних подштаников на тыщу рублей гражданам вернули.

Глазычев добродушно улыбался в ответ, и только однажды, возвратясь как-то особенно усталым после трудного, неудачного суточного дежурства, внезапно зло огрызнулся:

— Мне портки какого-нибудь работяги не менее дороги, чем десять тысяч государственных денег!

— Это как же понимать? — насторожился Дуговец.

— А вот так и понимай. У меня с моим псом такая точка зрения...

Побывал Мухтар у Глазычева дома. Забежав как-то по дороге из управления домой перекусить, проводник привел свою собаку. Этот визит оставил в душе Мухтара мучительное воспоминание.

Сперва, подымаясь по лестнице, он думал, что они идут работать. По привычке приюхиваясь к ступенькам, он только удивлялся сильному запаху проводника, который, правда, шел рядом, но запах курился не от него, а от каменных ступеней. Когда же они вошли в квартиру, то Мухтар тревожно вскинул к проводнику морду, желая, очевидно, объяснить, что в таких условиях никакая работа немыслима. Здесь решительно все насквозь пропахло проводником.

В довершение к этому из какой-то комнаты с радостным криком выбежал мальчик и метнулся к Глазычеву.

— Папка пришел! С Мухтаром...— кричал он, взбираясь на руки к отцу.

Из тех же комнатных дверей появилась женщина, она тоже имела серьезные права на Глазычева— это Мухтар понял тотчас же. Женщина поцеловала проводника, взяла у него пальто и повесила на вешалку.

— Нам бы чего-нибудь пожевать, Лидочка,— попрощал ее Глазычев.

Они вошли в комнату. Мальчик слез с отцовских рук на пол и двинулся к собаке.

— Осторожно,— сказала женщина.— Вовка, поди сюда.

— Ничего,— сказал Глазычев.— Мухтар понимает.

Мухтар угрюмо смотрел на приближающегося Вовку. Мальчик был до ужаса похож на проводника— такой же квадратный, добродушно-широколицый, с румяными скулами и косо поставленными глазами; когда он подошел совсем близко, Мухтар быстро взглянул на Глазычева: проводник был тут, он сидел за столом. И этот же проводник— только маленький, слабый и глупый— протянул Мухтару конфету.

— Возьми, Мухтар,— приказал Глазычев.

Мальчик совал конфету прямо в собачий нос: еще никто не смел так нахально обращаться с Мухтаром.

Рычанье созрело у него в груди, в горле, он еле дышал, чтобы оно не прорвалось сквозь стиснутые клыки.

— Ты доиграешься! — тихо сказала Глазычеву жена.

— А я тебе говорю, он понимает, — ответил Глазычев. — Вовка, погладь его.

Конфету Мухтар не взял; поглаживание Вовки вытерпел. Только собака смогла бы оценить, чего это ему стоило.

Они пробыли в этой квартире с полчаса, покуда Глазычев ел. Сын сидел у него на коленях, жена приносила и уносила тарелки. Мухтар лежал у печки, как ему было велено. Мальчика он ненавидел, женщину — тоже: проводник разговаривал с ними таким ласковым голосом, что Мухтарово сердце разрывалось от ревности.

Перед уходом Глазычев сказал сыну:

— Смотри, Вовка, у тебя он конфету не брал, а у меня враз проглотит.

Проводник небрежно бросил конфету собаке. Она отвернула голову в сторону и подобрала лапы, словно боялась об эту конфету обмараться.

— Ого! — подмигнул Глазычев жене. — Обиделся.

— На что?

— Ревнует.

— Да ну тебя, — засмеялась жена.

Подойдя к Мухтару, Глазычев погладил его твердой, сильной рукой по голове и тихо, в самое ухо, пояснил:

— Ты холостяк, а я женатый. У меня семья, Мухтар. Понял? Человеку без семьи живется так себе. Как собаке ему живется, понял?

— Балуешь его, Коля, — сказала жена.

— А чего он в жизни видит? — сказал Глазычев. — Из клетки на работу, с работы в клетку...

Тем временем дела Мухтара на службе пошли в гору. Слава его началась с пустячного воровства, однако,

раскрывая эту кражу, собака Глазычева, как выражаются проводники, «хорошо сыграла», и о ней заговорили уважительно.

В одном из пригородов, на Карельском перешейке, дважды в течение месяца обкрадывали кладовую военного санатория. Из кладовой уносили продукты и вино. В первый раз выезжал в санаторий Дуговец с Доном, обшарил все окрестности, вернулся в питомник ни с чем, ругая администрацию санатория дурными словами: во взломанную кладовую лазали все кому не лень, территория затоптана больными, собаке там делать нечего.

— Сама, наверно, администрация и тиснула продукты, — заключил Дуговец. — У директора и кладовщицы морды — пробы негде ставить.

Во второй раз отправили на кражу Глазычева.

Старший оперуполномоченный, поехавший вместе с ним, рассказал ему по пути, что из военного округа уже раздраженно жаловались в управление компссару на беспомощность угрозыска.

— На крайний случай, — предложил оперуполномоченный, — примем такое решение. Я сделаю разработочку, выясним подозреваемого, а собака пускай по твоему сигналу его облает. С перепугу он, может, и расколется...

— Не подойдет, — сказал Глазычев. — Я люблю работать чисто.

В санаторий они прибыли рано утром, но подъем уже прозвонили, и народу в усадьбе толклось порядочно. Слух о том, что вторично обворована кладовая, разнесся мгновенно, больные бродили группами, шумно обсуждая ночное событие.

Кладовая помещалась позади кухни, в углу усадьбы. Здесь сейчас тоже стояли люди: начальник санатория в военной шинели, какой-то старичок в пижаме, кладовщица в белой куртке, культработник в баяном и стройный, высокий капитан в кителе с пограничными петли-

цами. У ног капитана сидел красавец пес, немецкая овчарка.

Все, кто стоял здесь, обращались почему-то не к начальнику санатория, а к симпатичному старику в пиджаке. Увидев это, старший оперуполномоченный протянул ему свое удостоверение и представился, но старик пожал узенькими плечами.

— Я — отдыхающий. Вот начальник санатория.

У начальника лицо было размыто красными пятнами, он рассеянно взглянул на уполномоченного, на Глазычева, на Мухтара и спросил:

— Вы с собакой?

Затем обернулся к старику:

— Товарищ генерал, из уголовного розыска тоже прислали собаку.

— Ну что ж, — сказал старик, — как говорится, один ум хорошо, а два лучше. Пусть побеседуют с капитаном, он им расскажет обстановку... Да бросьте вы так волноваться, Евгений Борисович, — улыбнулся он начальнику санатория и покачал своей по-солдатски стриженной седой головой. — На фронте были храбрым офицером, а сейчас трусите...

— На хозяйственной работе страшнее, товарищ генерал, — ответил начальник, тоже пытаясь улыбнуться, но вместо улыбки у него дернулись губы, и с внезапной злой горечью он добавил: — На войне я, по крайней мере, знал, из-за чего могу погибнуть...

Оперуполномоченный вместе с Глазычевым отозвали капитана в сторону. Оказалось, что этого пограничника с собакой сегодня поутру вызвал из соседней части генерал, который тоже был пограничником.

Капитан держался с милицейскими уверенно, разговаривал иронически, особенно с Глазычевым: низенький проводник в своей трепаной кепчонке и выдавшем виды плаще, очевидно, не вызывал в этом подтянутом офицере никакой веры и уважения. А может, и просто он при-

надлежал к той породе военных, которые недолюбливают милицию.

— Собачонка у тебя сугубо гражданская,— сказал он Глазычеву.— Лапку умеет давать?

— А вы попробуйте, товарищ капитан,— простодушно предложил Глазычев.— Она как раз с утра не за-втракала.

Оперуполномоченный стал вежливо расспрашивать капитана. Тот отвечал лаконично. Поскольку вызвали, постольку приехал. Применял своего пса, хотя в данных конкретных условиях это занятие совершенно бессмысленное, исключительно для провождения времени. Тут с ночи ездили по территории грузовики, залили кругом бензином.

— Пойду-ка я поговорю с народом,— сказал оперуполномоченный.

Глазычев вынул папиросы, протянул капитану, тот был некурящий.

— Вы с какого места, товарищ капитан, давали собаке след? — спросил Глазычев.

— С какого надо, с такого и давал. Ревизор нашелся!

— Я ведь потому спрашиваю,— терпеливо объяснил Глазычев,— что мне неохота водить своего Мухтара там, где вы ходили со своей собакой.

— К твоему сведению,— сказал капитан,— где мой пес работал, там другому уже делать нечего.

— Попыток не убыток,— сказал Глазычев.

— Хочешь показать свое «я»? — спросил капитан.

— Интересный у нас с вами получается разговор,— улыбнулся Глазычев.— Вроде вы от одной лавки работаете, а я от другой.

Он пошел прочь от капитана. «Бывают же такие люди,— думал Глазычев,— даже представить себе совместно».

Белев Мухтару сидеть и для верности привязав его

поводком к сосне, он обошел усадьбу. Она была обнесена высоким, метра в три, дощатым забором. Подле ворот и калитки стояла проходная будка, в ней дежурил вахтер. У вахтера Глазычев узнал, что на ночь ворота с калиткой берутся на запор. И в нынешнюю ночь, и при совершении прошлой кражи запоры оставались нетронутыми.

— Картина ясная,— сказал вахтер.— Сигнал, паразит, через забор. Мне всех более Верку жалко. Затаскают ее теперь...

— Это кто ж такая Верка?

— Кладовщица.

— Не обязательно будут таскать,— сказал Глазычев, однако подумал, что непременно станут таскать.

Он пошел в кладовую. На бочке с огурцами сидела рыжая толстая девушка в белой куртке, она часто сморкалась и плакала.

— Напрасно вы, девушка, прежде времени расстраиваетесь,— сказал ей Глазычев.— Вон какую сырость развели. Вас Верой зовут?

— А хотя бы,— ответила она.— Вы тоже из милиции?

— Ага,— сказал Глазычев и сел рядом на вторую бочку. Постучав по ней кулаком, спросил: — Капуста?

От удивления, что он так участливо с ней беседует, кладовщица перестала плакать. За этот месяц ее несколько раз допрашивали, не всегда вежливо, и она с обидой чувствовала, что ее на всякий случай в чем-то подозревают. Больше того, когда ее допрашивал оперуполномоченный, он давал ей понять, что хорошо бы, если б она назвала кого-нибудь, кто мог совершить кражу из кладовой. Назвать она никого не смогла, и оперуполномоченный остался ею недоволен.

— Такое наказание на мою голову,— всхлипнув, пожаловалась она Глазычеву.— За один месяц — второй раз!..

— И помногу уносят? — спросил Глазычев.

— Ужас! Пять окороков висели, я на базе еле вымолила за третий квартал. Сыр голландский, восемнадцать кило. Масло несоленое, высшего сорта, два ящика. Вино кагор, для желудочников. Цыплята жировые,— Евгений Борисович в округ ездил, выхлопотал... Теперь не знаю, что будем закладывать в котел... А ваш, из милиции, говорит: «Больно, говорит, много перечисляете, гражданочка, под одну кражу!»

— Это он пошутил,— сказал Глазычев.

— Какже могут быть шутки, когда у людей горе... Сейчас начнут под Евгения Борисовича копать...

Посидев с кладовщицей еще минут десять, Глазычев вышел, жалея девушку.

На прощанье он сказал ей:

— А на милицию, Вера, не обижайтесь: дураков везде хватает.

Бывало, конечно, что и такие девушки оказывались виноватыми,— всяко бывало, но он привык оберегать себя от поспешного недоверия к людям. Точка зрения Дуговца, направленная против всякого человека: «Ты мне сперва докажи, что ты не виноват», была Глазычеву неприятна.

Сидя на бочке в кладовой, он обдумал, с чего начать поиски. Приводить сюда Мухтара не было никакого смысла: наследили здесь и люди, и собака, и машины. Кражу, конечно, совершили артельно: одному вору столько не унести. Вероятно, вахтер был прав — лазали через забор.

И Глазычев, начав с угла у кухни, медленно пошел вдоль забора. Земля подле забора местами была утоптана, а кое-где рос кустарник. Осмотрел Глазычев кустарник — поломанных или сильно примятых веток не было. Обойдя всю территорию, он пошел в обратном направлении, теперь оглядывая доски забора. На одной из поперечных прожилин он заметил оторванную щепку,

она висела на волоконце. Могли оборвать ее сапогом, когда перемахивали через забор, а может, и висела она спокон веку. Он дошел до конца и снова вернулся к этому месту. Щепка как щепка.

Во время работы к Глазычеву всегда привязывалась какая-нибудь бессмысленная фраза, которую он, не слыша, повторял шепотом. И сейчас, склонившись над прожилкой, он шептал:

— Тем не менее... Тем не менее...

А что «тем не менее», черт его знает.

Щепку он оторвал, сунул ее в щель забора насквозь, чтобы видно было с той стороны, в каком она месте висела. Затем, взяв Мухтара, который уже устал сидеть и нервно перебирал лапами, вышел с ним в лес, окружающий санаторий.

Там, где торчала из забора щепка, проходила по земле мелкая канава. Спустив здесь Мухтара с поводка, Глазычев подал ему команду: «Апорт!»

Мухтар был дотошным псом. Если ему велели: «Апорт!» — он обшаривал носом каждую травинку и все, что попадалось по пути, даже горелые спички, сносил к проводнику.

Стоя под сосной, Глазычев принимал доставляемое собакой барахло: старые консервные банки, ржавые гвозди, истлевшие тряпки.

— Тем не менее... — шептал Глазычев. — Тем не менее...

Мухтар принес веревочку. Веревочка была жирная. Глазычев понюхал ее, она пахла ветчиной. Такими веревочками обвязывают окорока.

— Молодец! — сказал собаке проводник. — Рядом!

Он взял ее за ошейник, погладил, затем подвел к тому месту, где валялась веревка, приказал нюхать и, как всегда тревожно, скомандовал:

— След!

Мухтар пошел,

Судя по хвосту и ушам, он шел верно, не сомневаясь. Идти за ним было трудно, потому что он пер напролом, через кусты и ямы.

Они двигались уже минут сорок, когда Мухтар вдруг замедлил шаг у поваленной, полусгнившей сосны, обошел ее вокруг, часто тыча морду в осыпавшуюся хвою и фыркая, затем стал быстро выбрасывать лапами землю.

Землей засыпаны были ящики с маслом и вином. Окорока и сыр, уложенные в мешок, лежали тут же.

Глазычев сел на поваленный ствол, обмахнул потное лицо кепочкой, покурил. Мухтар, вывалив мокрый язык, лежал рядом, изредка облизываясь на ветчину.

— Славная ты собака,— сказал ему Глазычев.— А ветчины не получишь, приучайся жить по средствам, на свою зарплату... Я вон в кладовой как хотел соленого огурца, и то не попросил. У нас с тобой знаешь какая деликатная работа? Попросишь, а потом скажут — взятка...

И, вспомнив, что собак все-таки положено поощрять уставными словами, проводник сказал:

— Хрошо, Мухтар. Хорошо!

Но Мухтар больше любил, когда Глазычев разговаривал с ним обыкновенным человеческим языком.

Отдохнув немного, проводник сходил за оперуполномоченным. Они зарыли ящики и мешок в том же месте, где все это лежало, аккуратно присыпали хвоей и ушли с Мухтаром неподалеку в кусты.

Сидеть в засаде пришлось до рассвета. Под утро явились за своим добром воры. Трое парней с лопатой, оставив на дороге грузовик, пешим ходом дошли до поваленной сосны, поплевали на руки и принялись разгребать землю.

— Спускай собаку,— шепнул оперуполномоченный.

— Рано,— ответил Глазычев.— Пусть сперва вынут харчи. А то потом отопрут: скажут, что просто так ямку копали...

Когда проводник с оперуполномоченным поднялись из кустов и крикнули: «Стой! Руки вверх!» — парни бросились кто куда.

Мухтару велено было задержать их. Он сделал это легко и быстро — собрал трех воров, как наседка собирает разбежавшихся цыплят. Не пришлось даже потрепать их: увидев мчащегося на них пса, воры приросли к земле намертво, а Мухтар был воспитан рыцарски — неподвижных врагов он не трогал.

5

Шло время. Мухтар матерел.

Он уже весил больше пятидесяти кило, грудь его и крестец раздались вширь, лапы стали толстыми, звериными, на мощной шее серым цветом играла хорошо промытая, длинная шерсть — она была как богатый воротник на фланте.

В стужу он не уходил через лаз в зимнее помещение, а спал тут же, в клетке, на заиндевевшем полу; утром потягивался, выпуская из пасти клубы пара.

Зимой работы бывало поменьше. В крепкие морозы собак применять было почти бесполезно: чутье их на сильном холоду отказывало. Да и ворье по зиме больше отсиживается.

Однажды пришли к Мухтару гости.

Это случилось в один из тех дней, когда в питомнике проводят с собаками тренировочные занятия. Мухтар уже отработал свой урок, и Глазычев собирался увести его, когда в калитку, в сопровождении майора Билибина, вошли двое гостей: молодая женщина, от которой сильно пахло духами, и пожилой моряк.

Женщина тотчас же узнала свою собаку.

— Саша! — восхищенно сказала она пожилому моряку. — Ты только посмотри, какой он стал красавец! Я же тебе говорила, что мы отдаем его милым людям...

И, обернувшись к Билибину, она протянула ему маленькую, мягкую руку.

— Мы вам ужасно благодарны, товарищ майор Спасибо.

— Не на чем,— сказал Билибин.— Своих денег он стóбит.

— Денег? — спросил моряк. Он посмотрел на жену: — Каких денег, мама?

— Ах господи! Я же тебе сто раз рассказывала...

Она ускорила шаг, почти побегом к собаке.

— Мухтар, Мухтар, Мухтарушка!

В ласковом голосе ее угадывались слезы жалости и умиления.

Служебно-розыскная овчарка Мухтар не терпела когда посторонние люди называли ее по кличке. Этому она была обучена Глазычевым.

Мухтар обернулся на шум. Какая-то женщина в распахнутой шубе быстро шла к нему, повторяя громким чужим голосом:

— Мухтарушка, Мухтарчик...

Зарывав, он кинулся на нее и, как его учили в школе с разбега повалил наземь.

Глазычев, не успевший его удержать, помог женщине подняться и принялся смущенно оббивать снег с ее шубы.

— Не узнал! — плакала она от обиды.— Как он посмел забыть меня?..

Чувствуя себя виноватым, проводник старался успокоить ее и оправдать Мухтара, бормоча что-то про рефлексы, торможение и сигнальную систему.

Пожилый моряк стоял рядом.

Он спросил:

— Ты не ушиблась, мама?

Затем, трудно улынувшись, сказал Билибину:

— Вероятно, собаки, так же как и люди, не любят когда их продают,

Билибин подтвердил, что большинство псов в питомнике через год-два напрочь забывают своих бывших хозяев.

— Ясно,— сказал моряк.— Я бы не расстался с ним, но супруга опасалась, что он искушает сынишку.

Больше они в питомнике не появлялись.

Шло время, течения которого Мухтар не замечал и не понимал. Он знал свою работу, скучал без нее, когда проводник уходил в отпуск.

Сменился сосед по клетке справа: беднягу Дона списали по старости, у него провисла спина и стерлись клыки. Дуговец свез его в ветеринарную лечебницу и вернулся оттуда уже один.

Овчарки снова стали именоваться «немецкими», а не «восточноевропейскими»,— это Мухтару было безразлично.

Старший инструктор Дорохов вышел на пенсию — и этого Мухтар тоже не заметил.

Вместо Дорохова на его должность поставили Дуговца.

Дуговец так сильно старался подчеркнуть, что это новое назначение отнюдь не меняет его прежних взаимоотношений с проводниками, что все они тотчас же почувствовали: появился новый начальник.

С прежними своими друзьями по службе он был так же прост в обращении, мог так же дружески хлопнуть их по плечу, так же подмигнуть им, однако если и они отвечали ему тем же, то старший инструктор Дуговец незамедлительно давал им понять, что он — старший инструктор Дуговец.

Сложнее всего было с Глазычевым. Всяко пытаюсь поставить легкомысленного проводника на место, Дуговец стал говорить ему «вы», подчеркивая этим, что между ними легла административная пропасть.

На еженедельных занятиях, на полугодовых проверочных испытаниях Дуговец обеспечивал Глазычеву,

когда только мог, самое большое количество замечаний в актах.

Облекалось это всегда в форму дружеского участия:

— Ты пойми, Глазычев, я же тебе добра желаю.

Или иначе:

— Ты меня знаешь, Глазычев: я кому хочешь выложу правду в глаза.

Или еще иначе:

— Другому бы я спустил. А с тебя и спрос больше.

И в порыве откровенности — а порывами откровенности он был очень силен — Дуговец рассказывал проводнику, как третьего дня в кабинете начальства («Не буду называть тебе фамилии») он нахваливал работу Глазычева, выхлопатывая ему премию. На самом деле было не совсем так: делал все это Билибин в присутствии Дуговца, который вякал что-то насчет премии для молодого Ларнонова, но сейчас, делясь с Глазычевым, Дуговец был совершенно уверен, что все происходило именно так, как он рассказывал. И его даже искренне раздражало, что в насмешливом лице Глазычева не видно было и тени благодарности.

Премию Глазычеву, как и всякому человеку, получить хотелось, но он равнодушно говорил:

— Да ну ее к шуту! Ты лучше себя не забудь, а то ты все для людей и для людей...

Обиженно пошевелив скулами, Дуговец произносил:

— Слишком много вы об себе понимаете, товарищ Глазычев...

Тем временем служба Глазычева проходила успешно. Папка с «личным делом» Мухтара становилась все толще. В папке уже лежала сотня «актов применения служебно-розыскной собаки», где подробно описывалось, на какое преступление выезжал Мухтар и что ему удалось сделать. С бухгалтерской точностью каждый год подсчитывалась стоимость разысканного имущества и количество задержанных жуликов.

В беспокойные ночи проводник выезжал с Мухтаром по несколько раз. Мухтар лазал по крышам, забирался в подвалы, в кочегарки, совал нос в выгребные ямы, ползал в канализационные люки, прыгал через заборы — он шел туда, куда вело его чутье. Бывало, что чутье отказывало ему, потому что опытный жулик посыпал свой путь табаком, махоркой, поливал креозотом, керосином, бензином. Дойдя до изгаженного таким способом следа, Мухтар начинал растерянно и злобно топтаться на месте, покуда Глазычев не приходил ему на помощь. Проводник принимался водить собаку большими кругами, огибая исчезнувший след и ища его продолжения. Глазычев знал то, чего не знала собака: на ходу человек роняет мельчайшие невидимые частицы своей одежды и кожи; ветром эти частицы сносит в сторону иногда на семь-восемь метров. И проводник водил своего пса до тех пор, пока он снова не бросался на поиски.

После каждого выезда Мухтар укладывался спать в клетке на заднем дворе управления. От усталости засыпал он быстро, но спал беспокойно и во сне снова шел по следу, терял его, досадливо повизгивая, снова находил и, быстро перебирая лапами, преследовал ненавистного врага. Сны у Мухтара были злые и всегда удачные, он рычал, разрывая преступника на части, и никто не смел отнимать у него его добычу. Даже во сне Мухтар продолжал служить в угрозыске.

А маленький Глазычев, смертельно уставший, грязный, сидел в дежурке за столом и, высунув от усердия и напряжения кончик языка в сторону, строчил на форменном бланке:

«Я, проводник служебно-розыскной собаки, младший лейтенант милиции Глазычев, с собакой под кличкой Мухтар в два часа пять минут ночи сего числа выбыл по распоряжению дежурного по УМ города Ленинграда...»

В дежурке было шумно, накурено, верещали телефоны; оперуполномоченные срочно выезжали на проис-

шествия, возвращались обратно; какая-то распатланная женщина, плача, жаловалась, что муж ее непременно сегодня изувечит, он твердо это обещал; дежурный майор терпеливо уговаривал ее не верить пустым угрозам, вот если начнет драться, пусть тогда сообщит; она засучивала рукава платья, показывая синяки, оставшиеся еще с прошлой полочки. Майор вежливо объяснял на будущее, что в таких случаях очень важны свидетели и обязательно надо сходить в поликлинику и взять справку о нанесении телесных повреждений.

Из репродуктора, подвешенного над дверью, сперва доносилась утренняя зарядка, затем диктор-мужчина свежим голосом сообщил, что на Урале задуты две новые домны, а диктор-женщина приветливо добавила, что по области закончена уборка картофеля.

Напрягаясь в подборе слов, Глазычев писал:

«При осмотре места разбоя установил: следы преступников сохранены у двери магазина, где был найден труп сторожа. Взяв отсюда след, собака вышла на улицу Дегтярный переулок, по которой прошла до улицы Невский проспект, пересекла его и зашла во двор дома номер 163 и по проходным дворам прошла во двор дома номер 153, где прошла к пожарной лестнице, по которой поднялась на чердак и, остановившись у одного из вентиляционных боровов, облаяла отверстие в него...»

В дежурку вошел комиссар. Все встали. Глазычев тоже поднялся.

Комиссар спросил проводника, много ли мануфактуры вынули из борова.

— Восемь рулонов.

— А стреляную гильзу собака нашла?

— Нашла, товарищ комиссар. Я сдал ее эксперту.

— Хороший у тебя песик,— сказал комиссар.— Закончишь писать акт, пойдешь поспи. У тебя вон какие глаза красные. Устал?

— Есть маленько,

Комиссар взял со стола листок, наполовину исписанный проводником, пробежал его и, вздохнув, положил обратно.

— Убили, мерзавцы, человека за мануфактуру. Ты можешь это понять? — почему-то тихо спросил он Глазычева.

И, не дожидаясь ответа, отошел к столу дежурного.

Принявшись снова за акт, Глазычев слышал, как комиссар заговорил с распатланной женщиной:

— Вы были у меня на прошлой неделе. Я предложил вам подать заявление. Вы сперва подали, а затем забрали его, боясь, что мы посадим вашего мужа на пятнадцать суток. Чего же вы теперь хотите от милиции?

— Попугайте его, — сказала женщина, — А сажать не надо. Только попугайте.

— Что же, «козой» его постращать? — спросил комиссар, изображая двумя пальцами «козу», которой пугают детей.

В комнате засмеялись, а женщина снова заплакала. Она и в самом деле не знала, что ей поделать со своим мужем. И комиссар, который сейчас с вежливым нетерпением ее слушал — он тоже не спал сутки, — советовал ей обратиться в профсоюзную организацию по месту работы мужа, отлично понимая, что бывают такие случаи в семейной жизни, когда никакой профсоюз помочь не может. Комиссару, по своей должности, иногда приходилось советовать людям то, в чем он сам сомневался.

А Глазычев все писал — под музыку, текущую из репродуктора, под бодрые, ненатуральные дикторские голоса, под верещанье телефонов; ему ужасно хотелось вздремнуть, и фразы выплетались длинные, их было никак не откусить в конце.

От усталости он строчил одно, а думал другое. Заполняя графу «Описание работы собаки», проводник думал, что техника очень шагнула, а люди за ней не поспевают, и человек может своими руками делать замеча-

тельные вещи, а потом этими же руками совершить черт-те что.

Домой он пришел в восьмом часу утра. Вовка еще спал. Весь пол у его кровати был усеян фашистами и советскими солдатами, вырезанными из бумаги.

В комнате приятно пахло сном, покоем. Жена только что поднялась. Глазычев с удовольствием смотрел, как она движется по комнате, выметая веником всю вторую мировую войну.

Спать ему перехотелось; они тихо попили вдвоем чаю, потом жена собралась в больницу — она работала медсестрой. Слышно было, как в квартире захлопали и другие двери: жильцы выходили мыться, на кухню, отправлялись на службу.

Все эти звуки сейчас были приятны Глазычеву.

Жена перед уходом сказала:

— Пожалуй, я куплю сегодня Вовке пальто. Он совсем оборвался.

— Чего ж,— сказал Глазычев.

— Может, взять на размер больше? Уж очень он растет.

— Пускай растет,— сказал Глазычев.

— Суп за окном,— сказала жена.— Картошку я солила. Попробуешь вилкой, чтоб была мягкая.

— Да знаю я, как варят картошку,— улыбнулся Глазычев.

— А насчет пальто все будет в порядке: до полочки мы доберемся.

Он пошел закрыть за ней входную дверь, и на пороге она снова сказала:

— Все-таки я возьму на размер больше.

В комнате он рассеянно посмотрел на дверной наличник: карандашные черточки отмечали рост сына. Последняя черта была сантиметров на семьдесят от пола.

«Маленький будет, как я»,— подумал Глазычев.

И он вдруг понял, что же занимало его, как только

он вернулся сегодня домой. Могут жить люди хорошо. Могут. Должны. Это не так уж трудно. Исчезнут же когда-нибудь на земле мерзавцы. Вовка дотянет. А магазинный сторож, которого сегодня убили, не дотянул.

6

В ту зиму работы у Мухтара было мало. Морозы крепко взялись в январе и не отпускали весь месяц. Даже когда Мухтар просто гулял, снег забивался между пальцами, леденел и приходилось скакать на трех лапах, а потом в клетке выкусывать и вылизывать ледяшки из каждой лапы по очереди.

Была, правда, одна работа, которая отняла недели две времени: Мухтара пригласили сниматься в фильме. За эти две недели он сильно устал, у него порастрепались нервы, потому что приходилось работать не с Глазычевым, а с чужим человеком. Глазычев всегда стоял поблизости и подавал команды условными жестами. Чужой человек, артист, изображал проводника собак, но он в этом деле ничего не смыслил и только путал Мухтара. Вообще на съемках порядка было гораздо меньше, нежели на настоящей краже. Чувствуя, что Глазычев нервничает и сердится, Мухтар тоже злился и много раз хотел укусить артиста, изображавшего проводника, и еще одного человека, который всегда кричал что-то в широкий металлический раструб.

Фильм потом вышел, Мухтар не видел его, а все работники питомника ходили на просмотр. В обсуждении принял участие Дуговец; он сказал, что картина будет иметь громадное воспитательное значение и что работникам кино следует поглубже изучать действительность.

С просмотра проводники вышли гурьбой. Покуривая, молчали. Кто-то предложил зайти с мороза выпить пивка. Ларионов сбегал в магазин за пол-литром, водку разлили поровну в пиво. Чокнулись кружками, выпили.

Глазычев сказал:

— Хреновый фильм.

Ларионов засмеялся:

— Твоя собака снималась.

— Ему сегодня за нас платить,— сказал Дуговец.— Он деньги за съемку получил. Сколько тебе отвалили?

— Я уплачу,— сказал Глазычев.— А вот зачем ты хвалил хреновый фильм? Тебе что, понравилось?

— К вашему сведению,— сказал Дуговец,— на вкус и цвет товарищей нет.

— Но тебе-то лично понравилось?

— А я, когда смотрю картину, про свой вкус не думаю.

— Если каждый будет думать про свой вкус,— ввязался Ларионов,— то никто и кино смотреть не станет.

— Что-то, братцы, я не понимаю,— обернулся Глазычев к остальным проводникам.

— К вашему сведению,— сказал Дуговец,— кино снимается для народа.

— А я кто? — спросил Глазычев.

— А вы младший лейтенант милиции Глазычев.

Ларионов захохотал.

— Вот дает, вот дает! — восхищенно сказал он про Дуговца.

Пожилой проводник, трижды стрелянный бандитами в тридцатых годах, угрюмо посмотрел на Ларионова.

— Брехни в кинофильме хватает,— сказал пожилой проводник.— Я не специалист,— может, она и полезная...

— А в чем конкретно вранье? — запальчиво спросил Ларионов, косясь на Дуговца.

— Скажу,— ответил пожилой проводник.— Нашего брата, работника милиции, так нарисовали, что на колени хочется пасть и бить поклоны. Не пьем, не курим, баб своих не обижаем. Исключительно круглые сутки ловим жулье. Непонятно даже, отчего у нас другой раз гауптвахта полная бывает... Я не специалист,— повто-

рил вдруг он.— И года мои вышли. Не знаю. Может, оно и полезно...

— А тебе надо на экране показать гауптвахту? — спросил Дуговец.

— Или как мы сейчас в пивной сидим,— рассмеялся Ларионов.— Верно, Иван Тимофеевич?

Иваном Тимофеевичем звали пожилого проводника. Он устало взглянул на Ларионова.

— Щенок ты надо мной смеяться... Гауптвахта мне, между прочим, на экране ни к чему,— обратился он к Дуговцу.— Я на ней не сживал. А твоего подлипалу Ларионова хорошо бы нарисовать в комедии. Только, я так полагаю, невеселая бы это получилась комедия.

— Да бросьте, ребята! — загудели остальные проводники.— Охота было ругаться. Плати, Глазычев! Пошли.

И все разом заговорили о другом, чтобы загасить неинтересный спор. Ивана Тимофеевича они уважали за честность и прямоту. Дуговца же опасались не столько потому, что он был старшим инструктором, сколько оттого, что у него «хорошо подвешен язык». Он так вывернет и подведет, говорили проводники, что всегда будет его верх.

— Завелся! — тихо сказал один из них Глазычеву.— Тебе что, больше всех надо?

Но Глазычев уже и сам жалел, что завелся: до кино ему, в сущности, никакого дела не было.

Неприятности поджидали его в эту зиму совсем с другой стороны.

Морозы стояли под тридцать градусов, даже тренировочные занятия порой приходилось отменять. Глазычева с Мухтаром прикрепили к одному из райотделов милиции для патрулирования на беспокойных улицах.

На Лиговке и Обводном вечерами участились случаи хулиганства и уличных грабежей. Постовые милиционеры, дворники, ночные сторожа далеко не всегда могли

справиться с этим. Глазычеву вручили план оперативных мероприятий, в котором было указано: «Произвести обходы по Курской, Боровой, Воронежской улицам с целью профилактики и по изъятию преступного элемента».

Работа для Мухтара была живая. Вместо одинокого сидения взаперти он гулял теперь рядом с Глазычевым по малолюдным тротуарам и мостовым. Проводник, как всегда, ходил в штатском пальтишке и никакого подзрения у хулиганья не вызывал.

Бродить приходилось подолгу, ночью. Заходили в парадные подъезды к дворникам греться. Осматривали подвалы. Глазычев впускал туда Мухтара, шепнув ему на ухо:

— Ищи!

А сам стоял у входа с электрическим фонариком.

Иногда из подвала раздавался лай и тотчас же чей-нибудь сиплый крик:

— Убери свою паршивую собаку! Сейчас выйдем.

И появлялись вскоре на пороге, конвоируемые сзади Мухтаром, двое-трое бродяг. Проводник их тут же останавливал, быстро и ловко ощупывал карманы в поисках оружия. Мухтар садился рядом, следя за тем, прилично ли ведут себя люди. По его понятиям, достойное, нормальное поведение человека заключалось в том, чтобы он стоял не шевелясь и задрал руки кверху. А на то, что обыскиваемый человек иногда шипел при этом Глазычеву: «Легавый! Сволочь! Сука!» — Мухтар внимания не обращал.

Было однажды и так. Покуда Глазычев обшаривал костюм одного бродяги, второй стукнул проводника ногой в живот. Глазычев упал. Бродяги метнулись в переулочек.

Первого из них Мухтар достал сразу. Молча — теперь-то он это умел — он прыгнул с маху ему на спину всеми своими пятьюдесятью килограммами, опрокинул;

оба они, и человек и собака, перекатились через голову. Особо не задерживаясь, словно бы предполагая, что человек этот не скоро подыметя, Мухтар ринулся за вторым. С этим вторым у него были отдельные счеты, ибо он видел, что именно второй ударил проводника.

Когда Мухтар нагнал его, тот прислонился к стене дома и рванул из кармана нож. Ноги его были обуты в тяжело подкованные сапоги. Он размахнулся сапогом, целясь собаке в голову, но Мухтар проходил это в школе. В ногу он вцепляться не стал, а, тяжело вскинувшись в воздух, хватил всей пастью ту руку, в которой блеснул нож.

Хорошая собака умеет брать преступника «с перехватом». Это значит, что она не держит его только за одну часть тела, а перехватывает клыками разные места, в зависимости от того, чем он собирается от нее защищаться.

Однако Мухтар был сейчас так зол, что не стал дожидаться намерений врага, а принялся рвать его, как это удавалось ему делать только во сне — в самом лучшем своем собачьем сне.

Согнувшись и держась за живот, подошел Глазычев. Ему трижды пришлось скомандовать: «Фу, Мухтар!» — прежде чем собака отпустила наконец человека.

Уже свистели всю дворники; примчалась милицмейская «раковая шейка»; двоих бродяг навалом погрузили в машину.

В райотделе при тщательном обыске оказалось, что у покусанного парня нет никаких документов. На первом же допросе он сообщил, что родился в Калининской области, село Задворье, Грачевского сельсовета. Отец погиб в войну, мать угнал немец...

— А тебя сдали в детдом? — зевнув, спросил оперативник.

— Точно, — сказал покусанный.

— Из детдома, наверно, бежал, голодно было?

— Ага.

Оперативник отложил в сторону перо, которым вел протокол допроса.

— Ну и куда ж ты завербовался? На лесозаготовки или на торфоразработки?

— В лесхоз,— сказал покусанный.

— И вербовщик отобрал паспорт?

— Отобрал.

— А военный билет у тебя украли в поезде?

— Точно. Вы откуда знаете?

— Да все так врут,— сказал оперативник.— Придумал бы чего-нибудь поинтереснее.

— Истинный бог,— сказал покусанный.— Провалиться на этом месте.

— Ну что ж,— сказал оперативник.— Сейчас первым делом сыграешь на рояле.

У парня взяли отпечатки пальцев левой и правой руки. Отправили их в научно-технический отдел. Запросили село Задворье, Грачевского сельсовета, Калининской области.

Ответ пришел быстро: человека с такой фамилией в Задворье не бывало. Одновременно из министерства сообщили, что, согласно дактилоскопическим картам, фамилия задержанного — Баранцев, Семен Ильич, кличка Рыба, судился три раза за разбой. Освобожден по амнистии.

Рыба не стал спорить со следователем, он только говорил, что никакого свежего дела у него нет. Ногой он сгоряча проводника ударил, за это готов взять семьдесят четвертую; можно еще довести ему сто девяносто вторую «а», поскольку он нарушил паспортный режим.

— Это я и так по-божески беру на себя,— сказал Рыба, которого уголовники окрестили Рыбой за чрезмерную болтливость.— Другой бы на моем месте попросился на поруки.

— А кто б тебя взял на поруки? — спросил следователь. — С тремя судимостями?

— Народ у нас добрый, — сказал Рыба. — Да и каждому коллективу охота отличиться. Я бы исправился, а про них в газетке бы написали. Так на так и получилось бы...

У второго задержанного документы имелись, но фамилия на паспорте была подчищена и заменена другой, а фотокарточка переклеенная.

Следователь бился с ними не зря. Оказалось, что оба они водились с неким Фроловым, у которого было еще с пяток фамилий. Фролов гулял на воле. Узкой специальности у него не было: брал он и магазины, и квартиры, а при случае занимался уличными грабежами — срезал часы у прохожих, раздевал их догола.

Фроловым занялся городской угрозыск. Было организовано несколько оперативных групп.

Кропотливо, шаг за шагом «выходя в цвет на Фролова», оперативники установили, что бандит этот необыкновенно жесток, недоверчив к своим, ходит всегда с двумя пистолетами во внутренних карманах пальто, стреляет мгновенно и редко мажет.

Определенного места жительства у Фролова не было. Однако Пороховые и Охта — его любимые районы. Здесь ему порой удавалось заночевать, обманув какую-нибудь сердобольную старуху, для которой у него было заготовлено с десятков жалостливых легенд; ночевал он и по сараям или в подвалах.

Глазычев с Мухтаром включились в работу напоследок.

В пригородной деревне Жерповке, куда из города доходил трамвай, однажды ночью в колхозную конюшню пришел Фролов. В конюшне было тепло. Семидесятилетний старик конюх убирал вилами навоз к дверям. Фролов попросился ночевать. Конюх не пустил его. Тогда Фролов заколол старика вилами,

Глазычев с Мухтаром оказались в Жерновке через три часа после убийства.

Холод стоял лютый. На вымерзшем дочиста небе белó светилась выцветшая от стужи луна.

В сельсоветской избе, с утра не топленной, сгрудилось человек десять работников угрозыска. Заполняя избу сырым паром и папиросным дымом, они появлялись и исчезали, докладывая подполковнику результаты опроса свидетелей. Подполковник велел до прихода собаки не топтаться вокруг конюшни.

Прибывшего Глазычева он спросил:

— Как вы думаете, по такому морозу пес сможет работать?

— Он постарается,— сказал Глазычев.

— Мы будем следовать за вами двумя группами,— сказал подполковник.— Чуть что, мигните нам фонариком. У вас где пистолет, на ремне?.. Переложите его в карман полушубка. Если понадобится, стреляйте в эту сволочь. Есть у вас какие-нибудь вопросы?

— Пока нету, товарищ подполковник.

Подполковник взглянул на проводника.

— У нас, Глазычев, очень большая надежда на вашего пса. Фролов не мог далеко уйти: сейчас ночь, транспорта нету...

У конюшни проводник возился недолго. След был отчетливо виден глазом. Фролов, очевидно, сперва прошел по снегу, оставив глубокие вмятины, затем вышел на твердую дорогу. В какую сторону он побежал, куда свернул, этого на глаз сказать нельзя было.

Проводник спустил собаку с поводка.

По тихим голосам окружающих людей, по тому, как на него смотрели, и, главное, по движениям Глазычева, неторопливым, внимательным и настороженным, наконец по лицу проводника, очень строгому, Мухтар видел, что тот ждет от него хорошей работы и верит в него.

Запах, который увел Мухтара от вмятин у конюшни,

был слабо слышен на морозе. И чем дальше Мухтар шел, тем запах этот тлел все слабее, он почти угасал на обледеневшей, переметенной ветром дороге.

Часто останавливаясь, идя нешибко, чтобы не утратить след, Мухтар держал голову совсем низко; он втягивал носом резкий, острый воздух, пахнувший льдом и снегом.

Через полчаса у него стали замерзать передние лапы. Мухтар злился на них, поджимая попеременно то одну, то другую и подпрыгивая вперед на трех ногах.

Проводник быстро шел рядом. Он сказал:

— Ладно, не прикидывайся. Не маленький. След, Мухтар.

Голос у него был требовательный и безжалостный.

Уже давно скрылись за холмом избы Жерновки. Мертвое снежное поле лежало по сторонам дороги.

Коченели уже и задние лапы; Мухтару хотелось хоть разок взвизгнуть от боли, хотелось присесть хоть на минутку и злобно выгрызть лед между пальцами,— они обмерли и уже не слышали под собой почвы.

Боль мешала ему, отвлекала его, и запах внезапно пропал. Проковыляв еще шагов десять, Мухтар остановился. От стыда он не поднял глаз на проводника, а запрыгал обратно. Проводник молча пропустил его мимо себя и тоже повернул назад.

Найдя снова след, Мухтар изо всех сил старался удержать его под своим носом. Вот почему запах исчез: он проскочил тропку вправо, она вела к лесу.

В лесу он согрелся. Здесь надуло снегу, пришлось идти, проваливаясь по брюхо. От усталости стало жарко, но зато теперь он почувал, что человек, который так измучил его, затаился где-то совсем близко.

Едва слышное рычанье вырвалось из собачьей глотки.

Глазычев сказал:

— Тихо, Мухтар.

И, обернувшись, хотел помигать карманным фонариком, однако увидел сквозь редкие деревья, что оперативники уже оцепляют маленький лесок.

Фролов сидел в старой бревенчатой баньке. Дверь в нее он завалил тяжелым котлом и подпер доской. Было еще в этой бане оконце с выбитым стеклом, узкое и длинное.

Сидя на подгнившем плесневелом полке, он видел, как за стволами сосен мелькнуло несколько фигур, догадался, что это за ним, и выстрелил в оконце просто так, для потехи.

Спокойный голос негромко крикнул из леса:

— Выходи, Фролов! Отплясался.

Это сказал подполковник. Он стоял рядом с Глазычевым и шепотом отдавал приказания людям, стягивая их вокруг баньки.

— А если выйду,— спросил Фролов,— чего мне будет?

— Будет тебе суд,— ответил подполковник.

— Дырка? — спросил Фролов.

— Дырка,— ответил подполковник.

Помолчав, Фролов снова окликнул его:

— Эй, начальник! А может, потяну на всю катушку, на пятнадцать лет?

— Поторгуйся, может и потянешь.

— Да нет,— сказал Фролов.— Пожалуй, не потяну.

Подполковник тихо обратился к Глазычеву:

— Сделаем так. Ребята выломают дверь, собаку пустим вперед. Сможет твой пес взять эту сволочь?

— Он постарается,— сказал Глазычев.

Покуда подполковник отдавал распоряжения, Глазычев грел Мухтару лапы, заворачивая их поочередно в полу своего полушубка. Проводник погладил собаку по жесткой, холодной шерсти, но ему сейчас казалось, что шерсть теплая и мягкая.

Из бани и в баню несколько раз выстрелили. Часть

ребят отвлекала Фролова к окну. Тем временем под стенами уже стояло трое, они были у самых дверей, держа в руках бревно.

Глазычев подполз с Мухтаром ближе и залег шагах в десяти против двери.

— Фролов! — окликнул бандита подполковник. — Бросай оружие, выходи!

— Нет расчета, — сказал Фролов.

И, куражась перед концом, он начал материться.

Глазычев взглянул на подполковника; тот взмахнул рукой оперативникам, держащим бревно.

Ребята отошли от стены и, пригнувшись, с размаху ударили бревном в дверь.

Из бани Фролов стрелял уже подряд.

Глазычев положил руку на шею Мухтара и, чувствуя, как дрожит его кожа от ярости (Мухтар ненавидел стрельбу), шепнул ему на ухо:

— Будь молодцом, дружок.

И внезапно злым, окостеневшим голосом громко командовал:

— Фасс, Мухтар!

И толкнул в шею, вперед.

Мухтар ворвался в баню через поваленную, сорванную с петель дверь. Здесь было темнее, чем на улице.

Фролов сидел на корточках, на полке, схоронившись за печным стояком. Высовывая из закутка только голову и правую руку с пистолетом, он смотрел в светлый от снега и луны дверной проем и стрелял в него, как только показывалась там хоть какая-нибудь тень.

Однако Фролов наблюдал за дверным проемом не всю его высоту, а примерно с половины, рассчитывая на появление человека. Собаки он не ожидал. Но даже если бы он и ожидал собаку, то Мухтар пролетел через дверь с быстротой черта. И только когда на мгновение, уже в бане, в полутьме, с разбега он замер, Фролов выстрелил в него.

Бандит был уверен, что он попал в собаку — до нее было метра три, не больше, — но она не упала, не завизжала, как хотелось бы Фролову, а бросилась к нему на полбк.

Он успел выстрелить в нее еще раз, в упор, и это было все, что он успел сделать. Собака повисла на его правой руке, рванула с полкá вниз, на пол, он попытался вскочить на ноги, но ему было не стряхнуть ее с себя, она лежала у него на груди, вцепившись в горло, сперва сильно, так, что он задохнулся, а потом послабее, однако этого он уже не почувствовал.

Глазычев вбежал в баню первым. Он метнулся туда еще раньше, после первого выстрела, но подполковник резко крикнул:

— Назад, Глазычев!

И кто-то из оперуполномоченных схватил его за локоть.

— Не дури, проводник, — спокойно сказал оперуполномоченный. — Тебе что, не терпится на тот свет? Никуда от нас Фролов не денется. Пусть порасстреляет патроны.

— Собака, — сказал проводник.

Когда он вбежал в баню и тотчас же вслед за ним ребята, они все увидели лежащего на полу Фролова и на нем — пса. Штук пять карманных фонариков скрестили в этом месте свои лучи.

— Мухтар! — позвал проводник.

Одно ухо у Мухтара еле заметно вздрогнуло и снова обвисло.

— Фу, Мухтар! — сказал проводник. — Ко мне!

— Не мешай ему, он работает, — пошутили ребята.

Наклонившись над Мухтаром, Глазычев попробовал сдвинуть его с груди Фролова на пол. Кто-то еще помог ему, опасливо взявшись и приподымая не по-живому тяжелую, обвисшую собаку.

Сдвинуть Мухтара в сторону удалось, но за ним

стронулось с места и тело Фролова: морда Мухтара лежала на его горле, Глазычев сунул ствол своего пистолета собаке в зубы и с силой разжал ей пасть. Оттуда на руки проводника вытекла кровь.

Бандита в тюремной машине отвезли в управление — он пришел в себя минут через сорок, — а Глазычев с Мухтаром, завернутым в полушубок, поехал на газике в питомник.

Перед отъездом подполковник сказал ему:

— Спасибо, товарищ младший лейтенант.

— Я что, — махнул рукой Глазычев. — Я ничего.

— А может, выживет? — сказал подполковник. —
Ведь теплый еще.

— Он постарается, — ответил Глазычев.

В питомнике проводник поднял с постели Зырянова — ветврач жил тут же. Мухтара перенесли в амбулаторию на стол. Первая пуля попала ему в грудь, навывлет, вторая — в голову, застряв у затылка.

Копаясь в ране и доставая пулю пинцетом, Зырянов сказал:

— Одна эта штука должна была уложить его на повал.

— Значит, всё? — спросил Глазычев. Он держал голову Мухтара, помогая ветврачу.

— Жить, может, и будет, — сказал Зырянов. — А со служебно-розыскной собакой, пожалуй, всё.

Провозившись еще с полчаса, они унесли Мухтара в изолятор — в комнату позади амбулатории; здесь стояли четыре пустые клетки.

Потом они долго мыли окровавленные руки. Погасили яркий электрический свет. За окнами оживало чашное зимнее утро.

— Хотите спирту? — спросил Зырянов.

Сам он пить не стал, а проводнику отмерил в мензурку сто граммов.

— Водой разбавить вам?

— Да нет, я лучше потом запью водой.

— Вы только задержите дыхание после спирта, а то можно обжечь слизистую.

— Я знаю,— сказал проводник.— В войну пивал его.

— Ну и климат у нас! — сказал Зырянов, посмотрев в окно.— Всегда мечтал жить на юге — и всю жизнь прожил в Питере. Вот выйду на пенсию, уеду со своей старухой куда-нибудь в Ашхабад. Буду выращивать урюк.

— Больше у меня такой собаки не будет,— сказал Глазычев.

— Отличный был пес,— сказал Зырянов.— Шли бы вы домой, Глазычев. Я скажу начальнику, что отправил вас. Вы имеете полное право на отдых: бандита ведь взяли.

— Я-то его не брал. Мухтар его брал.

— Валяйте домой, Глазычев,— сказал ветврач.— А то вы начинаете городить чепуху. Нате вам на дорожку еще пятьдесят граммов. Заснете дома как убитый.

— Я-то не убитый,— сказал Глазычев.— Я как раз целенький.

— Вы что, обалдели? — запыхтев, прикрикнул на него Зырянов.— Вы где работаете: в детском саду или в уголовном розыске? По-вашему, лучше бы сейчас ходил на свободе этот убийца, а вы бы целовались со своей собакой? Так, что ли?.. Немедленно отправляйтесь домой!

— Слушаюсь, товарищ майор ветеринарной службы,— сказал Глазычев, медленно козыряя; на голове его не было даже кепки.

Перед уходом он зашел в изолятор.

Мухтар лежал на боку с вытянутыми в одну сторону четырьмя лапами. Обычно он так никогда не ложился. Пожалуй, только в очень жаркий летний день. На голове и на груди у него была выстрижена шерсть — там,

где копался ветврач. Присев на корточки, Глазычев забрал в ладонь его сухой горячий нос.

— Будь здоров, псина,— сказал проводник.— Мы им еще покажем.

Через несколько дней младшему лейтенанту Глазычеву была объявлена благодарность по управлению и выдана денежная премия. Товарищи поздравили его. На общем собрании работников питомника Дуговец сказал, что равняться надо именно по таким труженикам, как проводник Глазычев, который относится к своим обязанностям не формально, а творчески.

Ларионов пожал ему руку и сказал:

— Здрóрово тебе повезло, Глазычев! С тебя приходится.

Самый пожилой проводник, Иван Тимофеевич, не стал ничего говорить, а только попросил:

— Покажи-ка мне твоего Мухтара.

После собрания Глазычева задержал Билибин.

— Покуда у вас нет собаки,— сказал он,— займитесь хозяйственной работой в питомнике. А заодно будете помогать Трофиму Игнатьевичу в изоляторе.

Недели две так и шла жизнь Глазычева. Он рубил конину для собачьей кухни, таскал в кладовую и из кладовой мешки с овсянкой, ящики с жиром, с овощами; убирал снег на территории, чинил забор.

И по несколько раз в день забегал в изолятор к Мухтару. Проводник кормил его, расчесывал шерсть, чтобы она не свалялась, прибирал за ним, совал в рот лекарства. Да и просто ему иногда хотелось сказать своей собаке, что он ее не забыл.

Подметая как-то двор, Глазычев увидел, что у пустой Мухтаровой клетки Ларионов прилаживает стремянку. Взобравшись на нее, он отодрал дощечку, на которой была написана собачья кличка, и, вынув из кармана другую дощечку, собрался приколотить ее.

— Какого черта ты делаешь? — крикнул Глазычев издали.

— Площадь освободилась, буду заселять, — весело ответил Ларионов.

Подойдя к клетке, Глазычев поднял сорванную дощечку, лежавшую на снегу, и протянул ее Ларионову.

— Приколоти на место.

Он произнес это таким тоном, что Ларионов спросил:

— Ты что, сдурел?

— Я тебе сказал, приколоти!

И, не дожидаясь, сам полез по стремянке с другой стороны, вырвал из рук Ларионова молоток и прибил старую дощечку с кличкой «Мухтар» на прежнее место.

— Рано хороните моего пса, — сказал Глазычев.

— Чудило! Работать-то он больше не будет...

— Это откуда же тебе известно?

— Да у него ж задета центральная нервная система...

Глазычев посмотрел на Ларионова.

— У тебя она задета с детства, однако ты работаешь?

Вскоре Мухтар окончательно встал на ноги. Проводник подолгу гулял с ним по Крестовскому острову, сперва не беспокоя его никакими служебными командами, затем стал выводить его на тренировочную площадку в те часы, когда там никого не было.

Глазычев тотчас же увидел, что из занятий ничего не получится.

Мухтар понимал, что проводник чего-то хочет от него, но выполнить этого не мог. Он очень старался помочь проводнику, склонял свою большую, умную, простреленную голову набок, всматриваясь в губы, в руки,

в глаза проводника и нетерпеливо переступая лапами. Иногда он спростетью, радостно бросался выполнять приказание — и делал не то, что велено было, а то, что случайно застряло в его раненой памяти.

Глазычев подавал ему команду «апорт», а Мухтар вместо этого бросался к крутой лестнице, судорожно цепляясь еще не окрепшими лапами, взбирался на самый верх, спускался вниз, падая с последних ступеней и, прихрамывая, подбегал (ему казалось, что он мчится во весь опор) к проводнику и ждал поощрения.

И, жалея его, Глазычев говорил:

— Хорошо, Мухтар, хорошо!..

Дуговец как-то спросил проводника:

— Ты что, начал заниматься с Мухтаром?

— Начал.

— Ну и как?

— Нормально.

— На той неделе полугодовая проверка. Успеешь поставить его в строй?

— Успею,— сказал Глазычев.

И он продолжал выводить собаку на площадку, следя только за тем, чтобы при этом никого поблизости не было. Мухтар был счастлив, что с ним снова работают.

Незадолго до прихода проверочной комиссии Глазычева вызвал начальник питомника. В кабинете кроме Билибина сидели Зырянов и Дуговец. Сперва они поговорили вчетвером о закупке новых собак — предполагалась для этого поездка Глазычева в город Киров,— а затем Билибин мимоходом сказал проводнику:

— Старший инструктор подал мне рапорт. Вы до сих пор не приглашали его на занятия с вашей собакой. А когда однажды он все-таки явился сам, вы тотчас же увели Мухтара в клетку.

— Было,— сказал Глазычев.

Билибин подождал, не добавит ли проводник чего-нибудь еще в объяснение своего поступка, и, не дождавшись, спросил ветврача:

— Трофим Игнатьевич, каково клиническое состояние пса?

Зырянов не успел ответить, он еще только начал пыхтеть, когда Глазычев быстро сказал:

— К служебно-розыскной работе непригоден.

— Значит, будем выбраковывать? — спросил Билибин. — Тогда надо приглашать представителя управления.

— Товарищ начальник, — сказал Глазычев, — усыплять Мухтара я не дам.

— Постановочка! — усмехнулся Дуговец.

— Насколько я понимаю, — спокойно сказал Билибин, — младший лейтенант Глазычев не совсем верно выразил свою мысль.

— Так точно, товарищ майор. Прошу прощения.

— Он, очевидно, имел в виду, — продолжал Билибин, обращаясь к Дуговцу, словно Глазычева здесь и не было, — имел в виду, — для чего-то повторил Билибин, — что ему жаль собаку.

— А мне своего Дона не жаль было?

— Возможно. Вы ничего об этом не говорили, но вполне возможно. Есть же люди, которые умеют переживать свое горе молча. Я даже припоминаю, что вы как-то написали мне докладную, прося выбраковать свою старую собаку и прикрепить к вам новую, молодую.

Дуговец ответил:

— Я всегда стараюсь, Сергей Прокофьевич, по силе возможности для пользы дела.

— Понятно, — кивнул Билибин. — Сейчас речь идет о том, не попытаться ли нам, списав Мухтара, оставить его на дожитие при питомнике, учитывая его заслуги.

— На пенсии, что ли? — улыбнулся Дуговец. — Никто нам этого не позволит. Как только мы составим акт выбраковки, хозу снимет его с довольствия.

— Попробуем, — сказал Билибин.

— Две кастрюли супа в день всегда можно сэкономить, — сказал Зырянов, до той поры молчавший. — Мухтар долго не проживет.

Сомневаясь, Дуговец покачал головой:

— Не получилась бы такая картина: если каждый проводник станет требовать...

Билибин сердито перебил его:

— Вот этой формулой — «если каждый станет требовать» — удивительно легко обороняться, когда не хочешь сделать что-нибудь хорошее. Дескать, я бы с удовольствием, но если каждый станет требовать... А насчет экономии супа, Трофим Игнатьевич, то давайте уж оформлять все на законном основании. Иногда экономия — хуже воровства. У вас, скажут, излишки две кастрюли супа? А только ли две? А может, сто две? Пишите, будьте любезны, объяснение... И — поехали! Напишешь одно объяснение в одну инстанцию, смотришь — уже и вторая требует, третья; накопилась папочка. А раз накопилась папочка, надо принимать меры. Зарплата-то ведь идет? Оправдать ее надо?..

Поговорив еще немного, решили написать ходатайство в хозяйственное управление и приложить его к акту о непригодности собаки к милицейской службе.

Дня через два была созвана комиссия. В нее входили: майор — представитель угрозыска, ветврач Зырянов и старший инструктор Дуговец. Будучи в курсе дела, майор был склонен подписать акт без всякой проверки. Но Дуговец настаивал на соблюдении всех формальностей.

— Я человек буквы закона, — сказал он, думая, что шутит.

В этот день Мухтар работал последний раз в своей жизни. Это была его самая короткая работа. Единственное, что сохранилось в нем и сейчас, не тронутое пулей, это понимание душевного состояния своего проводника. Видя, что проводник чем-то взволнован, Мухтар хотел отличиться перед этими чужими людьми, чтобы успокоить его.

Старательно, добросовестно и горячо он делал все невпопад. Задыхаясь от усердия, от ранения в грудь, он готов был околеть, но выполнить команду проводника.

Мухтар ждал, что эти команды будут следовать одна за другой, и после каждой из них жесткая, сильная, ласковая рука Глазычева огладит его по голове, по спине, и голос проводника произнесет сперва что-то коротенькое, а потом одобрительно-длинное, из чего станет ясно, что Мухтар не зря выбивался из сил.

Однако все было не так.

Хриплым, злым голосом Глазычев подал всего три команды и увел Мухтара в клетку.

Вернувшись, спросил Дуговца:

— Насладились, товарищ старший инструктор?

Акт выбраковки был подписан.

Собрав необходимые документы, проводник стал посещать хозяйственное управление.

Ходить пришлось долго, с каждым днем подымаясь по административным ступенькам все выше и выше, под самое небо — к начфину и начальнику хозяйственного управления.

К тому времени Глазычев уже заучил наизусть все, что ему приходилось повторять в других комнатах. Мухтар — знаменитая собака. За свою шестилетнюю службу разыскал похищенного имущества на один миллион восемьсот тысяч пятьсот сорок семь рублей. Суточный рацион собаки обходится в четыре рубля тридцать копеек. В результате тяжелого ранения выбыл из строя. Ад-

министрация и общественные организации питомника просят...

Все это было написано в ходатайстве, и Глазычев сперва ничего дополнительно не произносил, но, переходя от стола к столу, стал постепенно ровным голосом излагать суть дела.

Начфин и начальник хозу отнеслись к этому делу по-разному.

Начфин выслушал проводника не перебивая, держа за щекой леденец, ибо с месяц назад бросил курить; затем, положив руку на принесенные Глазычевым бумаги, он произнес:

— Оставьте, я разберусь.

Глазычеву показалось, что все будет в порядке, и он только попросил начфина позвонить в питомник Билибину и, хотя бы временно, разрешить необходимый расход продуктов.

— Это можно,— сказал начфин.

Взявшись за телефонную трубку, он спросил Глазычева:

— Как, вы сказали, фамилия сотрудника, о котором ходатайствуете?

— Кличка собаки Мухтар,— сказал Глазычев.

— Какой собаки?

И тут начфин искренне обиделся.

Он обиделся не за себя, не за то, что его беспокоят по таким пустякам; это еще куда ни шло. Начфин обиделся за финансовую дисциплину. Расход четырех рублей тридцати копеек в сутки на какую-то большую собаку постепенно в устах начфина превратился в полупреступную махинацию, в корне подрывающую финансовую мощь органов милиции.

Глазычев вышел из его кабинета подавленный, но, покурив на лестнице, упрямо пошел к начальнику хозу.

Начальник хозу мгновенно понял, о чем идет речь, и тотчас, не дочитав, вернул Глазычеву бумаги.

— Делать вашему Билибину нечего. Если мы о каждом бракованном псе станем проявлять такую заботу, то скоро на улицах будет не протолкаться от кобелей... У меня люди без площади сидят...

Последнюю фразу он произнес таким гордым тоном, словно сидение людей без площади есть его личная заслуга.

Передавать Билибину слова начальника хозу Глазычев не стал. Он только доложил, что в ходатайстве окончательно отказано.

Мухтар жил уже на птичьих правах. Проходя мимо его клетки, Ларионов обзывал его дармоедом. Или, остановившись, подмигивал ему:

— Эх и куртка богатая из тебя получится, Мухтар!

Глазычеву надо было уезжать в Киров; боясь, что в его отсутствие собаку могут усыпить, проводник решил напоследок сходить к комиссару.

В огромном кабинете, покуда проводник шел от дверей к письменному столу, все загодя наструганные слова рассыпались по натертому скользкому паркету, и Глазычев только молча протянул комиссару Мухтаровы документы.

Надев очки, комиссар стал листать поданные бумаги.

Потом спросил:

— Это какой же Мухтар? Который бандита Фролова схватил за глотку?

И начал расспрашивать, в каких еще известных делах применялся этот пес.

В самый разгар сбивчивых и косноязычных пояснений проводника комиссар перебил его:

— Ну, а что ты ему со своей премии купил?

— Так ведь что, товарищ комиссар, собаке купишь? — серьезно и даже с сожалением ответил Глазы-

чев.— Ничего такого особенного собаке не купишь, «Старт» я ему, конфеты, полкило взял. Ну и, конечно, так, на словах, по-хорошему поговорил с ним. Он любит, когда с ним уважительно беседуют...

— Это все любят,— сказал комиссар, глядя в широкое доброе лицо проводника.— Даже люди, говорят, любят.

И, полистав еще немного принесенные Глазычевым бумаги, спросил, не подымая головы:

— В хозу обращались?

— Обращались, товарищ комиссар.

— Отказали?

— Отказали, товарищ комиссар.

— Ай Билибин, Билибин! — укоризненно покачал головой комиссар.— Старый работник, а такую промашку дал! Разве ж это мыслимо: с таким мелким вопросом — и прямо к начальнику хозу! Ведь он же полковник, это же надо понимать. Кто ходил к нему? Вы, товарищ Глазычев?

— Я, товарищ комиссар.

— Говорил он вам: «А вы попробуйте посидеть на моем месте»?

Глазычев ответил, что этого ему начальник хозу не говорил.

— Значит, стареет,— сказал комиссар.— Раньше всем говорил...

Он снял очки и положил их на стол.

— Поступим мы, товарищ проводник, следующим образом. Такие вещи надо делать научно. Напишем-ка мы в министерство, в Москву. Авось и поддержат...

До сих пор комиссар говорил не очень серьезным тоном — и вдруг, насупившись, пробормотал:

— Сегодня, знаете ли, наплевать на заслуженного пса, а завтра, глядишь...

Не договорив, он отпустил проводника, оставив у себя документы.

Недели через три судьба Мухтара была решена. Наконец-то он ел свой суп на совершенно законном основании.

Глазычев съездил в Киров, закупил там трех новых собак, привез их в питомник.

Сквозь проволочную сетку Мухтар видел, как выводили их на тренировочную площадку. Он смотрел на них сурово: они были еще совсем глупые, неопытные, необученные.

А молодые собаки тоже видели Мухтара, когда его два раза в день вели мимо них выгуливать на задний двор, поросший лебедой.

Они презрительно глядели на старого, хворого, колченогого пса, не зная его жизни и не понимая, зачем он еще ковыляет на этом прекрасном белом свете.

АЛЕКСЕЙ ИВАНЫЧ



Перед уходом на суточное дежурство Городулин плотно поел. Жена напекла оладий, поставила на стол соленые грибы и заварила крепкого чаю. Покуда Алексей Иванович ел, она сидела в халате напротив мужа, подперев толстую теплую щеку ладонью, и следила за тем, сытно ли ему завтракается.

— Свитер наденешь,— сказала Антонина Гавриловна.— И шерстяные носки... Пистолет я положила в карман.

— Сколько раз просил,— жуя, сказал Городулин,— не трогай мой пистолет.

— Охти, какие страсти,— зевнула Антонина Гавриловна.— Возьми деньги, победяешь в столовой.

В прихожей Городулин, как всегда перед уходом, сказал:

— В случае чего — позвоню.

По утрам до управления он любил ходить пешком. Маленький, толстенький, седенький, он шел не торопясь, заложив короткие руки за спину, по привычке с любопытством осматривая улицу. Исхожено здесь было, избегано, истояно, изъезжено. И на извозчиках, и на трамваях, и на машинах, и на чем попало. В доме шестьдесят семь — проходной двор. Дворник — сукин сын и трус. В семьдесят пятом номере, в первом этаже

три ступеньки вниз, поддувало-буфет. Закрывать бы его к чертям, сколько раз докладывал, писал рапорты.

«Не любит начальство читать и слушать про неприятное. А у меня работа такая», — устало вздохнул Городулин.

На ходу он отдыхал. Освещенный солнцем проспект, ребята, бегущие в школу, люди, торопящиеся по своим делам, музыка из уличных репродукторов, сутолока на автобусных и троллейбусных остановках — от всего этого у Городулина становилось легче на душе. Он был рад, что все эти люди не знают подробностей его трудной работы. Тридцать лет назад она ужаснула его, он жил первые месяцы притихший от изумления и злости, а потом постепенно привык отделять все то, с чем приходилось сталкиваться в управлении, в тюрьмах, на допросах, от нормальной жизни человечества. Это умение отделять давалось с таким трудом, что иногда трещала голова, словно в ней со скрежетом приходилось передвигать какие-то шестеренки и рычаги. Сперва он начал было всех подряд подозревать. В каждом человеке ему чудился преступник. От этой постоянной подозрительности он уставал и начинал презирать самого себя. Понемногу подозрительность ушла, и ее место заняло чувство, что, в общем, многие люди вовсе не такие, какими они хотели бы казаться.

И сейчас, идя по улице, он иногда задерживался взглядом на каком-нибудь человеке, осматривал по привычке его лицо, походку, манеры. Никаких выводов Городулин не делал и, вероятно, даже удивился бы, если б ему сказали, что он внимательно рассматривает людей.

На углу Мойки и Невского кто-то нагнал его и вежливо взял за локоть.

— Привет, Алексей Иванович! Как живы-здоровы?

Городулин обернулся. Рядом с ним, сменив ногу, зашагал Федя Лытков.

— Приехал? — спросил Городулин.

— Вчера.— Глянцево выбритое лицо Феди Лыткова сняло.

— Костюм, я вижу, новый справил,— сказал Городулин.— Когда приступаешь?

— Сейчас, наверное, в отпуск пойду. После учебы полагается. А чего у нас слышать новенького? — спросил Федя Лытков.

— В Усть-Нарве разбой. В один вечер три буфета взяли. Милиционера пырнули ножом в легкое...

Лытков присвистнул.

— Задержали?

— Шибко ты быстрый. Мы с Белкиным три недели маялись там...

— Ну а в управлении чего новенького? — перебил Городулина Лытков.

— Всё на месте,— ответил Городулин,— окна, двери. К нам в отдел возвращаешься или ждешь нового назначения?

— Служу Советскому Союзу,— улыбнулся Лытков.— Как начальство.

— Заходи,— вяло пригласил Городулин.— Не забывай.

— А как же! — Лытков крепко пожал его руку.— Я помню...

— У тебя память хорошая,— сказал Городулин.— Где пообедаешь, туда и ужинать приходишь.

Лытков засмеялся и погрозил ему пальцем. В вестибюле управления они разошлись в разные стороны. Молодой, крепкий как черт Лытков, у которого даже под пиджаком, на предплечьях и на спине угадывались свинцовые мышцы, поднялся легким спортивным шагом направо по лестнице (казалось, что на каждом шагу он приговаривает: «Вот я какой! Вот я какой!»), а Городулин не спеша двинулся по темному сводчатому коридору налево.

Как только он переступил порог своего маленького кабинета, дела тотчас захлестнули его с головой. Худенький застенчивый оперуполномоченный Белкин, с девичьими ямочками на щеках, приехал еще на рассвете из Усть-Нарвы и, не заходя к себе домой, дожидался Городулина в управлении. Алексей Иванович любил Белкина и подобрал его к себе в отдел, когда того отчислили из ОБХСС. В ОБХСС Белкин никак не мог прижиться. Ловля мошенников из торговой сети и артелей угнетала его.

— Это ж такое жулье, Алексей Иванович! — жаловался он Городулину, встречая его в служебной столовой. — Сидит против тебя бесстыжая морда, нахально улыбается, думает, весь мир можно за деньги купить. Третьего дня полмиллиона предложил мне взятки...

— Что ж не брал? — спросил Городулин. — Поторговаться надо было, накинул бы тычонок двести, я бы обязательно взял.

Белкин заморгал короткими светлыми ресницами и неуверенно, устало улыбнулся.

— Все шутите, Алексей Иванович...

— А чего? У него где-нибудь на огороде зарыто в кубышке, он отсидит с зачетом пять лет, выйдет на волю и снова будет икру столовыми ложками жрать. А государству семьсот тысяч пригодятся...

— Я вот про что думаю, — сморщив лоб, произнес Белкин. — Ну как он, бродяга, о себе понимает? Ну вот он спит рядом с женой, ходит в театр, детям своим велит, чтобы они в носу не ковыряли, гуляет по улице среди людей — и все время помнит, что он мошенник? Я б с ума сошел!..

— А ты б у него спросил.

Белкин махнул рукой.

— В яслях тебе надо служить, — сказал Городулин. — Очень мне интересно, почему да как он о себе рассуждает! Жить хочет богато на чужой счет. Лекцию

слушал третьего дня в нашем клубе? Пережитки капитализма...

Ухмыльнувшись, Городулин покрутил головой:

— Но только я не думаю. Какому-нибудь подлецу двадцать пять лет, он и капитализма-то в глаза не видел... Смешно... Сидим в зале человек полтора, лектор все так красиво объясняет нам, научно, а я сижу и думаю: «Ну-ну. Валяй давай. Небось обчистят твою квартиру, к нам придешь. Вот я поймаю вора, вызову тебя, а ты ему объясни, что у него пережитки...»

— А я скажу иначе,— перегнулся через стол Белкин.— Возьмем сто семнадцатую. Третьего дня допрашиваю завмага с Апраксина. Маленькая лавчонка — смотреть не на чего: носки, чулки, дамское трико. Хороший такой парень завмаг, сам пришел. «Я, говорит, собираюсь наложить на себя руки». — «По какому случаю?» — спрашиваю. «А вот так, говорит, видите на мне френч военного образца?» — «Вижу». — «Сколько в нем, по-вашему, карманов?» Ну, я посчитал. «Шесть», — отвечаю. «Ну так вот, говорит, надеваю я этот френч военного образца, в котором я из-под Средней Рогатки пешим ходом добрался до Гитлера, надеваю я его два раза в месяц — пятого и двадцатого числа. И надеваю не просто, а заряжаю каждый из шести карманов конвертами. В конвертах купюры: от сотенных до четвертного. Иду я, говорит, в правление, обхожу руководство и расчетную часть, — выхожу на улицу пустой». И тут же обобщает: «Разворуют, говорит, промкооперацию».

— И очень просто,— сказал Городулин.

— Я ему говорю: «Но-но, ты не обобщай», а он на меня машет рукой. «Ваше дело, говорит, такое — рассуждать официально, а я дошел до ручки. Меня сон не берет». И вынимает из верхнего кармана пузырек, лижет пробку.

— Нервный жулик,— сказал Городулин.

— Стал я разматывать ниточку — боже ж ты мой!..

На каких людей выхожу! Докладываю начальнику отделения — надо брать. «Бери, говорит, а мне своя голова дороже».

— Сволочь,— сказал Городулин.— Вызвать его на партбюро...

— Отопрется. Скажет: Белкин не подработал материал, Белкин нарушает социалистическую законность.

— Уходить надо Белкину из ОБХСС,— заключил Городулин, подымаясь из-за стола.— Способностей у тебя для этого дела нету.

И каждый раз, встречаясь с худеньким застенчивым оперуполномоченным, Городулин звал его к себе в отделение. Чем ему Белкин пришелся по душе, сказать было трудно. Во всяком случае, когда Белкина под каким-то приличным предлогом отчислили из ОБХСС, Алексей Иванович пошел к начальнику управления и выпросил оперуполномоченного к себе.

2

В Усть-Нарве за последнюю неделю Белкин спал три раза, из них один раз стоя. Пришлось допросить уйму народа: в буфете во время ограбления сидело порядочно пьянчуг. Хвативши, как правило, двести пятьдесят с прицепом, а то и больше, они все описывали наружность преступников, количество их и обстоятельства разбоя по-разному.

Тихим, вежливым голосом, терпеливо и настырно, он задавал одни и те же вопросы. Свидетели вели себя пестро. Кто считал, что ему повезло: удостоился лично присутствовать при ограблении, будет что рассказывать приятелям. Кому было стыдно, что его таскают по допросам, и от стыда эти свидетели хамели и грубили. А попадались и такие, которые утверждали, что вообще никакого разбоя не было: Нюрка-буфетчица проворовалась и симулирует.

Сперва Городулин тоже примчался в Усть-Нарву. Благообразный, седенький, с бледным и немного одутловатым лицом, он руководил группой оперативных работников. Как всегда, поначалу наметилось много версий, надо было одинаково внимательно проверить их все, и постепенно они отпадали одна за другой. Из местных преступников, за которыми велось наблюдение, как будто никто замешан не был.

Алексей Иваныч сам допросов не вел, а только сидел рядом со своими работниками, чаще всего с Белкиным, и внимательно слушал показания свидетелей. Иногда он затевал разговор, словно бы далекий, не относящийся непосредственно к делу, но из которого ему, очевидно, становилась ясной фигура человека и степень доверия к нему.

Когда Белкин допрашивал какого-то отставника, с удивительным раздражением отвечавшего на вопросы, Алексей Иваныч положил руку на плечо уполномоченного и сказал:

— Погоди, Белкин. Товарищ майор, вероятно, волнуется...

— Ну вот еще,— хмыкнул отставной майор.— Мне-то чего расстраиваться... Развели кругом воря, это вам надо волноваться. И ни черта вы не поймаете, только людям головы морочите!..

— Поймать, конечно, трудно,— задумчиво вздохнул Городулин.— А скажите, товарищ майор, давно дачку построили в Усть-Нарве.

— В позапрошлом,— буркнул отставник.

— Сдаете? — ласково спросил Городулин.

Отставник не понял или сделал вид, что не понял.

— Я к тому,— пояснил Городулин,— что она вам тысяч в семьдесят, наверно, встала. Покрыть расходы, в буфете культурно отдохнуть, то да се, вот и приходится сдавать на лето детскому саду. Если не секрет, почему берете с детишек? С головы или на круг?

Отставник засопел. Его румяный нос набряк от обиды. Умные едкие глаза Городулина ничем не выдавали, что он сейчас здорово зол.

— Вы меня не воспитывайте... Я кровью заслужил...

— Да-да, конечно,— рассеянно сказал Городулин и, обернувшись к уполномоченному, спросил: — У вас все, товарищ Белкин, к товарищу майору?

Белкин кивнул. Подписывая протокол допроса, отставник пробурчал:

— А Нюрка ваша — шлюха... И никакого ограбления не было. Я в двух шагах от стойки сидел.

— Лежали,— вежливо поправил его Городулин.

К этому времени он уже знал, что именно Нюра Подрядчикова ни за что не хотела отдавать преступнику баул с деньгами.

Долгий опыт приучил Алексея Иваныча при расследовании свежего дела не пренебрегать никакими кажущимися мелочами. Нынче было не по годам утомительно бросаться из стороны в сторону, но непременно надо было собрать в кулак все тоненькие ниточки, все пусяки, все подробности. Из Ленинграда он привез опытного агента, который шлялся по буфетам Усть-Нарвы с утра до ночи, пил с кем попало — он мог выпить килограмм водки зараз — и слушал, что говорили люди об ограблении.

На вторые сутки общая картина разбоя была ясна. Все три буфета брал один и тот же человек, вооруженный ножом. У дверей он оставлял напарника. Выпив кружку пива у стойки, грабитель осматривал посетителей — они были изрядно набравшись,— затем быстро откидывал дверцу стойки, подходил вплотную к буфетчице и, вынув нож, коротко требовал:

— Гони баул с выручкой.

Две девушки отдали баулы беспрекословно, третья закричала. Посетители оглянулись на крик. Держа нож пониже стойки, так, что его не было видно, преступник

притянул Ньюру одной рукой к себе и крепко поцеловал. На ухо он тихо сказал ей:

— Не шипи. Зарежу к чертовой матери!

И сильно уколол ножом в бок. Дневная выручка была отнята, да еще в придачу Ньюрины ручные часы. Неподалеку от буфетов, в переулке, напарники делили деньги, тару выбрасывали. Дважды их чуть было не задержали. В первый раз за ними погнался буфетный повар, к нему присоединился милиционер. Милиционер кричал: «Стой! Стреляю!» — и выстрелил в воздух, преступники не остановились, а палить по ним милиционер боялся, ибо месяц назад имел двадцать суток за то, что по неосторожности застрелил козу.

У самой станции их остановил постовой. Он попросил предъявить документы.

Один из грабителей тотчас рванулся в темноту, а второго постовой успел схватить за рубаху у глотки. Оба были рослые, здоровенные мужики. Вырываясь, преступник полоснул постового ножом по шее. Падая от удара, постовой потянул его за собой и, уже лежа, изловчился выхватить из кобуры пистолет, приставил дуло к ребрам грабителя и нажал спусковой крючок.

Патрон, как назло, перекосило, пистолет не выстрелил.

И тогда бандит ударил второй раз ножом, ударил сильно, навалившись всем корпусом. Выцарапавшись из слабеющих рук милиционера, он влопыхах даже не стал вынимать нож из раны...

Городулин трижды заходил в больницу, постовой лежал без памяти. Побывал он у его жены; она ошалела от горя, все валилось у нее из рук, плакали некормленные двое детей. Алексей Иваныч купил колбасы, масла, сыру, конфет, вспомнил, что он в детстве любил сидро, и прихватил пару бутылок лимонада. Придя снова в дом милиционера, Городулин спросил, где можно помыть руки и есть ли в доме чистые тарелки. Никаких

СЛОВ утешения он не произносил, растопил плитку, вскипятил чаю, поел с детьми, хозяйка есть не стала. Главврач сказал, что у постового Ключева пробито легкое и вряд ли он выживет: раненый в таком состоянии нетранспортабелен, а в местной больнице сложных операций на легких не производят.

Сев под утро в оперативный газик, Городулин велел шоферу держать скорость восемьдесят километров, а под городом включить сирену и не выключать ее до самой Мойки.

В санчасть он поспел к началу рабочего дня. Выпросить профессора в отъезд было не так просто. Начальник санчасти уперся, а когда Городулин продолжал настаивать, начальник тут же связался по телефону с главврачом Усть-Нарвы. Поговорив с ним по-русски и по-латыни, начальник сделал скорбное лицо и сказал Городулину, что случай безнадежный: порваны плевра, бронхи, легкое.

— Сколько процентов за то, что он выживет? — спросил Городулин.

Начсанчасти пожал плечами:

— Медицина, к сожалению, не математика. Мы на проценты не считаем.

— Но есть хоть какая-нибудь вероятность?

— За глаза сказать трудно.

— Так я и прошу послать профессора.

— Вы меня извините, товарищ Городулин, — подавляя раздражение, сказал начсанчасти, — но у обывателей считается, что лечить могут только профессора. В Усть-Нарве достаточно квалифицированный врач. Я не могу по всем острым случаям разбрасываться консультантами...

— Вас много, а я один, — пробормотал Городулин.

— Что? — спросил начальник санитарной части.

— Да я вспомнил, в магазинах так говорят... Ну а если профессор согласится, вы не будете возражать?

— Пожалуйста... В свободное от консультаций время...

Профессора уговаривать не пришлось, он согласился тотчас. Погрузив его в газик на переднее место рядом с шофером, Городулин трясся на заднем сиденье. Считая, что важного консультанта следует в пути чем-то занять, Алексей Иванович склонился к нему и всю длинную дорогу рассказывал разные случаи из своей практики. Профессор оказался очень симпатичным стариком, у него разгорелись глаза, он ахал, задавал глупые вопросы. В этих рассказах действительно все получалось красиво и ловко, примерно так, как у Феди Лыткова, когда он однажды при Городулине беседовал с драматическими артистами о работе угрозыска: театр ставил пьесу из жизни уголовников.

Артисты тоже ахали, восторженно причмокивали губами, а этот черт Лытков расписывал, на какой высокой ступени находится наша криминалистика; наука, дескать, все превзошла: сегодня украдено, завтра поймано. На закуску Лытков показал альбом с фотографиями, здесь были изображены особо тяжкие преступления — убийства и насилия. Одна народная артистка, которую Городулин любил смотреть по телевизору, сказала Лыткову:

— Но ведь вы же, товарищи, настоящие герои!

А Федя потупил скромно глаза и ответил:

— Ну что вы! Какие мы герои?.. Просто стараемся охранять ваш покой. Это наш долг.

И было видно, что уж кто-кто, а он-то наверняка герой.

После ухода артистов Городулин с брезгливым восхищением сказал ему:

— Ну и силен враты!.. Свистун.

— А что я наврал? Что? — обиделся Лытков. — Пусть народ уважает наши органы...

Городулин знал, что Лытков считает его хотя и опытным, но старомодным работником.

В Усть-Нарве Алексей Иваныч завез профессора в Дом приезжих, Белкин загодя приготовил койку в той комнате, где ночевал Городулин. Через час постовой Ключев лежал на операционном столе.

Задержавшись в этот вечер допоздна в Ивангороде — казалось, опергруппе удалось набрести на след грабителя, — Городулин, отсыревший и усталый, вернулся в Дом приезжих ночью. Чтобы не разбудить профессора, Алексей Иваныч посидел, покурил в жаркой дежурке, затем разулся, подержал в духовке окоченевшие ноги в носках и, так и не надевая сапог, пошел по коридору в свою комнату. Дверь он открыл потихоньку. На него сразу пахнуло дымом: за столом консультант резался в козла с какими-то командирочными.

На Городулина никто не обратил внимания. Он знал уже, что состояние Ключева после операции удовлетворительное, и поэтому сейчас ни о чем расспрашивать не стал. Еле найдя в себе силы, чтобы раздеться, Городулин повалился спать; болела в затылке голова, это у него всегда бывало от усталости.

Сквозь туман и тупую боль в голове он слышал далекие голоса играющих. Кто-то лениво спросил:

— Это что за старичок?

— Из милиции, — ответил профессорский голос.

— Мильтон! — присвистнул игрок.

«Это я», — подумал Городулин и заснул.

3

Вернувшись в город на неделю раньше Белкина, Алексей Иваныч вынужден был заняться новыми делами, поступающими из области. Держать в памяти ворох преступлений, помнить, в каком направлении ведется расследование каждого дела, разрабатывать операции,

докладывать начальству, не упускать связи с районами — на все это не хватало суток.

Телефон часто будил его среди ночи. Не попадая иногда спросонья в шлепанцы, он взбирался босыми ногами в кресло и, присев на корточки, разговаривал с оперативниками. Приняв срочное донесение, Городулин тут же порой менял ход расследования. Язык, на котором он разговаривал, был полон жаргонных словечек; скучающая по ночам районная телефонистка на коммутаторе, и подслушав, ничего не разобрала бы.

Бывало, что, коротко поговорив, Алексей Иваныч быстро одевался, совал пистолет во внутренний карман пальто, плаща или шубы и исчезал на день, на три, на неделю. Антонина Гавриловна, приученная тридцатью годами совместной жизни к этим мгновенным исчезновениям, с непостижимой для своей рыхлости быстротой успевала все-таки приготовить среди ночи стакан чаю и бутерброд. А потом ждала. Ждала звонка Алексея Иваныча из Ропши, с Ладоги, из какого-нибудь далекого, еле слышного сельсовета; если звонка несколько дней не было, она сама звонила в управление и, замирая от дурного предчувствия, веселым голосом спрашивала дежурного:

— Ну как мой старик?

Дежурный тоже шутил:

— Загулял, Антонина Гавриловна!

— Вот и хорошо. А я здесь и сама не скучаю...

И, положив трубку, беспокойно думала, знает ли дежурный что-нибудь неблагоприятное или просто Алексей не может добраться до телефона.

В управлении Городулина любили. Людей его возраста и его стажа в отделе было мало: кто вышел на пенсию, кого выгнали, кого убили, кто умер. Да мало ли как складывались судьбы старых работников! Поговаривали, что, будь у Городулина высшее образование, он, вероятно, дослужился бы до комиссара. Нынче же он

уже лет десять ходил в подполковниках. Все его начальство было гораздо моложе его, обращались с ним бережно, но был один оттенок в этом обращении, который раздражал Алексея Ивановича: негласно считалось, что некоторые взгляды Городулина вроде бы устарели. Составление обзорных докладов ему уже давно не поручалось, на крупные городские совещания его не посылали: очевидно, опасались, что он ляпнет что-нибудь не то.

И действительно, несколько лет назад случалось, что он ляпал невпопад то на областной конференции учителей, то на исполкоме, то в обкоме комсомола. В общий торжественный и праздничный тон совещаний Городулин удивительно не к месту привносил что-нибудь скребуще-тревожное, отчего всем становилось не по себе, приводил неприятные факты, о которых принято было думать, что их давным-давно не существует и в помине.

Заведующий облоно прислал даже однажды, после такого выступления Алексея Ивановича, большую казенную бумагу в партийную организацию управления.

«Не умея диалектически мыслить,— писал завоблоно,— и не обладая способностью марксистского анализа, товарищ Городулин взял на себя смелость...»

— Ты чего там наговорил? — спросил Городулина секретарь партбюро.

— Да у меня какая была основная мысль? Несовершеннолетние преступники формируются, кстати, еще и оттого, что молодежи в районе трудно устроиться на работу. Где-нибудь, скажем в Гатчине, промышленности особой нету, парень кончает десятый класс, ну куда он сунется?.. Ты же сам знаешь, приходили к нам в районные отделения, просили: «Устройте на работу, а то мы воровать пойдем...»

— Вот это самое ты и рассказал? — спросил секретарь партбюро.

— Ага, конечно.

— Угораздило же тебя.

— А что?.. Учитель, понимаешь ты, твердит им на уроке, что перед ними все двери открыты...

— Видишь ли, Алексей Иванович,— перебил его секретарь, пряча бумагу в стол,— с наскоку такие крупные вопросы не решаются. И не нам с тобой решать их. Помимо того, тебе, как работнику розыска, видна главным образом оборотная сторона медали, и делать обобщающие выводы только на ее основе неверно...

Городулин обиделся и упрямо продолжал гнуть свое. Секретарь партбюро ценил Городулина и поэтому вопроса о нем ставить не стал, а просто посоветовался с начальником управления, и они решили, что для Городулина будет здоровее не представлять на ответственных совещаниях.

— Вообще бы его учить надо,— вздохнул начальник управления.— Грамотенки у него не хватает, да староват уж нынче... А практически он крепкий работник.

Хорошо знали Городулина и уголовники. Не мелочь, не случайная босота, а старые, матерые воры, их становилось все меньше. Случалось, что, попав на допрос к молодому малоопытному уполномоченному, такой ворюга долго, умело глумился над ним, водил его за нос из стороны в сторону, сегодня отрицал то, что говорил вчера, а завтра снова менял свои показания, ловко придирался к процессуальным казуистическим мелочам — законы он знал великолепно, и не только по номерам статей кодекса, а по самому духу их,— но стоило войти в комнату или в камеру Алексею Ивановичу Городулину, как картина быстро менялась.

Однажды, когда Федя Лытков еще только начинал свою карьеру под начальством Городулина, в их отдел угодил пожилой магазинный вор, работавший осторожно и, как правило, в одиночку. Солидных прямых улик против него не было,— он это прекрасно понимал и тянул время, чтобы истекла санкция прокурора на его арест. Лытков бился с ним, нервничал, ибо срок санкции

действительно истекал, вора надо было выпускать, а это считалось крупным браком в работе уполномоченного.

На последнем допросе арестованный, державшийся с оскорбленным достоинством, закатил настоящую истерику. По лицу Лыткова вор увидел, что тот испугался. Это наблюдение придало вору новые силы. С яростным вдохновением схватив со стола чернильницу, он выпил ее до дна, упал на пол, засунул пальцы себе в рот и разодрал его по углам до крови.

В эту минуту, как назло, вошел в комнату Городулин. Быстро посмотрев на пожилого человека, катающегося по полу, на растерянное и испуганное лицо Лыткова, Городулин спокойно прошел к дивану, уселся, закурил и сказал:

— Плохо работаешь, Костя. Что ж мало рот порвал? Рви дальше... Товарищ уполномоченный, есть у вас еще чернила? Вон непочатая бутылка стоит. Поддай-те ему, пусть опохмелится...

Костя встал, отряхнул брючки, утерся рукавом.

— Ай-я-яй! — укоризненно покачал головой Городулин.— И не совестно?.. Законник, потомственный ворище, а на такие пустые номера хочешь купить уполномоченного!..

— Так я ж, Алексей Иваныч, вижу: он в нашем с вами деле не петрит. Я больше для потехи,— пристыженно оправдывался вор.— И потом, санкция истекает, выпускать меня надо...

— Ой, что ты, что ты! — испуганно говорил Городулин.— Куда ж я тебя, такого ангела, выпущу?.. Ты же за прошлый год два магазина взял. А наследил, сват!.. Дайте-ка мне, товарищ Лытков, его папочку. Садись, Костя. Сейчас будем раскалываться...

И Костя садился и раскалывался. Сознавался он конечно же не из уважения к Городулину или, упаси бог, не оттого, что раскаялся в своих преступлениях, а просто потому, что отлично знал: Городулина ему не об-

вести, сидеть во внутренней тюрьме скучно и голодно-вато, лучше уж поскорей в колонию, а там придет «зеленый прокурор» — весна, может, и посчастливится удрать на волю.

Преступники не мстили Городулину, хотя прошло их через его руки немало. Будучи пойманными, они рассуждали так: «Наша работа — воровать, твоя — ловить. Кто лучше спляшет. Ты поймал — твой верх».

Раз только, после разгрома крупной банды, когда все ее члены были осуждены и высланы на большие сроки, Алексей Иваныч, примерно через год, получил на дом телеграмму:

«Жди гостей. Осталось тебе четыре дня! Приедем — рассчитаемся».

В конце телеграммы стояло две подписи. Послана она была из Воркуты. Зная городские связи двух этих бандитов, Городулин дал задание агентам немедленно сообщить ему, как только гости прибудут в город.

Он взял их еще тепленькими, они с полчаса как явились с вокзала. Войдя в комнату, где пир уже шел горой, Городулин опустил руку во внутренний карман — позади стояли двое сотрудников с овчаркой — и миролюбиво сказал:

— Ну что ж, давайте рассчитываться.

Кое-кого из уголовников Алексей Иваныч поставил на ноги. Называл он их крестниками. Крестнику выхлопывался паспорт, находилась работа, жилье. На первых порах Городулин следил за ними, вызывал иногда в управление; чутье редко обманывало его. Были среди крестников старики, была молодежь. Всем им, чего бы они ни достигли, он говорил «ты», и все они обращались к нему на «вы»...

В тот день, когда вернулся из Усть-Нарвы Белкин, к Городулину должен был зайти старик Колесников, бывший знаменитый вор, специалист по ограблению церквей. Он позвонил накануне, сказал, что вышел не-

давно из больницы и хотел бы повидаться с Алексеем Ивановичем. Не встречались они очень давно, за судьбу Колесникова Городулин не волновался.

— Как живешь-то? — спросил его по телефону Городулин.

— Плохо, Алексей Иванович.

— Что так?

— Жена умерла, сам вот болею...

— Ну заходи завтра... К концу дня.

День выдался на редкость хлопотливый. С утра долго прикидывали с Белкиным. Уполномоченный, по-видимому, вышел на правильный след. Перебрав в Усть-Нарве всех людей, вернувшихся из мест заключения, и тщательно допросив их, Белкин установил, что у плотника ремстройконторы Орлова две недели проживал без прописки, явно скрываясь, здоровенный красавец детина, по описанию свидетелей похожий на того грабителя, что был с ножом. После ограбления он исчез. Что касается самого Орлова, дважды судившегося, то он не смог доказать, путался, рассказывая, где был в субботний вечер разбоя. Был в бане, пил там пиво, потом добавил на вокзале водки, дальше не помнит. Белкин проверил: в субботу в бане был женский день. Когда Белкин преподнес это Орлову, тот согласился: правильно, он поднавра.

— Зачем? — спросил Белкин.

— Женки своей боялся.

— Почему? — спросил Белкин.

— У бабы был.

— У какой? — спросил Белкин.

— Не имею душевного права говорить.

— Сядешь, — сказал Белкин.

— Это вполне, — ответил плотник.

Просидев три дня, Орлов сказал, что был у Варьки Хомутовой. Вызвали Варвару Хомутову. Ей оказалось шестьдесят восемь лет. Дотошный Белкин устроил им

очную ставку. На очной ставке старуха заплевала Орлову всю морду.

— Идите, бабуся,— отпустил ее Белкин. Потом он обернулся к Орлову и спросил: — Ну, как? Будешь вертеть вола дальше?..

— Надоело. Спрашивайте.

Он сообщил фамилию дружка — Гусько. Зовут Володька. Отчества не знает. С какого года, тоже не знает. Познакомился с ним в колонии. Орлов освободился раньше, оставив Володьке свой усть-нарвский адрес. Недавно Гусько явился, попросился ночевать.

— Удрал из колонии? — поинтересовался Белкин. Орлов пожал плечами.

— Мне ни к чему. Я не допрашивал.

Прожил Гусько две недели. Выпивали, но мало. Через две недели Володька уехал в Челябинск, к сестренке, что ли.

— Все?

— Все.

Белкин вынул из портфеля нож, положил перед Орловым.

— Вещь знакомая?

— Нож,— подтвердил Орлов.

— Чей?

— Надо думать, ваш...

Когда Городулин дочитал протоколы допросов до этого места, в кабинет вошел Федя Лытков. Изо всех сил пожав руку Белкину и Городулину, он сел на клеенчатый диван.

— Чего окно не откроете, надымили.

— А верно,— сказал, морщась, Городулин.— То-то у меня затылок трещит...

— Как, вообще-то, здоровье, Алексей Иванович? — заботливо спросил Лытков.— Видик у вас не того...

— Устаю чертовски... Ты тут особенно не расслаживайся, мы работаем.

— Белкин, значит, теперь у вас? Ну как он, справляется? — полюбопытствовал Лытков, словно не слышал просьбы Городулина.

— У нас, у нас. Не хуже тебя справляется, — торопливо ответил Городулин. — Можешь спокойно ехать в отпуск...

— Да вот не пушают... Путевка в Ялту горит. Отдаю за полцены, — пошутил он.

— А ты теперь в каком отделе будешь? — спросил его Белкин.

Лытков помедлил с ответом, а Городулин подмигнул:

— Его нынче голыми руками не возьмешь. Извини-подвинься. У него нынче диплом...

— Да не в этом дело, — скромно сказал Лытков.

— Ну-ну, не туфти... Валяй, Лытков, выкатывайся: нам зарплата идет...

— Ох и выраженья у вас, Алексей Иваныч, — не то шутя, не то серьезно сказал Лытков, подымаясь с дивана.

Городулин впервые внимательно посмотрел на него и, когда тот дошел уже до дверей, спросил:

— Это ты что, вроде мне замечание сделал?

— Да нет, просто так...

— Ну-ну... А то я уж хотел тебя по матери послать...

Дверь за Лытковым закрылась. Белкин сказал:

— Вы собирались связаться с Челябинском и с министерством. Проверить насчет Гусько...

4

К концу дня из Москвы сообщили, что Гусько Владимир Карпович, имевший срок двадцать пять лет за убийство, бежал из колонии полтора месяца назад. Одновременно челябинская милиция подтвердила проживание Гусько Елены Карповны, очевидно сестры его, по

Пушкинской улице, дом четырнадцать. Значит, Орлов говорил на допросах брехню вперемежку с правдой.

— Завтра вылетишь в Челябинск, — сказал Белкину Городулин. — Если Гусько там, возьми его. Только поосторожней... У тебя имеется такая дурацкая привычка — лезть на рожон. Предупреди тамошних ребят из розыска, что это сволочь отпетая, Деньги есть?

— Есть.

— Покажи.

Белкин долго, с беззаботным лицом, шарил по карманам. Городулин писал, не подымая головы.

В это время позвонил начальник управления. Поинтересовавшись состоянием усть-наровского дела, начальник поворчал, что уж больно долго Городулин ничего о нем не докладывает.

— Между прочим, товарищ Городулин, к начальству вообще заходить изредка следует. Оно ведь тоже может что-нибудь присоветовать... Или сомневаетесь?

— Никак нет, — ответил Городулин. — Нам сомневаться не положено.

— Больно вы, Алексей Иваныч, придерживаетесь — что положено, что не положено... Так зайдешь?

— Прикажете.

— Дело твое, — сказал начальник. — А надо будет, и прикажу.

Думая, что Городулин уже забыл про деньги, Белкин поднялся. У Алексея Иваныча лицо было красное и раздраженное. Потоптавшись, Белкин тихо сказал:

— Значит, я пошел, Алексей Иваныч...

— Вам что велено было? — спросил Городулин.

Белкин вынул из кармана скомканную десятку.

— Ого!.. Много тебе жена отвалила... Возьмишь сейчас под отчет командировочные, дома не оставляй: ей зарплаты хватит, а тебе в дорогу нужнее. Бери вот еще пятьдесят рублей, в получку отдашь.

Сопротивляться было бессмысленно, Белкин взял де-

нги и вышел. Ему было неприятно, что в управлении известен характер его жены. Все откуда-то знали, что она выдает ему каждый день по два двадцать на «Беломор» и рублей пять на обед и, когда он в милицейской форме, стесняется ходить с ним по улице. Понять они все равно этого не поймут, а он ее любит.

Торопясь из управления домой, Белкин забежал по дороге в ДЛТ и купил на городулинские деньги жене духи, а себе десяток коробков спичек — они у него вечно пропадали.

Вскоре после ухода оперуполномоченного Городулин запер бумаги в стол и собрался было домой. Затылок разламывало всюю, глаза и щеки горели. Из-за стены кабинета, из той комнаты, где обычно вели допросы, сейчас доносились голоса — женский и мужской. Мужской что-то бубнил, а высокий женский строго оборвал его:

— Никуда не годится. Сначала.

И мужчина снова загудел, теперь уже громче:

— Для того чтобы уничтожить иррациональность в знаменателе...

Очевидно, секретарша Валя помогала делать уроки кому-нибудь из сотрудников.

«Выучится, черт, а потом нос задерет», — с горечью подумал Городулин.

Когда он был уже в пальто, в дверь постучали.

— Да! — крикнул Городулин. — Можно.

Вошел Колесников. Увидев Алексея Иваныча в пальто, он смущенно спросил:

— Не ко времени подгадал?

— Здорово. Садись. Это меня знобит...

Бывший «клюквенник», крупнейший специалист по ограблению церквей, за которым во времена нэпа охотились угрозыски всей России, сел на клеенчатый диван рядом с подполковником милиции Городулиным. Оба посмотрели друг на друга с нескрываемой нежностью.

Колесников был не простым вором. Он выезжал на работу не более двух-трех раз в год. У него была карта Российской империи, где все города, в которых находились старинные соборы и церкви, были отмечены крестиками. Подле многих из них стояли чернильные птички; это значило, что Колесников побывал там и сделал все, что было в его возможностях. Работал он вдвоем или втроем, часто меняя напарников, ибо его не удовлетворяли их моральные качества.

Водки Колесников не пил, матерно не ругался, ценил вежливое обращение. Дело свое он знал преотлично. В полной темноте, лизнув языком оклад иконостаса, Колесников безошибочно определял, золото это, серебро или медь. Компаньоны его пользовались в таких случаях кислотами, а для этого надо было, забравшись под алтарь, засвечивать фонарь, что было небезопасно.

Дело шло прибыльно. Церковный жемчуг делили между собой стаканами, бриллианты — спичечными коробками. Золотые оклады сгибали, закатывали в ковры и увозили на извозчике на вокзал к ночному поезду. У барыг, скупщиков краденого, Колесников пользовался неограниченным кредитом. Они же его изредка предавали. Деньги, водившиеся у Колесникова мешками, он проигрывал в карты. Посиживал в тюрьмах и колониях. Году в двадцать восьмом вся эта волюнка надоела как-то Колесникову. Отбыв очередной срок, он пришел в Ростове-на-Дону на биржу труда и попросил работы. Заведующая биржей, просмотрев его документы, грубо ответила:

— Я честных людей не могу обеспечить работой, не то что вас...

— Понимаю,— сказал Колесников.— Тогда дайте червонец.

— Это, собственно, почему?

— На инструмент. Я думал бросать профессию, а теперь надо снова обзаводиться.

Обидевшись на Ростов-Дон, Колесников стал чистить его так, что город затрепал. Временно сменив свою редкую специальность на довольно рядовую профессию «скóбляря», он в одиночку грабил квартиры нэпманов. Поднакопив денег, выезжал в Ленинград играть в карты. Тут-то и познакомились Колесников с Городулиным.

Городулин ловил его долго и упорно. Еще ни разу не встретившись, они знали друг друга самым подробнейшим образом. Иногда даже они снились друг другу: Городулину мерещилось, что Колесников удрал у него из под самого носа, Колесникову — что Городулин его схватил.

Однажды примерно так и случилось. Выследив Колесникова в один из его приездов в Ленинград, Городулин ждал с нетерпением только сигнала брать его. Сигнал поступил не вовремя: Алексей Иваныч лежал в grippe. Именно в это время ему лихорадочно сообщили, что Колесников на Московском вокзале покупает билет на поезд, который отходит через пятнадцать минут. Сунув ноги в валенки, стоявшие у кровати, Городулин накинул в прихожей шубу, бросился вои из квартиры. На улице была весна, полно луж, затянутых к вечеру листочками льда. Проваливаясь в воду, не разбирая дороги, Городулин мчался к вокзалу по торцовой мостовой. За ним бежала Антонина Гавриловна с сапогами в руках.

— Леша, надень сапоги! — кричала она.

На ходу, в скверике, Городулин переобулся. Когда он прибежал на перрон, невдалеке, подрагивая на повороте, светился фонарь хвостового вагона. А Колесников, почуввав недоброе, ушел в Любани из поезда.

И все-таки Городулин наконец-то взял его. К этому времени Алексей Иваныч изучил все его повадки и привычки. Даже только читая протокол осмотра какой-нибудь ограбленной церкви, Городулин мог с точностью сказать, колесниковских ли рук это дело. Формулу отпе-

чатков его пальцев Городулин знал наизусть. Цвет глаз, рост, конфигурация ушей и носа — всё это было вызубрено до такой степени, что мелькни Колесников мимо даже на бегу — Городулин схватил бы его.

Но вот случилось так, что вор женился. Влюбившись в немолодую добропорядочную вдову, Колесников на первых порах постеснялся объявить ей свою профессию. Поскольку в ту пору многие не ходили на службу, пожилой молодожен не вызывал никаких подозрений у своей супруги. Они прожили так месяца три. Подходил Новый год. Встречать его решили дома. Вечером, накрывая на стол, жена сказала, что, пожалуй, маловато вина и хорошо бы еще чего-нибудь соленья. Колесников тоже осмотрел стол, посвистел, потом взял из кладовки маленький потрепанный чемоданишко, давно валявшийся там запертым на замок, и, сказав жене, что сбегает в магазин, ушел. Наняв на последний червонец дородного лихача с жеребцом под сеткой, Колесников мигом домчался до Волкова кладбища. Лихач был оставлен шагах в двухстах от ворот. Минут за двадцать Колесников перепилил отличными инструментами из своего докторского чемодана оконный переплет кладбищенской церкви, спрыгнул внутрь, забрал драгоценные камни у божьей матери и через полчаса снова сидел на извозчике. Знакомый скупщик на Разъезжей дал за один из камней приличную сумму. Все на том же лихаче, груженном вином и харчами, Колесников, часу в двенадцатом, подъехал к своему дому. Когда он позвонил, придерживая грудью и подбородком покупки, дверь открыл Городулин.

— С Новым годом! — сказал он. — Не стесняйся, заходи.

В квартире шел обыск. С досады Колесников лег на диван и закрыл глаза. Городулин участия в обыске не принимал. Покуда его ребята работали, он сидел за накрытым столом и украдкой поглядывал на хозяина.

— Ты подумай: встретились все-таки! — радостно болтал Алексей Иваныч. — Правильно люди говорят: гора с горой не встречаются...

Он поднялся, подошел к окну, взял горшок с фикусом.

— Игрушек у меня в детстве не было, — вздохнул Городулин, быстро и незаметно взглянув на Колесникова; у того дернулось левое закрытое веко. — И играли мы с пацанами так: запрячет кто-нибудь из нас камушек или тряпку, а остальные ищут. Известная тебе игра? — дружелюбно спросил он Колесникова.

Колесников всхрапнул, словно со сна.

— Ну вот, — продолжал Городулин. — Значит, ищут они, ищут, а тот, который спрятал, по правилам игры приговаривает: «Холодно, холодно... Теплее... Горячо!..»

Произнеся это, Городулин дернул ствол фикуса из горшка: в земле, между корнями, лежали две маленькие металлические коробочки из-под мятных лепешек.

— Смотри пожалуйста! — изумился Городулин. — Не разучился играть...

В коробочках лежали бриллианты, припрятанные на черный день.

— Михаил, в чем дело? — спросила у Колесникова жена.

— Прикидывается, стерва, что не знала! — разозлился один из соотрудников.

— погоди, — досадливо сказал Городулин. — Раньше времени не обзывай.

Забрали Колесникова, забрали и его жену.

До передачи дела в прокуратуру Алексей Иваныч вел его сам. Вызывая Колесникова на допросы, Городулин приносил из буфета чайник чаю, дешевого печенья и разговаривал с подследственным до поздней ночи.

Как ни странно, Городулин очень верил своему первому впечатлению. Он приучил себя слушать не только

то, что говорит арестованный, но и то, каким тоном он это произносит, как ведет себя при этом, как сидит, какое у него выражение лица. Бывало за долгую жизнь в розыске и так, что задержанный быстро берет на себя тяжчайшее преступление, признается в нем, рассказывает подробности, а Городулина не оставляет при всем этом ощущение, что человек невиновен. С ощущениями, конечно, к прокурору не сунешься, значит, надо было разматывать, почему же для человека оказалось выгодным, а может и необходимым, брать дело на себя. Но даже в тех случаях, когда все было ясно, Алексей Иванович не любил торопиться. Он стремился к тому, чтобы ему стало понятным не только само дело, но и человек, совершивший его. До тех пор, покуда не было исчерпано его любопытство к преступнику, покуда тот не превращался для Городулина в определенный тип, известный до этого или неведомый Городулину, он следствия не заканчивал.

Но, пожалуй, самое удивительное, что вне сферы своей деятельности Алексей Иванович довольно скверно разбирался в людях. Он думал о них гораздо лучше, чем подчас они этого заслуживали. Вероятно, объяснялось это тем, что, утомляясь от общения со всяким отребьем, он всей душой хотел верить в хорошее.

В Колесникове он прежде всего почувствовал усталость. Равнодушно признавшись во всех грехах, старый вор мечтал только об одном: чтобы выпустили его жену, которая ни в чем не виновата. Доказать ее невиновность он ничем не мог, но Алексей Иванович поверил в это тотчас. А поверив, сделал все, для того чтобы это обосновать. Жену освободили. Колесников же получил срок. После суда Городулин пришел к нему в тюрьму и сказал:

— Вернешься — приходи ко мне.

— Не дай бог, — ответил Колесников.

— Придешь, — обнадежил его Городулин. — Вора из

тебя больше не получится: пружинка сломалась... Да и жена будет ждать.

— Обещала,— сказал Колесников.

Он вернулся из колонии года через четыре, Жена ждала его. Городулин устроил его слесарем на завод. Руки у Колесникова были золотые. Первое время Алексей Иваныч вызывал его изредка в управление. Это никогда не носило характера проверки или наблюдения, во всяком случае внешне, для самого Колесникова. Иногда даже Городулин с ним советовался по тем уголовным делам, в которых Колесников слыл когда-то мастаком.

Застав как-то бывшего вора в кабинете Городулина, Федя Лытков повертелся и после ухода Колесникова спросил:

— Он что, у нас агентом работает?

— Да нет, просто так заходит...

— А польза от него какая-нибудь есть?

— Есть,— удивленно ответил Городулин.— Человеком стал.

— Ах, вы в таком масштабе! — разочарованно протянул Лытков.

— А ты в каком?

— Вы не сердитесь, Алексей Иваныч,— улыбнулся Лытков.— Я ведь у вас учусь, вы мой старший товарищ, правда?

— Ну? — спросил Городулин.

— Если со стороны послушать, как вы разговариваете с этим типом, то создается впечатление, что вы закадычные друзья, ей-богу... А между тем ну что у вас может быть с ним общего?.. Ведь не можете же вы в самом деле его уважать?..

— Почему, собственно, не могу?

— Коммунист, подполковник...

И стало вдруг Алексею Иванычу так скучно и тошно объяснять Лыткову, как он, Городулин, горд и рад, ког-

да ему удастся хотя бы одного из сотни ворья поставить на ноги, какое это нечеловечески трудное дело и как он в самом деле уважительно относится к людям, умеющим переломить себя, уйти навсегда, после стольких лет, из преступного мира, — стало ему так скучно и тошно, что он только вяло буркнул в ответ:

— Сейчас некогда, Лытков. Другим разом поговорим...

Лытков обиженно ухмыльнулся.

— Странно получается, Алексей Иванович: на разную босоту у вас всегда есть время. А на своих молодых сотрудников — поделиться с ними опытом, оказать им творческую помощь — вы почему-то от этого уклоняетесь.

— Ой ты господи! Ну садись, объясню. Только ты ведь все равно не поймешь...

— Да нет, я не навязываюсь.

— Садись, говорят! — уже тоном приказа произнесил Городулин.

Лытков сел. Не глядя ему в лицо, чтобы не видеть неприятных иронических глаз и не выдавать своей враждебности, с которой он не в силах был совладать, Городулин начал что-то говорить, подбирая круглые, гладкие слова, так как считал, что именно они более всего понятны Лыткову; затем незаметно увлекся, уже забывая, кто перед ним сидит, и со всей силой своих мыслей и убежденности пытался рассказать о том, что его трогает и во что он верит. Он перескакивал с предмета на предмет, оставив уже Колесникова и забираясь так высоко, что только неожиданно трезвый голос Лыткова возвратил его на грешную землю Мойки.

— Спасибо за беседу. Теперь все понятно, товарищ подполковник. Разрешите быть свободным?

И после его ухода Городулин возбужденно думал, что, в общем, Лытков — парень ничего, молод еще, пооботрется, слетит с него эта проклятая юная самоуве-

ренность, станет он помягче к людям и посуровее к под-
лецам и бросит судить обо всем с налету, с маху и,
главное, поймет, что огромные масштабы любой работы
составляются из судеб отдельных людей...

Когда нынче в кабинет вошел Колесников, Алексей
Иваныч обрадовался ему. Болел затылок, хотелось от-
влечься от этой боли; Антонина Гавриловна сразу бы
заметила по его красному лицу и воспаленным глазам,
что у него повысилось давление, а тревожить ее ни к
чему.

— Исповедаться пришел, Алексей Иваныч, — сказал
Колесников, осторожно усаживаясь на диван.

— Это к попу надо, в церковь.

— Отлучили вы меня, Алексей Иваныч, от церк-
вей, — сказал Колесников. — Я теперь туда не ходок..

— Кстати, мне ведь с тобой посоветоваться надо, —
спохватился Городулин и, подойдя к своему письменно-
му столу, достал из ящика коротенький ломик; протянув
его Колесникову, спросил: — Как считаешь, ничего
фомич?

Колесников повертел ломик, осмотрел расплющен-
ный конец и копьевидный, подбросил в руке, взвешивая
металл.

— В наше время лучше делали. Халтурная работа,

— По-твоему, можно им открыть маленький пере-
носный сейф?

— Да вы что, смеетесь, Алексей Иваныч? Какому
же дураку вскочит в голову открывать сейф фомичом!..

— Вот я им то же самое и говорю, — сказал Городу-
лин, — а они уперлись...

Колесников тактично не стал расспрашивать, кому
это «им» и кто это «они»: ответа бы он все равно не
получил. Городулин прислонил ломик к стене.

— Да, так перебил. Рассказывай.

— Похоронил я, Алексей Иваныч, жену..

— Давно?

— Третий месяц пошел. Поминала она вас, велела зайти, а я, как только ее похоронивши, слег в больницу. До того мне плохо было, Алексей Иваныч, думал, не вытяну. Другой раз уж, видно, не оклематься...

— Здоровый мужик. Еще меня переживешь.

— А мне и не надо,— спокойно сказал Колесников.— Вспоминать особо хорошего нечего, разве что вразбивку...

— Слушай, ты что пришел-то?— возмутился Городулин.— Я ведь все эти сопли не перевариваю...

— Дело у меня к вам,— сказал Колесников.

Он помолчал. В это время из-за стены донесся высокий обиженный женский голос:

— Опять не выучили! Это ж интереснейшая тема — иррациональные числа!..

В ответ забубнил мужской голос, но его снова перебили:

— Меня к вам прикрепил Алексей Иваныч. Я, может, сейчас смотрела бы телевизор... Завтра же попросу, чтобы он меня открепил!

Городулин постучал кулаком в стену и крикнул:

— Агапов, не филонь, я слышу!..

Голоса стихли,— очевидно, перешли на шепот.

— Учатся? — тоже почему-то шепотом спросил Колесников.

— Ага.

— Не довелось нам с вами,— вздохнул Колесников.

— Ну, ты меня все-таки с собой не равняй! — сказал Городулин.— Я тебя ловил, у меня времени не было. А ты-то вполне мог...

— Мог,— сказал Колесников.

— Ну, а дело какое у тебя? — нетерпеливо спросил Городулин.— Что-то ты сегодня все с подходом.

— Я написал завещание,— бухнул Колесников.— По всей форме. Третьего дня был у нотариуса, оплатил гербовый сбор... Дайте досказать, Алексей Иваныч!

Он волновался, и только сейчас Городулин увидел, как он плох: серое, словно немывтое, лицо и бледные, бесформенные губы.

«Ах ты господи,— подумал Городулин.— Как же его скрутило, беднягу!..»

— Биография моей жизни вам известна. Родичей у меня нету. Детей я не наплодил,— говорил Колесников.— Придут чужие люди, составят акт, а это мне неинтересно. И написал я завещание на вас...

— А ну тебя к лешему. Ей-богу, нет у меня времени, Колесников, слушать разную муру!

— Имейте уважение. Если вы, Алексей Иваныч, думаете, что деньги у меня божьи, с тех годов...

— Да ничего я не думаю. Слушать не хочу...

— Заработал я их своим хребтом. Откладывали с покойницей по сто целковых в получку. Хоть капитал и невелик — десять тысяч,— однако помирать, не зная, в чьи руки попадет, боязно...

— Не волнуйся, государство распорядится,— поднялся Городулин.— Мне домой пора.

— Государство — вещь большая, мне бы чего-нибудь поменьше.— Колесников поднялся вслед за ним.— Если на всех делить, это и по копейке на нос не выйдет...

Они вышли в коридор. У Городулина стучало в висках. Закрывая кабинет, он пошатнулся от головокружения. В полутьме сводчатого коридора Колесников не заметил этого.

— Так как, Алексей Иваныч, возьмете?

— Отвяжись,— поморщился Городулин, привалившись плечом к стене.— Мне самому впору...— Он не договорил.— Проводи-ка меня лучше домой...

Можно было, отдавая ключ дежурному, вызвать машину, но хотелось глотнуть свежего воздуха.

На улице полегчало. На всякий случай взяв Колесникова под руку и стараясь дышать равномерно, поглубже, Городулин ворчал:

— В карты проигрывал мешками — не боялся...

— А я не свой, Алексей Иваныч, проигрывал.

— Уж если так приспичило, завтра пойдя к нотариусу, перепиши на детскую колонию в Пушкине... Ей-богу, — обрадовался вдруг Городулин, — хорошая мысль! А?..

Они медленно шли по Невскому: мимо яслей, где тридцать лет назад был бильярдный зал, в котором при задержании Ванька Чугун ранил Городулина; мимо сберегательной кассы, где помещался когда-то ресторан «Ша нуар», — сюда любил ходить с проститутками Колесников; мимо Гостиного двора, где в маленьких частных лавчонках торговали живые миллионеры, — Городулин забирал у них из-под половиц, из печных вьюшек, из набалдашников металлических кроватей столбики золотых десятков; мимо «Ювелирторга», в котором Колесников сбывал драгоценности из Углича; мимо Екатерининского садика, где Городулин в перестрелке убил кулака-дезертира; мимо Московского вокзала, куда приехал в последний раз из колонии Колесников и с тех пор перестал воровать; они свернули на Лиговку, — здесь в пятой подворотне в день бомбежки Бадаевских складов Городулин поймал двух ракетчиков. Миновали угол Разъезжей, — сюда, в этот двор, завтра должен приехать к своей сожительнице парень, взломавший склад на Всеволожской, его задержит по приказанию Городулина молодой уполномоченный Агапов, который сегодня, чертов лентяй, не выучил математику...

Когда они дошли до городулинского дома, Алексею Иванычу снова стало плохо.

5

Он пролежал дней десять. Антонина Гавриловна делала все, что предписывали врачи, и еще кое-что от себя. Последние годы гипертония мучила Городулина уже не раз,

Звонил начальник управления, справлялся, как здоровье Алексея Иваныча, предлагал путевку в санаторий. Разговаривала с ним Антонина Гавриловна громким оживленным голосом, и это Городулину не понравилось.

— Обрадовалась,— проворчал он.— Любишь чуткость... Невелико дело — звонок.

— Ладно, ладно, не капризничай. Тебе все плохо; не позвонил — худо, позвонил — тоже худо. Не знаешь уж, к чему и прицепиться.

— В санаторий не поеду,— сказал Городулин.

— Это почему?

— А чтоб не привыкали, что я болен.

Из Челябинска вернулся Белкин. Когда он пришел проведать Городулина, Антонина Гавриловна успела предупредить его в прихожей, что врачи категорически запретили Алексею Иванычу разговаривать о делах.

Белкин загорел на Южном Урале, приехал счастливый: Гусько Владимира удалось схватить, его везли в Ленинград по этапу. Подробности распирали Белкина, но в комнате сидела Антонина Гавриловна и бдительно штопала носки. Да и лицо Городулина было непривычно небритое, запухшее, нездоровое. От всего этого Белкин стал разговаривать каким-то жалким, больничным голосом.

— Ты что, простужен? — недовольно спросил Городулин.

Белкин откашлялся и уже более громко соврал, что его прохватило в вагоне. Они пили чай тут же у постели Алексея Иваныча, на тумбочке. Антонина Гавриловна спросила, как в Челябинске с продуктами.

— Исключительно все есть,— сказал Белкин, у которого не было времени, да и нужды бегать по магазинам: он питался в столовках.

— А промтовары?

— Навалом. Я даже купил себе два носовых платка; забыл дома положить в чемодан...

— Что нашел во время шмона? — спросил вдруг Городулин, мрачно до той поры молчавший.

У Белкина сделалось растерянное лицо, он выпучил глаза и покосился в сторону Антонины Гавриловны.

— Сейчас же прекрати, Алексей! — оборвала она мужа. — Никаких шмонов. Я знаю, что это — обыск.

— Ты у кого служишь, у нее или у меня? — спросил Белкина Городулин.

Поговорить так и не удалось. Чтобы не выглядеть совсем уж глупо, Белкин стал длинно рассказывать содержание кинофильма, который он видел в Челябинске. Не сказал он только, что пошел в кино потому, что следил за одной санитаркой, у нее ночевал Гусько. Картину он смотрел урывками, и теперь, в пересказе, Антонина Гавриловна никак не могла понять, кто кого бросил и от кого был ребенок.

— Какой-то он у тебя бестолковый, — сказала она мужу, когда Белкин ушел.

— Да он и картины-то не видел, — досадливо отмахнулся Городулин. — Пас, наверное, кого-нибудь в кино.

На другой день в управлении к Белкину подошел Лытков и спросил, как самочувствие подполковника.

— Замечательно! — ответил Белкин. — Уже поправился.

Лытков покачал головой:

— Такими вещами, как гипертония, в его возрасте не шутят.

С назначением Феди Лыткова, хотя его и не отпустили на курорт, дело затягивалось. Кадровики совсем уж было подобрали ему место, но начальник управления все еще не подписывал приказа. Пока Лытков числился за городулинским отделением, поскольку оттуда он и уехал в Москву на учебу.

В отдел кадров он теперь зачастил. Отношения у него здесь сложились хорошие. Его даже доверительно посвящали в некоторые подробности кадровой кухни.

Высокий, подтянутый блондин, с очками без оправы на тонком нервном носу, заместитель начальника отдела кадров, походил на молодого профессора; в наружности его, в лице, был только один недостаток: когда он разговаривал, в углах его рта закипала пена, и на это было неприятно смотреть. Он всегда приветливо встречал Лыткова и разводил руками:

— Не подписал еще. Лежит в папке у него на столе. Может, ты сам попытаешься пройти к нему?

— Да нет, я погожу,— обиженно говорил Федя.— Зачем я буду подменять тебя...

— Картина по нашему управлению вообще довольно странная,— улыбался блондин-кадровик.— Я тут прикинул процент работников с высшим образованием; знаешь, на каком мы месте по РСФСР?..— Он сделал паузу, как перед выстрелом.— На третьем!.. Ну не смешно ли?

— Смешного мало,— сухо сказал Лытков.— Есть указание министра.

— В том-то и дело! Я тебе больше скажу: твое назначение повысило бы наш процент на одну десятую, а если б еще сменить руководящий состав в Луге и в Подпорожье, то мы сразу выходим на второе место..

— Я уж говорил Агапову,— сказал Лытков,— получается, что нет никакого расчета учиться при таком равнодушном отношении.

— Ну это ты зря! — пожурил его кадровик, вытирая цветным платком пузырьки пены в углах рта.— Надо уметь отличать временные явления от закономерных.

— Да по мне, назначайте меня хоть постовым... Я ведь не о себе. Разговор идет о политике партии в расстановке кадров.

Так беседовали они, умело пугая друг друга знакомыми сочетаниями слов, и всякий раз расставались с тем неизменным дружелюбием, при котором каждый из них думал петом: «А не сделает ли он мне какой-нибудь

пакости?» Думали они так вполне мирно и дружелюбно, ибо, по их понятиям, эти опасения никак не нарушали законов товарищества.

А пока на письменном столе начальника управления, в папке «К подпíси», продолжал лежать проект приказа о новом назначении Лыткова. Раза два блондин-кадровик пытался мимоходом напомнить начальнику, что приказ следовало бы утвердить и подписать, но начальник рассеянно кивал, говорил: «Да-да» — и бумажки не подписывал. Когда же блондин напомнил в третий раз, начальник расстегнул верхний крючок на вороте своего генеральского кителя и спросил:

— Вы полагаете, что до выздоровления подполковника Городулина имеет смысл назначить на его место майора Лыткова?

Кадровик тактично пояснил:

— Я имел в виду не только на время болезни подполковника, товарищ комиссар. Я имел в виду вообще...

— А Городулина куда?

— С Городулиным все остается в порядке: он становится заместителем Лыткова. На будущей пенсии это совершенно не отразится.

— А на самолюбии? — спросил комиссар.

Кадровик тонко улыбнулся:

— С этим, к сожалению, мы с вами не всегда имеем возможность считаться. Да и подполковник — старый работник наших органов. Я уверен, он поймет целесообразность... Лытков его ученик, начинал под его руководством. Преемственность поколений, товарищ комиссар; в наших социальных условиях вещь закономерная...

У кадровика, оттого что он торопился, говорил быстро и убедительно, напузырилось много пены, но он стеснялся вынуть из кармана носовой платок и обтереться.

А комиссару было неловко смотреть в его лицо. Он отвернулся, подумав: «Зубы у него режутся, что ли?»

— И положение наше резко улучшилось бы, ибо мы

выйдем тогда на второе место по республике,— услышал он голос кадровика.

— А вы считаете удобным,— спросил комиссар,— подписывать этот приказ в то время, когда Городулин болен?

— Он уже поправляется,— радостно сообщил блондин.— И вероятно, тотчас же отбудет в санаторий. А наша кадровая практика показывает, что лучше всего делать всяческие передвижения по службе в то время, когда человек отдыхает.

Он снова, теперь уже доверительно, улыбнулся:

— Шуму меньше, товарищ комиссар.

— Шуму меньше,— сказал комиссар, подымаясь,— подлости больше.

Он положил приказ в папку.

— Поговорю с ним, когда он вернется. А до этого не подпишу.

В санаторий Городулин не поехал. Выздоровев, он тотчас же взялся за усть-нарвское дело.

К этому времени папка Гусько весила килограмма три. Сам Гусько сидел в тюрьме. На всех допросах виновность свою отрицал. В камере вел себя спокойно и уверенно. Каждое утро он делал зарядку: вытянув левую ногу параллельно полу, восемнадцать раз присаживался на правую, затем наоборот. Белкин попробовал проделать это, у него получилось всего семь раз.

В первый же день перевода в тюрьму Гусько крикнул в окошко камеры в часы прогулки:

— Комар, беру все на себя!..

Очевидно, он предполагал, что арестован кто-нибудь из его сообщников, и хотел предупредить его, как вести себя на допросах. Было ли у плотника Орлова, тоже сидевшего в этой тюрьме, прозвище Комар, установить пока не удалось.

Прежде всего Городулин внимательно прочитал протоколы допросов. Многочисленных свидетелей допраши-

вали и челябинские работники розыска, и усть-нарвские. Находились тут и совсем пустые показания, по-видимому не имеющие никакого значения.

В Челябинске Гусько зашел к своей сестре всего один раз. Сестра утверждала, что о преступлениях брата не имела понятия. Писал он ей редко, одно письмо в два-три года, и из различных городов Советского Союза. В этот приезд сказал, что завербовался на какие-то торфоразработки и ему для этого нужна справка из челябинского загса. Одет был в ватник, тельняшку и хлопчатобумажные штаны темно-серого цвета. В руках был старый коричневый чемодан, размера примерно сантиметров сорок на двадцать. На ногах, кажется, резиновые сапоги. Кепки не было. Видела Гусько и соседка по квартире, старуха пенсионерка; он произвел на нее хорошее впечатление, вежливый такой, открыл перед ней дверь, когда она несла вязанку дров. Внешность у него упитанная, роста высокого, одет в пиджак, полосатую рубаху и сатиновые штаны темно-стального цвета. Чемодана она никакого не видела. На ногах были или полуботинки желтые, или сапоги яловые с калошами, в точности она не помнит. А головной убор определенно был. Скорее всего, серая шляпа или кепка синего цвета. Дальше Белкин допрашивать ее не стал, хотя пенсионерка очень этого хотела.

В вечер прихода к сестре Гусько познакомился у нее с санитаркой Клавой Сериковой, сослуживицей сестры по больнице. Втроем они пили чай, а Гусько потом сбегал за маленькой белого для себя и пол-литром красного для девушек. Принес еще полтораста граммов печенья «Мария» и двести граммов конфет «Счастливое детство». Посидели недолго, часа два. Потом Гусько взял чемодан и вышел вместе с санитаркой Клавой. Сестре сказал, что, может, еще на днях зайдет, а может, уедет так.

Санитарку Гусько проводил до дому, постоял с ней

у ограды. Санитарка с ним попрощалась и спросила, куда же он на ночь глядя пойдет. Он ответил: «Добрые люди найдутся». Она сказала: «А может, добрые люди около вас». Он ее обнял, но она вырвалась и сказала, что если он этих глупостей не будет себе позволять, то она пустит его переночевать на пол. Они пришли к ней в комнату, она постелила ему на полу, а потом они легли в ее кровать. В половине шестого утра она ушла на дежурство. Гусько еще спал. В обеденный перерыв санитарка принесла из столовой щи и биточки, накормила Гусько и поела сама. Сестре его она ничего не стала говорить, чтобы та не подумала, что Клава хочет выйги за него замуж.

Так прожили они с неделю. Клава отдала ему второй ключ от комнаты. Уходил он из дому редко, и всегда вечером. Клава его ждала; один только раз со скуки пошла в кино, был культпоход для младшего персонала. О себе он ей ничего такого не рассказывал; на спине у него есть татуировка, написано там: «Рожден без счастья в жизни». Клава прочитала и спросила: «Это правда?» Он ответил: «Правда».

— А вам не приходило в голову, что он преступник? — спросил у нее Белкин.

— Приходило. Только я жалела его.

— Как же можно жалеть преступника? — спросил Белкин.

— Если любишь, обязательно жалеешь, — ответила санитарка.

— Но ведь вы же теперь будете нести ответственность.

— Ну и пусть. Я за ним куда угодно поеду.

— Куда он поедет, вам туда, слава богу, не добратся, — сказал Белкин.

Клава заплакала.

Взяли Гусько у нее на квартире. Пришли вчетвером: Белкин и трое работников челябинского розыска.

В шестом часу утра они подошли к деревянному одноэтажному дому и постучали в двери. Двое стали у окон со двора, занавески на окнах были задернуты.

Гусько лежал в постели. Услышав стук, он сказал Клаве:

— Не отпирай.

Она накинула крючок и на внутреннюю дверь, ведущую из комнаты в сени.

— Закрой ставни,— сказал Гусько, продолжая курить в постели.

Клава захлопнула ставни, они закрывались изнутри.

Белкин рванул дверь с улицы, скоба держалась не на шурупах, а на гвоздях и отлетела. Войдя в сени, Белкин уже не стал стучаться, а прямо налег плечом на вторую дверь, ему помог младший лейтенант, крючок вырвали.

— А ну вставай, Гусько. Ты арестован,— сказал Белкин.

Босая Клава, в нижней юбке, накинув на плечи рваную кофточку, обхватила руками свою голую шею и притулилась с испуга спиной к углу. Гусько неторопливо поднялся, взял со стула темно-серые хлопчатобумажные штаны, натянул их поверх кальсон. Белкин следил за его руками: в карманы Гусько не полез. Все так же медленно он надел резиновые сапоги. В штанах не оказалось ремня.

— Клава,— спросил Гусько,— ремня не видела?

Она не ответила, только покачала головой.

Он откинул одеяло, поискал, затем сунул руку под матрац и, выхватив оттуда топор, швырнул его в Белкина. Белкин успел отстраниться, топор со свистом пролетел мимо его головы и вонзился в дверной наличник. Гусько скрутили.

— Шляпа! — сказал Городулин, выслушав Белкина. — Ты же говорил, что следил за его руками?

— Так я думал, он ремень ищет, у него же портки валялись.

— И наплевать. Скрутить его надо было прямо в подштанниках. Где у тебя пистолет был?

— В руке.

— Почему не стрелял, когда он схватил топор?

— Народу в комнате было много, Алексей Иваныч...

— Много,— проворчал Городулин.— Вот он угодил бы тебе по башке, сразу стало бы меньше народу...

Ознакомившись во всех этих подробностях с делом, Городулин взял с собой Белкина и поехал в тюрьму.

По своей должности Алексей Иваныч в тюрьмах бывал часто. Но тем не менее всякий раз, проходя сквозь толстую решетку в подворотне, а затем снова несколько раз предьявляя пропуск у таких же толстых высоких решеток уже в коридорах самого тюремного корпуса и наконец добираясь до того этажа, где помещались следственные камеры, о чем бы он ни думал и чем бы ни был озабочен, всегда на дне его сознания мерцала крохотная мысль: «Как хорошо, что я не здесь!»

В следственной камере стоял привинченный к полу стол, против него, в углу,— привинченный к полу табурет и два стула, тоже привинченные к полу; они были поближе к дверям. Стены и полы всюду были вылизаны до лоска, окно с решетками, довольно большое, в две шибки, пропускало много света.

Женщина-конвойная, в военной гимнастерке, темной юбке и белых баретках, ввела Гусько, когда Городулин уже сидел за столом, а Белкин — подле дверей. Оба были в гражданском.

Конвойная подвела Гусько к табурету и вышла.

Покуда арестованный шел от двери к углу — это было шагов пять-шесть,— Городулин быстрым, безразличным, но очень точным взглядом оценил его. Высокого роста, крепкий, голова стриженная, правильной круглой формы, кожа на лице чистая, рот небольшой и тоже

приятной формы, маленькие упругие уши, глаза серые, блестящие, с длинными ресницами, чуть-чуть курносоватый нос, — вот каков был Гусько.

Опустившись на табурет, он застенчиво-блудливо улыбнулся, положил ногу на ногу, но не нахально, а скромно, как человек, приготовившийся к длинной беседе, и, обхватив своими лапами верхнее колено, переплел на нем длинные пальцы.

— Гусько Владимир Карпович? — спросил Городулин, но не его, а Белкина.

Белкин кивнул, а Гусько сказал:

— Он самый.

Все еще не глядя на него, Городулин снова мерным, равнодушным голосом обратился к оперуполномоченному:

— Имел срок десять лет за бандитизм в одна тысяча девятьсот сорок шестом году, двадцать пять лет за убийство с целью грабежа в девятьсот пятьдесят третьем году, восемь лет за внутриллагерный разбой в девятьсот пятьдесят седьмом году... Прикиньте, пожалуйста, товарищ оперуполномоченный, сколько это получается всего?

— Сорок три года, — ответил Белкин.

— А от роду ему?

— Двадцать девять лет, — сказал Белкин.

На столе перед Городулиным не лежало никаких бумаг. Краем глаза он видел, что во время его разговора с Белкиным Гусько сбивал щелчками с колена какие-то невидимые соринки.

«Нервничает, сволочь», — подумал Городулин.

— Вам предъявляется обвинение, — повернулся к нему Городулин, — по статьям пятьдесят девятой, пункт четырнадцатый, и сто тридцать шестой. Содержание статей вам известно?

— Рассказывали, — кивнул Гусько в сторону Белкина.

— Почему же вы не подписываете предъявленного вам обвинения?

— А зачем меня на девять грамм тянут? — усмехнулся Гусько.

— Тянут на то, что заслужили! — резко сказал Городулин. — А девять там граммов в пуле или восемь, я не взвешивал, не в аптеке.

— Твое счастье, — сказал Белкин, — что у постового заело патрон. Имел бы положенный вес как миленький!..

— Что мне судьбой отпущено, то я беру, — сказал Гусько, подтягивая голенища сапог. — А лишнего мне не клейте.

— Из колонии бежал? — спросил Городулин.

— Ну, предположим.

— Три буфета в Усть-Нарве ограбил?

— Это вопрос. Доказать надо.

— Милиционера ножом пырнул?

— А если у меня было безвыходное положение? — сказал Гусько. — Ясно, посчитал нужным ударить. Я логонечко полоснул, по шее, для острастки.

— И в спину — для острастки?

Гусько улыбнулся широко и беззаботно.

— Это вопрос. Надо доказать.

— Что ж тут доказывать, — сдерживаясь, спросил Городулин, — если ты нож по рукоятку оставил в ране?

— Не я, — ответил Гусько. — Он сам. Мы когда упали, боровшись, он и напоролся на мой нож.

— А топор в Челябинске тоже я сам швырнул? — спросил Белкин.

— Насчет топора разговору нет. Это дело чистое, я на суде объясню. Двери ломаете, когда человек отдыхает, конечно, он не соображает спросонку...

Теперь глаза у Гусько были уже совершенно наглые.

Эту породу преступников Городулин знал хорошо. Они врут бессмысленно, отлично понимая, что ложь их

очевидна, и рассчитывая только на одно, как это ни странно, — на закон. По закону положено с совершенной точностью опровергать всю их брехню, и если этот отпетый мерзавец утверждает, что милиционер сам напоролся на нож, то, несмотря на всю нелепость утверждения, надо найти научные или какие угодно доказательства, что именно он, Гусько, бандит с юности, покалечил хорошего, честного Ключева. Иначе будут цепляться прокуратура, адвокаты — все, кому не лень, лишь бы хоть как-нибудь облегчить участь преступника.

Бывало, допрашивая такого типа, Городулин чувствовал настолько сильный прилив отвращения и злобы и одновременно такую беспомощность перед законом, что быстро вставал под любым предлогом и выходил покурить в коридор. И сейчас, глядя в нахальное, бесстыжее лицо убийцы и понимая, что никакими силами его не довести даже до уровня животного, Алексей Иванович только привычным усилием разума и воли подавил в себе желание сунуть руку в карман за пистолетом, которого все равно там и не было, ибо входить в тюрьму с оружием не полаталось. Он никогда не позволил бы себе расправиться без суда с преступником, но мысль о том, что расправиться с ним нужно сейчас, немедленно, сию секунду, у Городулина возникала. Именно поэтому Алексей Иванович терпеть не мог адвокатов, хотя понимал, что они необходимы.

Городулин обернулся к Белкину и лениво сказал:

— Кончаем, Белкин. Чего, в самом деле, чикаться?.. Комар сознался, распорядитесь привести его сюда.

Оперуполномоченный тотчас вышел в коридор. Он был в некотором смятении. Ни Городулин, ни он сам понятия не имели о Комаре. А уж о том, что он сознался, и говорить не приходилось. Очевидно, Алексей Иванович решил рискнуть. Белкин успел заметить, как на одно мгновение застыл на своем табурете Гусько, когда Городулин велел привести Комара.

Через десять минут в камеру ввели плотника Орлова. Это единственное, что мог придумать Белкин.

Городулин стоял спиной к табурету, заслоняя его, и лицом к дверям. Как только Орлов показался на пороге, Городулин презрительно, через плечо, сказал Гусько:

— Ну вот твой кореш. Целуйся с ним. Оба сторели!

И, быстро отстранившись, пристально посмотрел на обоих, матерно выругался и, не давая опомниться, ткнув в сторону Гусько пальцем, резко спросил Орлова:

— С ним грабил?

Орлов пошевелил губами и сипло ответил:

— С ним.

— Прокашляйся! — приказал Городулин.

Орлов покорно откашлялся.

— Сука! — просвистел с табурета Гусько.

— А ну не выражаться! — оборвал его Городулин. — Садитесь, Белкин, за стол, пишите...

В этот день выяснить все до конца еще не удалось, но клин между сообщниками был вбит крепко и воля Орлова окончательно подорвана. Гусько же времяами продолжал тупо цепляться за каждую травинку, даже потребовал бумагу для жалобы, часто просился в отхожее место, однако с этого дня утреннюю зарядку делать перестал и в камере поговаривал, что, кажется, дырка ему обеспечена.

6

Каждый раз, выходя из ворот тюрьмы, Алексей Иванович чувствовал безмерную усталость. Допросы изматывали Городулина больше, чем бандита.

Жалости никакой Алексей Иванович к нему не ощущал, да и злобы, пожалуй, тоже, а скорее всего изумление, что вот сидит на табурете человек, у которого все на месте — руки, ноги, крепко сколоченное тело, объясняется он теми же звуками, что и все остальные люди,

и тем не менее это не человек, и нет у Городулина никакой возможности изменить его.

В тот день, когда дело наконец было окончательно подготовлено для передачи в прокуратуру, Алексей Иваныч вышел из тюрьмы часу в седьмом. С наслаждением втянул он в себя сырой невский воздух. Внизу, у самой пасмурной воды, стояло несколько рыболовов с донками. Задержавшись подле них, Городулин с завистью подумал:

«Эх, рыбаки, рыбаки!.. И ничего-то вы не знаете!..»

Вслух он спросил:

— На выползка?

Парень, у которого от ветра подтекало из носа, облизнул верхнюю губу и ответил:

— На макароны, дедушка.

Городулин пошел дальше. Зажигались огни в окнах, вспыхнули разом уличные фонари. Народу на улице стало много, люди шли с работы. И чем больше их попадалось навстречу, тем проще становилось на душе. В битком набитом трамвае, стиснутый со всех сторон, Алексей Иваныч только поворачивал голову в разные стороны, всматриваясь в лица людей и слушая обрывки разговоров. Ему вдруг горестно захотелось тоже возвращаться домой с такой работы, где не надо общаться с утра до ночи с подонками, ловить их, матерно ругаться, сажать в тюрьму.

«А ведь я ничего другого не умею», — подумал Городулин.

Пожалуй, ему одному сейчас в этом переполненном громыхающем вагоне было приятно, что так много разных людей рядом: пусть шумно, пусть тесно, лишь бы честно. И когда до него донеслось, как молодая женщина, в закапанной мелом косынке, обратилась к кому-то, кого Городулин не видел: «Сейчас, первым делом, горячего борща!..» — Алексей Иваныч громко и серьезно сказал:

— Приятного аппетита.

В трамвае засмеялись, а Городулин даже не улыбнулся. Ему действительно хотелось, чтобы у всех у них был всегда на обед хороший горячий борщ.

По дороге домой он зашел в управление позвонить на Всеволожскую. Отдавая Городулину ключ от кабинета, дежурный сказал:

— Вас, товарищ подполковник, разыскивал начальник управления.

Пока Городулин дозванивался и разговаривал со Всеволожской, из соседней комнаты привычно проникали два голоса: Агапова и секретарши Вали. Переговорив по телефону, Городулин постучал кулаком в стену.

— Агапов, зайди ко мне.

Агапов вошел вместе с Валей. Валя села в сторонке на диван.

— Ты на опознании сегодня был? — спросил Городулин.

— Был, Алексей Иванович. Все в порядке.

— Сделал по правилам, как положено?

Молоденький румяный Агапов радостно закивал:

— Чуть не завалил, Алексей Иванович!.. Преступник, как вы знаете, рыжий, значит, положено выставить перед свидетельницей пять рыжаков, чтоб она выбирала. А местечко-то маленькое, где мне столько рыжаков достать? Хорошо, со мной сержант был в масть. Одел я его в гражданское, посадил на стул рядом с преступником, а еще троих собирали по всему поселку.. Ох я и волновался, Алексей Иванович! Старуха смотрит на нашего сержанта, а я думаю: ну как она его сейчас опознает!..

— Когда у тебя экзамены? — перебил его Городулин, тоже невольно улыбаясь.

— Через восемь дней.

— Как он? — обернулся Городулин к Вале и увидел, что Агапов подает ей отчаянные знаки.

— Н-ничего,— хмуро протянула она; глаза у нее были красные, вроде заплаканные.

Городулин потемнел:

— Ты зачем ее обижаешь?

— Я не обижаю, товарищ подполковник,— удивленно вытянулся Агапов; было видно, что он не врет.

— Имей в виду,— сказал Городулин,— ты там этих чисел не усвоил...

— Иррациональных,— быстро подсказал Агапов.

— Вот-вот. А без них в нашем деле как без рук. Понял? Иди. А вы останьтесь, пожалуйста, Валя.

Агапов вышел строевым шагом. Он был еще совсем молод.

Городулин пересел на диван.

— Ну, быстренько, Валя. Что стряслось? Кто обидел?..

Она шмыгнула носом и промолчала.

— Я же устал, Валюша. Пожалейте старика. Мне домой пора.

— Учите их на свою голову! — со злостью вдруг вскинулась Валя.

— Кого «их»? — спросил Городулин.

— Всех... Лыткова, Агапова... Всех...

— Не понимаю.

— А то, что Лыткова назначают к нам в отдел. Вот что! — выпалила Валя, снова со злостью, словно Городулин был в этом виноват.

— Ну, назначают,— спокойно сказал Городулин.— Он и так за нашим отделом, Подумаешь, делов палата...

— Вы, честное слово, Алексей Иванович, как маленький! — Она повернула к нему зареванное лицо.— Его же на ваше место назначают. На ваше, понимаете?..

— А меня куда? — наивно спросил Городулин.

— К нему заместителем.

Он вынул папиросу, закурил, потом поплевал на нее,

притушил и аккуратно положил в пепельницу, Валя с испугом смотрела на него, она уже жалела, что проболталась.

— Вот что, Валя,— сказал Городулин, подымаясь. — Я вас убедительно прошу никогда мне больше никаких служебных сплетен не пересказывать.

— Простите, Алексей Иванович... Я думала...

— Ладно, ладно,— улыбнулся Городулин.— Я ведь на вас не сержусь. Идите.

Она вышла.

Городулин открыл сейф, что-то ему нужно было там, но он забыл; постоял, глядя на папки, погладил их, пытаясь все-таки вспомнить; вынул штуки три необычно тяжелые самопишущие ручки, развинтил одну из них — это был узенький финский нож, сделанный хулиганом-ремесленником.

«Так вот, значит, зачем меня разыскивал начальник», — подумал Городулин.

Идти домой не захотелось. Он вспомнил, что ему нужно было в сейфе. Надо переделать статейку для комсомольской газеты. Чертовы охотники в области оставляют дома заряженные ружья без присмотра, а их дети палят потом по ком попало. Пять смертельных случаев и штук пятнадцать ранений. Он написал по этому поводу статью; в редакции очень хвалили, но попросили убрать цифры.

— Понимаете, товарищ Городулин, уж слишком это мрачно выглядит. Вы возьмите один факт полегче и оттолкнитесь от его.

Он перечитал сейчас, не присаживаясь, свою заметку. Нет, не станет переделывать. Ну их к лешему... Написано коряво, а факты правильные.

Заперев сейф, Городулин хотел было позвонить начальнику — тот иногда задерживался допоздна в управлении, — но передумал. «Обойдется, — решил Городулин, — не он мне, я ему нужен».

— Вызвав машину, поехал домой. По дороге казалось, что шофер уже тоже все знает.

Антонине Гавриловне Городулин ничего рассказывать не стал. Перед сном они, как всегда, по-стариковски погуляли в тихую сторону — к Александро-Невской лавре. Когда проходили мимо лавры; к воротам подъехал ЗИМ, из него вышел священник.

— Поп на автомобиле — зрелище антирелигиозное, — сказал Городулин.

— Да почему? — улыбнулась Антонина Гавриловна.

— Илья-пророк ездит на колеснице, а у этого хлюста — ЗИМ...

Среди ночи Алексею Иванычу показалось, что жена не спит. Он тихо сказал:

— Тоня, а Тоня... Может, мне на пенсию выйти?

Но Антонина Гавриловна, очевидно, спала, она только спросонок пробормотала:

— Боржом на тумбочке...

На другой день с утра часов до трех Городулин занимался несовершеннолетними. Этим отделением ведал капитан Зундич. Городулин ценил его больше других работников, хотя многие в управлении и называли капитана «талмудистом».

Зундич окончил пединститут, служил во время войны в контрразведке, оттуда пришел в уголовный розыск. Очень некрасивый, в очках, с большим, словно заспанным ртом и длинным выпуклым подбородком, с удивительно умными, добрыми и грустными глазами, Зундич не отличался какими-нибудь особенными качествами сыщика: раскрываемость преступлений по его отделению была невысока. Но никто не умел так предупреждать преступления, заниматься так называемой профилактикой, как капитан Зундич.

Работа эта, к сожалению, не броская, не очевидная, да в нее и не очень верят. А Зундич верил. Он редко сидел на Мойке и вечно шнырял по школам, ремеслен-

ным училищам и заводским молодежным общежитиям. У него постоянно возникали какие-то идеи, которыми он одолевал то обком комсомола, то Управление трудовых резервов и всегда прежде всего — Городулина.

Нынче Зундич нашел под Гатчиной старого коммуниста, пенсионера-учителя, с которым они вместе придумали организовать для неработающей молодежи комсомольский трудовой лагерь. Соседний председатель колхоза отнесся к этому скептически, но согласился выделить под общежитие сарай, бачок для воды и кое-какой инвентарь. Пока это было все. Если не считать, что Зундич уже раз пять собирал в Гатчине довольно пеструю молодежь и сумел убедить ее записываться в лагерь, которого еще не существовало.

Сейчас он принес Городулину подробный план работ лагеря и даже рацион питания.

— Надо достать кровати,— сказал Зундич, не дожидаясь, пока Городулин дочитает план до конца.

— А где я тебе их возьму?

— Я считаю, Алексей Иванович, что лучше сейчас позаботиться о кроватях, чем потом о тюремных койках.

Городулин ничего не ответил и продолжал читать дальше.

— Персонал — три человека,— сказал Зундич.— Начальник лагеря, воспитатель и повар. Райком партии уже утвердил начальника и воспитателя. Повара я подыскиваю. Есть пять кандидатур, но все пьют, как лошади... Тумбочки дала гатчинская промартель...

— Нажимал? — спросил Городулин.

— Немножко,— тактично сказал Зундич.— Председателя артели вызывал первый секретарь...

— А что это у тебя за бумажка с граммофонной фабрики?

— Это шефы лагеря. Они дали постельное белье и патефон с набором пластинок.

— Сколько же у тебя всего шефов?

— Я еще окончательно не подсчитывал,— уклонился Зундич.

— А ты не думаешь, Зундич, что вся эта затея — не совсем наше милицейское дело?

— Не думаю. И вы тоже не думаете..

Дочитав до конца, Городулин попросил оставить папку. В следующий раз они поедут в Гатчину вдвоем. Он хочет познакомиться с пенсионером. А какао из рациона надо вымарать.

— Так это ж только по воскресеньям,— сказал Зундич.

— Пусть заслужат. Я в детстве какао не пил.

— Видите ли, Алексей Иваныч, ваше детство протекало в другую эпоху.

— А твое — в эту. Ты—пил?

— У нас в детдоме по воскресеньям давали морковный чай с постным сахаром. Это довольно вкусно. Если выпить сначала чай, а потом отдельно медленно съесть постный сахар.

В кабинет заглянул Лытков. С Городулиным они уже виделись, а Зундичу он шутливо помахал рукой:

— Привет талмудисту!

— Привет карьеристу,— серьезно ответил Зундич.

— Ты с ним так не шути,— хмуро сказал Городулин.

Капитан и подполковник посмотрели друг на друга, оба хотели что-то сказать, но порядочность не позволила им этого.

После ухода Зундича Городулин повозился еще с полчаса, все время посматривая на телефон. Потом решительно сел за стол, написал рапорт о переводе на пенсию, снял с вешалки фуражку, запер кабинет и отдал ключ Вале.

— Я у начальника,— сказал он, не глядя ей в глаза.

День был для посторонних неприемный, но перед дверью кабинета комиссара сидело человек пять. Механически, наметанным глазом Городулин определил, что

все они, вероятно, по поводу прописки. Глядя на их лица, даже здесь, в приемной, Городулин подумал, что не хстел бы он сейчас быть на месте комиссара. Паршивое это дело — отказывать людям.

— Отыскался след Тарасов! — насупившись, сказал комиссар, когда Городулин вошел в кабинет.— Прошу садиться, товарищ подполковник... Володя, много еще там народу? — спросил он своего адъютанта.

— Трое, Сергей Архипыч.

— Ты им объясни, пожалуйста, что я ведь сегодня не принимаю... Помягче как-нибудь, но твердо. А заявления у них возьми...

Адъютант вышел.

— И никого ко мне не пускай! — крикнул вслед комиссар.

«Приготовился проявлять чуткость,— с горечью подумал Городулин.— Даром мне ее не надо».

— Я полагаю,— сказал комиссар,— вам докладывали вчера, что я приказал зайти?

— Так точно. Допрос Гусько задержал меня в тюрьме до девятнадцати часов.

— И вы после этого не заезжали в управление?

«Знает или не знает? — быстро подумал Городулин.— А ну его... Еще врать».

— Заезжал, товарищ комиссар.

— Для вашего возраста и милицейского стажа выглядит это довольно странно. И затем сегодня утром вам надлежало тотчас же по приходе доложить мне. Я ведь приглашал вас не к теще на блины, а по служебному делу, товарищ подполковник...

Одутловатое, обычно бледное лицо Городулина покрылось розовыми пятнами. Ожесточение и обида, с которыми он явился к начальнику, сперва подернулись стыдом, а затем еще более растравились.

«Теперь-то в самый раз цепляться...»

— Виноват, товарищ комиссар,— сказал Городулин.

— Что с Гусько? — сухо спросил комиссар.

Городулин коротко долбил. Надо думать, прокуратура будет вести следствие не более недель двух, а затем — народный суд в Усть-Нарве.

— Вышку получит? — спросил комиссар.

— Вряд ли.

— Жаль. А может, по совокупности?

— Не думаю.

Комиссар был одного возраста с Городулиным. Начинали они когда-то в угрозыске вместе, затем пути их разошлись. Сергей Архипыч ушел сперва в комвуз, потом на рабфак и в институт, а Городулин продолжал трубить и трубить в милиции. В войну, начав старшим лейтенантом разведроты, Сергей Архипыч дослужился до генеральского чина и году в сорок шестом снова вернулся в милицию. Встретились они ни горячо ни холодно: уж очень много повидали отдельно друг от друга; рассказывать было долго, а не рассказывать — вроде глупо. Навязываться Городулин не стал. Генерал же сделал две-три необязательные попытки, как всегда в таких случаях чувствуя себя словно бы виноватым, но Городулин, именно потому, что попытки были необязательные, встретил их холодно. В общем, обоим им было от этого легче.

Относился Городулин к комиссару с уважением не за чины и ордена, а за то, что Сергей Архипыч терпеть не мог всякой лжи и показухи и умел в любой высокой инстанции не ронять своего достоинства. Упрямства, когда чувствовал себя правым, он был бешеного и даже иногда своевольничал, за что ему изрядно влетало.

Сейчас всего этого Городулин не помнил, а сидел сбычившись и односложно отвечал на вопросы комиссара. В кармане у себя Городулин все время чувствовал листок с рапортом о пенсии; незаметно дотрагиваясь до него пальцами, он словно набирался от этого решительности и сил. И еще хотелось ему на прощание сказать

что-нибудь горькое и язвительное, но пока ничего не придумывалось и не вставлялось в разговор.

Вспылив вначале и уж отойдя, комиссар заметил глупую скованность Городулина и начал было накаляться сызнова, но сдержался. Продолжал сухо расспрашивать о работе отдела.

К осени, как обычно, преступлений немножко поубавилось, но еще с прошлого года висело на отделе несколько нераскрытых дел, и Городулин считал, что сейчас ими можно заняться.

— Насчет всеволожского разбоя я уже зондировал, — сказал Городулин. — Там есть один вариант. Если его разработать, может красиво получиться...

— Ох, Алексей Иваныч! — вздохнул комиссар. — Ты мне скажи, кончатся когда-нибудь эти жулики?

Вопрос был риторический, и Городулин не посчитал нужным отвечать. Он переждал секунду, как докладчик, которого перебили неуместным восклицанием, и продолжал дальше. По лицу комиссара он видел, что тот слушает не очень внимательно.

— В общем, по всем этим старым делам понадобятся новые санкции прокурора, — закончил Городулин.

«Пусть Федька Лытков разматывает, — подумал он. — Жулье страсть как боится диплома!»

— Ведь что получается, Алексей Иваныч, — сказал комиссар. — Профессиональный преступный мир мы разгромили еще в тридцатых годах...

«Ты-то больно много громил», — исподлобья посмотрел на начальника Городулин.

— А нынче нас мучают главным образом любители. И справиться с ними не легче, а иногда даже сложнее...

— Образование мешает, — буркнул, усмехнувшись, Городулин.

— То есть? — не понял комиссар.

— Мы-то ведь тогда дипломов не имели... Ловили как бог на душу положит.

Скользнув взглядом по ожесточенному лицу Городулина, комиссар поморщился и продолжал уже более вяло, словно теряя интерес к собеседнику:

— Все дело, я думаю, в том, что часть молодежи нашей развращена пустословием. Не верит она ни в бога ни в черта... А претензий! Беседую я тут иногда с хулиганьем, так от их цинизма глаза на лоб лезут!..

Комиссар говорил то же, о чем думал порой Городулин, но сейчас общность их мыслей раздражала его. Глупея от обиды, словно она произвела в нем короткое замыкание, Городулин упрямо повторил:

— Мы без дипломов ловили...

— Это нисколько не остроумно, Алексей Иваныч! — резко оборвал его комиссар. — Когда в двадцатом году матрос, рабочий или солдат произносил: «Мы университетов не кончали!» — это была горькая фраза. И талдычить ее сейчас, в пятьдесят седьмом году, глупо и стыдно. — С грохотом он отодвинул кресло от стола, но не встал. — Нашел чем хвастать! И очень жаль, что нет диплома.

— А вы мне скажите, товарищ комиссар, где его можно купить?.. Я, что ли, виноват, что у меня его нету?.. Три раза рапорт подавал, — отпускали меня учиться?

В кабинет заглянул адъютант, но комиссар заорал:

— Занят!

— А теперь ходят вокруг меня, — со злостью продолжал Городулин, — и уговаривают: «Давай, Городулин. Посещай, Городулин. Изучай, Городулин...» Сидишь вечером дома как попка — башка не варит!..

Этого Алексей Иваныч говорить не собирался, но его занесло. Рванув из кармана листок с рапортом, Городулин положил его на стол.

Не беря листок в руки, комиссар прочитал его,

Помолчав, спросил:

— Сам придумал или кто-нибудь помогал?

— А что? — усмехнулся Городулин. — Тебе же проще..

Впервые за все время совместной службы он сказал комиссару «ты», но Сергей Архипыч и не заметил этого.

— Понятно, — сказал комиссар. — Уже настучал кто-то про Лыткова?

— При чем тут Лытков, — сварливо повел плечами Городулин. — Устал, и все. Имею полное право на законный отдых.

Комиссар посмотрел на него, отвел глаза и постучал костяшками своих кулаков друг о друга.

— Вот что, Алексей Иванович. Есть у нас три варианта. Можем разговаривать, как начальник с подчиненным. Как коммунист с коммунистом. Или как двое пожилых мужчин. А вот как две бабы — это уволь меня,

— Мне выбирать? — быстро спросил Городулин.

— Тебе.

— Ладно. Как коммунисты. Про Лыткова я знаю. Служить под его начальством не хбчу.

— Обиделся на Советскую власть?

— Ты мне, Сергей Архипыч, пятьдесят восьмую не шей. Для меня ни Федька Лытков, ни даже ты — это еще не Советская власть.

— Чего ж ты на ней-то вымещаешь?.. Ну, я — плохой начальник, ну, Лытков — дерьмо, а уходить собрался не от нас ведь?.. Что ж я, по-твоему, частной шарашкой тут управляю?!

В сердцах комиссар хватил кулаком по стеклу на столе, промахнулся и попал по каменному пресс-папье, Мотая от боли рукой в воздухе, он рассвирепел:

— Не нравится ему, видите ли, что приходят люди с высшим образованием! А ты за что воевал три раза? За что дуранду в блокаду жрал?..

Вошел на цыпочках адъютант и прикрыл вторую дверь.

— Там что, слышно? — спросил комиссар.

— Немножко.

Теперь уже понизив голос почти до шепота, он наклонился к Городулину через стол:

— Думаешь, я не понимаю, кто таков Лытков? Прекрасно я его вижу. Лежит у меня месяц в столе проект приказа. Не из-за того мариную, что ты уж больно хорош, а потому, что Лытков дрянь человек. А приведи мне завтра хорошего работника, да с дипломом,— не задумываясь посажу на твое место. И ты учить его будешь. Еще как будешь!.. Головой не мотай.

Городулин встал.

— Я пойду, товарищ комиссар. Рапорт оставляю вам.

— Не читал я его,— сказал комиссар.— И не видел. Заберите, подполковник.

Он протянул через стол листок, но Городулин не взял его. Тогда комиссар аккуратно сложил листок вчетверо и порвал в клочки. Затем он обошел стол, взял Городулина за локоть и, провожая до дверей, каким-то смущенным голосом произнес:

— И есть у меня, Алексей Иваныч, одна к тебе просьба, за ради Христа. Книжки ты, что ли, внимательней читай или слушай, как люди говорят. А то, понимаешь, неловко получается. И поправлять как-то неудобно, и молчать при этом совестно. Ну куда это годится?..

Остановившись на пороге приемной, вероятно, для того, чтобы люди, сидящие там, не подумали, что он кричал на этого седого человека, комиссар громко сказал:

— Супруге кланяйтесь, товарищ подполковник.

В приемной гражданских уже не было. Сидели у стены Лытков и блондин-кадровик.

— Вы ко мне? — спросил комиссар.

— Никак нет,— вскочив, произнесли они хором.

Стыдясь смотреть на них, словно не они его, а он их подсиживал, Городулин быстро вышел в коридор.

Он старался не думать о своем разговоре с комиссаром, чтобы уберечь себя от немедленных выводов, но чувство досады на себя точило его душу.

ГОЛОЛЕД



Длинный институтский коридор. Летнее солнце бьет в окна.

Сквозь внезапно распахнутые двери аудиторий вываливаются толпы студентов. Торопливо, опережая друг друга и горланя, они лавиной спускаются по широкой лестнице.

Устало, с трепаным портфелем в руках, идет по коридору Виктор Петрович Сизов. Его пиджак испачкан мелом,— это случается с ним всегда после лекций. На ходу Сизов смахивает мел с пиджака.

Он вошел в дирекцию. Лицо у него хмурое.

— Присядьте, пожалуйста,— говорит ему секретарша.— Сергей Илларионович сейчас освободится.

Сизов опускается на диван. Церемонно поставил портфель на колени. Глаза полуприкрыты, солнце беспокоит его.

Хлопоча за своим столом и, вероятно, только для того, чтобы развлечь Сизова, секретарша спрашивает:

— Ну, рады, что получили путевку на юг?

Он отвечает сухо:

— Не вижу оснований для радости.

Ей не слишком важно, что именно ответил Сизов. Возможно, она бы и продлила разговор с этим малоприятным собеседником, но дверь кабинета директора

открылась, оттуда вышли люди, и секретарша тотчас кивнула Сизову.

Кабинет директора института.

Плотный, надежно сколоченный, но уже рыхловатый Сергей Илларионович подымается из-за стола.

В повадках директора, в его голосе есть нечто военное, генеральское. Пожалуй, ему самому даже нравится его грубоватость и прямота. Он принадлежит к той породе директоров, которые легко переходят с собеседником на «ты», но это дружеское обращение непрочно — оно зависит от того, в чем смысл разговора.

Поднявшись из-за стола, он выходит навстречу Сизову.

— Привет, Виктор Петрович! Рад видеть вас в добром здравии.

Усадив Сизова в кресле перед столом, он и сам расположился во втором кресле напротив. Однако расстояние между креслами показалось ему слишком большим — он грузно придвинулся.

— Учебный год мы закончили с вами неплохо, — говорит директор, доверительно положив руку на колено Сизова. — Сегодня записал вам благодарность в приказе... Когда летите?

— Я — поездом.

— Охота была маяться по жаре! И кишки все растрясете... С билетом — в порядке? А то могу подсказать экспедитору.

— Благодарю вас, Сергей Илларионович. Билет я уже купил.

— Место — нижнее?

— Не интересовался. Мне безразлично.

Откинувшись в кресле, директор смотрит на Сизова, добродушно улыбаясь. Внезапно подмигнул.

— Ох, Виктор Петрович, гляди, как бы тебя в санатории не оженели! Мужик ты справный, оклад подходящий, жилплощадью обеспечен... — Он заразительно сме-

ется. — Характерец, правда, не мед... Ну-ну, пошутил, не сердись.

Поднявшись, он размял свое большое, затекшее тело и, проходя к письменному столу, обнял по дороге Сизова за плечи.

— Завидую вам, дорогой товарищ Сизов. Отвоевал я три войны, дослужился до генеральских погонов, а наукой вот занялся только в последние годы... Ну, ладно,— вздохнул директор.— Езжай с богом. Отдыхай.

Сизов спускается по институтской лестнице.

Внизу, в вестибюле, его внимание привлечено громким смехом, доносящимся из столпившейся группы студентов.

В центре этой группы стоит молодой человек с сумрачным лицом. Он несколько сторбился, в руках у него трепаный портфель. Очевидно, подражая кому-то, молодой человек скрипучим голосом обращается к парню, стоящему перед ним:

— Вы учитесь на одном из интереснейших факультетов. Ваше обучение стоит государству больших денег. Вы — комсомолец. Если вы не чувствуете влечения к профилирующему предмету — физике, то занимать место в нашем институте по меньшей мере легкомысленно. Переводитесь в стоматологический.

Студенты смеются.

За их спинами раздается кашель. Это задержался на минуту проходивший мимо Сизов. Он покашлял, чтобы его заметили.

Студенты оборачиваются и расступаются.

Испуганно смотрит на Сизова молодой человек в центре группы.

— Это вы изображали меня? — серьезно, без улыбки, спрашивает у него Сизов. — Похоже. Я бы еще добавил, что зубные техники недурно зарабатывают. Гораз-

до больше, нежели инженеры-связисты, выпускаемые нашим институтом.

Он произнес это своим несколько скрипучим голосом, вежливо поклонился и ушел.

Прачечная. Пункт выдачи белья.

В очереди немного людей, и среди них единственный мужчина — Сизов. Он стоит первым у окошка. Ему уже выдали белье, но, прежде чем уложить пакет в авоську, вынутую из портфеля, Виктор Петрович дотошно осматривает свои глаженные рубахи, сверяя их по квитанции.

— Почему у вас всегда ломают пуговицы? — строго спрашивает он укладчицу в окошке.

Позади Сизова стоит молодая разбитная бабенка в форме трамвайного кондуктора.

— Ну, ладно, жена пришьет, не барыня! — весело говорит она, тесня Сизова в сторону. — Давайте, папаша, я на маршрут опаздываю.

Он неторопливо и аккуратно укладывает пакет.

Жалостливо на него глядя, старушка из очереди произносит:

— Бывают же такие зятья: все сам, все сам... А моя-то дурища, боже ж ты мой! Идолу своему и тарелку подаст, и чаю нальет...

Выйдя из прачечной, Виктор Петрович шагает по людной улице. Он не смотрит по сторонам, лицо его сосредоточено. У него странная манера: когда задумчивость его и озабоченность достигают предела, то с губ произвольно срываются тихие, отрывочные слова. Возможно, эта манера характерна для пожилых одиноких людей.

— Кефир,— шепчет он.— Мыло... Зубная паста...

Действия его методичны. Покупая с лотка на улице бутылку кефира, он осведомился у продавщицы:

— Сегодняшний?

И тут же проверил день выпуска по надписи на пробке.

В аптечном киоске он долго выбирает два куска туалетного мыла, нюхает их; в двух тюбиках зубной пасты проверил, легко ли отворачиваются головки.

— Значит, так,— шепчут его губы.— В принципе все...

Усталый и озабоченный Сизов движется в толпе людей. Он не видит их даже тогда, когда его толкают.

С авоськой и портфелем он входит в свою комнату — обиталище старого холостяка. Здесь царит неуютный порядок. Постель застлана, но одеяло покрывает подушку. На стуле у постели — раскрытая книга и чашка с недопитым чаем; рядом рассыпаны таблетки снотворного. На подоконнике выстроены пустые, мытые бутылки из-под кефира. Письменный и обеденный столы завалены книгами.

Открыв дверь комнаты, Виктор Петрович говорит: — Здравствуй, Левка.

На книгах спит кот. Самый обыкновенный дворový кот. Он проснулся, спрыгнул на пол.

Не разгружаясь, Сизов открыл портфель, вынул оттуда сверток, развернул и положил на тарелку у дверей котлеты.

— Извини, Левка,— говорит он,— фарша я сегодня не достал.

Кот с деликатной брезгливостью ест готовые, магазинные котлеты.

Уже стемнело, вечер. Город еще не остыл от дневной жары, большое окно в комнате Сизова распахнуто на реку. Он сидит за своим письменным столом в трусах и в майке. Перед ним лист бумаги с пронумерованными записями. Лист озаглавлен:

Мои дела перед отъездом

Виктор Петрович вымарывает то, что уже успел сделать за день. Перечеркнуты строчки:

*попрощаться с аспирантами,
сдать книги в библиотеку,
зайти к директору,
получить белье,
купить в дорогу мыло и пасту.*

Задумавшись, он смотрит на две еще незачеркнутые строчки:

*уложить чемодан,
оставить Левку соседям.*

Он поднялся из-за стола и подошел к окну.

По реке плывет лодка. Она хорошо видна в огне береговых фонарей, да и ночь лунная. Лодка плывет по течению, весла лежат по борту. На корме сидят в обнимку парень и девушка. Они целуются.

У распахнутого окна стоит пожилой, несуразный в своих широких трусах и майке Сизов. Он смотрит на эту лодку с некоторым недоумением.

— Странно... — произносит Сизов.

И затем, слегка нахмурившись, добавляет:

— На чем же мы остановились, Виктор Петрович?..

В ночной тьме мчится поезд. Далеко на горизонте полыханье большого города.

В пустом коридоре купейного вагона — все пассажиры спят — проводница вытирает пыль, подметает пол.

Раздвигается дверь одного из купе. В коридор вышел Сизов, он в плаще и шляпе, в руках чемодан и портфель. Приблизившись к проводнице, сказал:

— Попрошу вас, пожалуйста, мой билет,

Она удивленно смотрит на него.

— С какого места?

— С шестнадцатого.

— Так вам же до Симферополя?

— Тем не менее я намерен выйти на этой станции.

— С вечера надо предупреждать,— ворчит проводница, отдавая билет.

— Вечером я не предполагал, что выйду на этой станции,— как всегда обстоятельно, отвечает Сизов.

Поезд замедляет ход. В тамбуре у открытых дверей проводница вытирает тряпкой поручни. За ее спиной Сизов приготовился к выходу.

Вагон уже плетется вдоль ночного перрона.

Показалось здание вокзала.

— Вокзал был другой,— говорит проводнице Сизов.

— За чай уплатили? — спрашивает она.

Он роется в кармане и, отдавая мелочь, бормочет:

— Забавно... Оказывается, я способен совершать алогичные поступки.

Поезд остановился. Сизов вышел на перрон.

Зевая, проводница ворчит вслед:

— Прошлый рейс полотенца недосчиталась. Наволочку прожгли куревом. У каждого переживанья, а я — плати из своего кармана...

На ночной привокзальной площади стоит Сизов. У его ног чемодан. Сняв шляпу и обмахиваясь ею, Виктор Петрович осматривается. Он чуть-чуть взволнован и даже растерян. Он оглядывается, ища чего-то глазами, словно ждал, что его встретят знакомые, близкие ему люди, а вокруг — все чужое.

Новые, безликие дома окружают его.

Медленно обойдя пустынную площадь, он остановился на углу широкой и тоже пустынной улицы. Прочитал название на табличке: «Улица Первомайская».

И зашагал по Первомайской.

Вестибюль гостиницы.

У окошка администратора — Сизов.

Девушка, очевидно только что поднявшаяся с двух составленных кресел, где она сладко дремала, укрывшись одеялом, берет у Сизова паспорт.

— Я могу предложить вам только «люкс».

— Это, вероятно, дорого?— спрашивает Виктор Петрович.

— Семь рублей. И попрошу командировочное удостоверение.

— Видите ли,— с внезапной общительностью наклоняется к ней Сизов: он рад, что у него появилась возможность поговорить,— я родился в этом городе...

— Все где-нибудь родились,— прерывает его девушка.— Без командировок мы гостей не оформляем.

— Наступает такая пора жизни,— волнуясь, говорит Сизов,— когда человека невольно начинает тянуть в родные места. Я окончил здесь школу, учился в университете, женился здесь...

Любопытство затлевет в глазах девушки.

— И развелись? — спрашивает она.

— В общем, да... Это все как-то странно получилось.

Он берется за чемодан и протягивает руку за своим паспортом, полагая, что с гостиницей ничего не выходит и, следовательно, надо уходить. Эта неудача, по-видимому, даже не очень обескураживает его: он в том приподнятом состоянии, когда мелкие неприятности слабо фиксируются сознанием.

Однако девушка не отдает ему паспорт. Она протянула ему гостиничную анкету.

— Заполните.

Не отходя от окошка, он тут же быстро заполняет листок. Покуда Сизов пишет, девушка спрашивает:

— А дети у вас были?

— Нет.

Он отдал ей анкету.

— Скажите, пожалуйста, Первомайская улица— это бывшая имени Розы Люксембург?

Девушка уверенно отвечает:

— Она всегда была Первомайская.

Он грустно покачал головой.

— Боже мой, как долго я живу! И сколько лишнего, девушка, я уже знаю...

Гостиничный номер «люкс».

Рассвело. Особенно звонко прошел первый трамвай.

Сизов открыл окна, выглянул наружу: внизу выгружают из фургона хлеб в булочную, и даже это развлекает сейчас Сизова.

Он с удовольствием прошелся по просторному номеру, открыл пустой шкаф, сосчитал для чего-то деревянные плечики, висящие на палке, выдвинул пустые ящики письменного стола. Прочитал под стеклом на столе гостиничные правила внутреннего распорядка, обнаружил в них орфографическую ошибку и, приподняв стекло, исправил ее своей авторучкой.

Затем отвернул одеяло на застеленной постели, пощупал свежие простыни.

Вошел в ванную комнату, открыл оба крана, потрогал рукой воду и вытер руку о свежее полотенце.

Он ведет себя так, словно видит мир впервые.

Зазвонил телефон.

Удивленный и, может быть, даже обрадованный, Сизов бросился к аппарату и снял трубку.

— Да.

Видимо, издали и не очень разборчиво донесся голос:

— Мне Аркадия Викентьевича.

— Простите, здесь нет такого,— вежливо отвечает Сизов.

Голос в трубке становится настойчивым и возмущенным:

— То есть как это нет? Я же только вчера ночью с ним беседовал... Куда же он подевался?

— К сожалению, не могу вам сказать. Я занял этот номер полчаса назад.

В трубке буркнуло:

— Вот стервец!

И щелкнул сигнал разъединения, Сизов положил трубку.

Большой двор старого дома. Дом четырехэтажный, из тех, что когда-то назывались «доходными». В центре двора — палисадник: несколько многолетних тополей, скамьи, площадка для ребят.

На скамьях сидят две-три няньки с детьми в колясках, вяжет кофту старуха. Дворник ворочает контейнеры с мусором. Дети постарше возятся на площадке: прыгают «в классы», играют в жмурки.

Во двор вошел Сизов. Вид у него усталый, он давно бродит по городу.

Остановившись в подворотне, Сизов смотрит перечень фамилий жильцов — длинный указатель квартир висит на стене.

— Ищете кого? — спрашивает дворник.

— Да нет, просто так...

Он вошел в глубь двора. Обходит его по кругу, задирая голову к облупленным балконам и замедляя шаг у подъездов.

В палисаднике ребята завязывают глаза носовым платком мальчишке лет пяти. Вертят его на месте и, отпустив, разбегаются в разные стороны. Прячутся поблизости кто куда.

Мальчишка с завязанными глазами, ощупью, вытянув вперед руки, осторожно ходит по палисаднику. Притаившиеся ребята подают голоса и тотчас перебегают с места на место. Мальчишка бросился на голос и уткнулся с разбега в Сизова.

Схватив его за ногу, радостно вопит:

— Борька!

— Нет, я Витя,— серьезно отвечает Виктор Петрович.

Он отошел к скамье и сел. Зажмурившись от солнца, откинул голову на спинку скамьи.

Теперь он ничего не видит, и так ему лучше.

До него доносятся только звуки.

Сперва это звуки реального двора, окружающего его нынче, а затем, внезапно, они сменяются в его сознании другими звуками, всплывающими из бездонных глубин памяти.

И происходит странная вещь: в этом современном дворе появляются:

старый татарин с наголо обритой головой, в теплом, грязном халате; за спиной у него огромный полосатый мешок, забитый мягким барахлом. Старый татарин негромко выкрикивает:

— Шурум-бурум, шурум-бурум, стары вещи покупаем, новые — продаем!..

черный цыган с серьгой в ухе,— рваная цветная рубаха распахнута на его волосатой груди. Он волочит мятый медный самовар и протяжно, зычно вопит:

— Тазы-кастрюли лудить-паять!..

взгромоздив на одно плечо свой точильный станок, ходит по двору веселый старичишка в отрепьях, из его разбитых сапог торчат грязные пальцы.

— Точу ножи-ножницы, бритвы правлю! — выпевает он дискантом.

Никто во дворе не видит и не слышит этих людей — они возникают лишь для Сизова.

И никто во дворе не замечает, как рядом с Сизовым на скамье оказывается девочка лет пятнадцати. Она чистенько, аккуратно, но не по-современному одета, в волосах у нее порхает огромный бант.

Сизов берет ее за руку, хочет что-то сказать — лицо

у него влюбленно-виноватое,— но скамью окружают орущие подростки, по своему внешнему виду они тоже возникли из прошлого.

— Жених и невеста
Замесили тесто,
Тесто засохло,
Невеста сдохла!..

Подростки орут это, нелепо пританцовывая и подступая к скамье все ближе и ближе.

А двор живет своей нынешней жизнью. Бегают по двору нынешние ребята.

Сизов сидит один на скамье.

Какая-то женщина выходит на балкон.

— Ви-итя! — зовет она. — Ви-итенька!..

Сизов обернулся.

— Я кому сказала? — сердится на балконе женщина. — Паршивый мальчишка, сейчас же иди домой!

В гурьбе ребят, копающихся во дворе, один паренек прячется за спины товарищей.

— Витька, сию секунду домой!

— Иду, мама, — тихо произносит Сизов.

Он встал со скамьи.

Подымается по лестнице, звонит в квартиру.

Женщина в халате, с венником и тряпкой в руке, открывает ему дверь.

— Я понимаю, что это нелепо, — говорит Сизов. — Извините меня. Разрешите войти в вашу квартиру?

Недоуменно отступив, женщина впускает его.

Он, легко ориентируясь в этой, казалось бы, незнакомой квартире, вошел в одну из комнат; женщина — следом за ним.

— Забавно, — улыбнулся Сизов. — Я полагал, что эта комната гораздо больше.

— Здесь двенадцать метров, — говорит женщина. — Я могу показать квитанцию, у меня за июнь уплачено. Вы из домохозяйства?

— Нет, я — от себя. Наступил, видите ли, такой период, когда я — лично от себя. Это бывает только в детстве...

Он обводит комнату взглядом. Приблизился к углу у окна, нежно провсдит рукой по стене.

— Тут стояла моя кровать. Она была с сеткой, чтобы я во сне не свалился на пол. Я помню, что эта сетка постепенно начала раздражать меня, я хотел свободы передвижения... И кровать становилась все меньше, мама подставляла табурет мне в ноги — они вылезали сквозь прутья... А из этого окна я пускал сквозь соломинку мыльные пузыри. Они были необыкновенного цвета. Сейчас почему-то никто не пускает мыльные пузыри, а ведь под них в детстве так хорошо мечтается... И потом еще — солнечные зайцы. Берется осколок зеркала, и луч направляется в противоположное окно...

Двор.

Сияющая лужица солнечного света сперва быстро бежит по земле, затем, помедлив, вскарабкивается по противоположной стене дома; заглянув в одно окно, в другое, в третье, луч добрался наконец до цели — он твердо уперся в стекло и пронзил комнату насквозь. В углу комнаты спит на кровати Галя. Луч, как бы на ощупь, прошелся по одеялу, нашел Галино лицо и замер, озаряя его.

Она проснулась навстречу ему. Села на постели, потрогала луч рукой.

Квартира женщины в халате.

Стоя у окна, Сизов продолжает говорить:

— В моей лаборатории в Ленинграде есть лазерная установка. Лучом лазера я легко пробиваю свинцовую пластинку. Но это ничто, поверьте мне, по сравнению с тем солнечным зайцем, который я направлял в окна Гали Сорокиной!..

Женщина в халате сперва слушала Сизова с настроженным удивлением, однако его вид — вполне добропорядочный — и волнение, которого она хотя и не понимает, но не может не заметить, что оно искренне, — все это успокаивает ее.

— А я вот уборкой занялась, — говорит она. — У меня отгул за ночную смену. Чаю, хотите, сделаю?

— Благодарю вас, — откланивается Сизов. — Покорнейше прошу извинить за беспокойство.

Он идет по улице.

Его легко различить в толпе пешеходов — Сизов движется бесцельно. Порой он замедляет шаг подле какого-нибудь уцелевшего старого здания, зажатого среди новых домов.

Память Сизова силится восстановить нечто важное и значительное из того, что было пережито им в этом городе, но взамен всплывают на поверхность мелочи, пустяки.

По мере того как Сизов идет по этой заново отстроенной улице, проступают на ней местами, словно переводные картинки, старые вывески, бывшие названия, бывшие витрины.

В окнах современной аптеки возникают вдруг для него огромные стеклянные шары, заполненные цветной жидкостью. Когда-то он думал, что это — лекарства.

Под карнизом углового дома сплетаются внезапно на фронте две гипсовые русалки, и между их чешуйчатыми хвостами проступают лепные буквы: «Кинематограф „Модерн“».

И стены этого огромного современного дома оказываются оклеенными с тротуара до крыши афишами древних фильмов. Мелькают на афишах лица и имена давно позабытых актеров кино — Мозжухин, Лысенко, Пикфорд, Фербенкс, герои старомодных, истлевших боевиков.

Широкая длинная улица сегодняшнего города простирается перед Сизовым. Упитанные троллейбусы проплывают мимо. Бегут автомашины.

И навстречу этому потоку, чудом не задевая его, с гиканьем и свистом, во всю ширину улицы скачут всадники. Чубы и папахи со шлыками на их головах...

Всего на сотую долю мгновенья мелькнуло это в сознании Сизова.

Он идет по улице.

Здание средней школы. Это старое кирпичное здание.

Он вошел в вестибюль. Сейчас здесь тихо и пустынно, очевидно идут занятия.

Он подымается по лестнице, ступени ее выщерблены, вытоптаны десятилетиями.

Сизов вошел в узкую, как пенал, комнату: здесь сидит секретарь директора школы. Это худая пожилая женщина в очках. Она подымает усталую голову.

— Вы по поводу разбитого стекла?

— Нет. Я хотел бы видеть директора.

Она строго и недоверчиво посмотрела на него.

— Имеется распоряжение — рогатки следует сдавать мне. И делать это должны не родители, а сами дети, после чего они будут вызваны для беседы к Федору Константиновичу.

— Я по личному делу, — говорит Сизов.

Но секретарша непреклонна.

— Сейчас к Федору Константиновичу вызваны только те, кто по поводу разбитого стекла.

Она снова принялась за свою работу.

Потоптавшись, Сизов решительно открывает дверь в кабинет директора.

Директор разговаривает по телефону, не замечая вошедшего Сизова. Положив трубку, он увидел посетителя.

— Слушаю вас.

Небольшого роста, лысый, с седым венчиком вокруг черепа, директор нетерпеливо взглянул на Сизова.

Смущенно улыбаясь, Сизов приблизился к столу.

— Здравствуй, Федя, — неуверенно протягивает он руку. — Не узнаешь? Я Сизов, Виктор... Витя я...

— Припоминаю, — говорит директор, однако по его лицу видно, что он еще ничего не припомнил. Мельком взглянув на часы, просит: — Садитесь пожалуйста.

— Ты извини меня, что я без предупреждения. Я ведь нашел тебя случайно, по телефонной книге, позвонил домой, а мне сообщили, что ты тут. Ну, как живешь-то?

— Спасибо, ничего... А вы?

Сизов грустно махнул рукой.

— Старею... Остался в душе только какой-то гул промелькнувшего детства, беспорядочные обрывки глупых воспоминаний.

Директор силится быть внимательным. Ему невозможно настроиться на эту волну, да и незачем.

— Да-да, — говорит он. — Это верно... Столько времени прошло. И текучка заедает каждый день.

— Ты давно директорствуешь?

— Десятый год.

— И все в этой школе?

— Да.

— Это должно быть приятно — попасть через много лет в ту же школу, где когда-то учился. Не порываете связь времен... Кого-нибудь из нашего класса встречал?

— Лет пять назад заходил как-то Петя Жевержеев...

— Погоди. Жевержеев, Жевержеев... Высокий, черный парень, отлично читал стихи Есенина...

— Стихи Есенина читал Юра Линевич. А Петька Жевержеев на пари спрыгнул с крыши сарая. И футбо-

листом был, центр-форвард. Он еще собачонке нашего директора консервную банку привязал к хвосту.

— Ах ты господи,— сокрушается Сизов.— Значит, я спутал. Где же сейчас этот Петя? Я хотел бы его повидать.

— Умер от инфаркта.

— А Юрка Линевиц?

— Убит под Калининградом.

— Погоди, помнишь, был еще Толя Грунин, здорово диспуты устраивал, суды всякие: над Анной Карениной, над Евгением Онегиным. Он был...

— Он был, а потом его не было.

— Но кто-нибудь из нашего класса остался? — восклицает Сизов.

— Конечно. Вот мы с тобой остались. И еще человека три — их разыскали наши ребята из восьмого «А». А разве тебе они не писали?.. Прости ради бога — как, ты говоришь, твоя фамилия?

— Сизов Виктор.— Он смутился: — В прошлом году я, правда, получил какое-то письмо, но оно показалось мне формальным: просили прислать мою фотографию для какой-то доски, автобиографию... В общем, я замолчался и не ответил.

— Зря. Это обижает ребят.

Наступила неловкая тишина.

— Федя, а ведь, по правде говоря, ты меня так и не вспомнил? — спрашивает Сизов.— Я сидел на третьей парте справа, у окна. Пух от нашего тополя падал на мои тетради...

— Его спилили в войну на дрова...

В дверь кабинета заглядывает секретарша.

— Федор Константинович, пришли родители по поводу разбитого стекла.

— Да, да, пусть минутку подождут..

Сизов поднялся.

— Извини, я тебя задержал.

— Ты заходи,— пожимает ему руку директор.— У меня, понимаешь, сегодня крайне суматошный день... Где работаешь? — спрашивает он, провожая Сизова до дверей.

— В Ленинграде. В институте. Читаю физику.

— Кандидат или доктор уже?

— Кандидат. И вряд ли буду доктором. Ни к чему.

— Ну и хорошо, очень хорошо,— рассеянно похлопывает его по спине директор.— Непременно надо поболтать. Звони и заходи...

Дверь за Сизовым закрылась. Директор провел рукой по своему лицу и прошептал:

— Убей, не помню!.. Витька Сизов? Не было такого...

Идет Сизов по улице. Приблизился к киоску справочного бюро.

Наклонившись к окошку, обращается к женщине, увлеченно читающей журнал:

— Я хотел бы навести справку о месте жительства определенного лица, сведения о котором у меня крайне скудны,— как всегда подробно и закругленно спрашивает Сизов.

Не глядя на него, она протягивает ему листок бумаги.

Он пишет: «Сизова Елена Михайловна. Год рождения — 1910».

Отдавая киоскерше листок, говорит:

— С вашего разрешения, я подожду.

Прислонившись к киоску, ждет, оглядывая соседние дома. Над одним из них висят городские часы. Большое окно подвального этажа под часами. Вывеска у подъезда: «Библиотечный коллектор».

Автомашина стоит подле этого подъезда, грузчик носит пакеты с книгами.

Пристально смотрит Сизов и на подъезд и на окно. Все это выглядит для него сейчас иначе; во всю величи-

ну оконного стекла проступает внезапно затейливый рисунок:

...цветные лошади мчатся по кругу, они нарисованы буйно, рукой неумелого художника-маляра. Эти лошади опоясаны надписью по стеклу, буквы тоже цветные, вальящиеся набок: «Механические бега и скачки».

Полутемная лестница, ведущая в подвал.

На последнем повороте лестницы стоит огромный вздыбленный медведь. В его передних лапах — большой бронзовый поднос, заваленный папиросными окурками.

По лестнице робкими, неуверенными шагами спускается юноша лет восемнадцати.

И за ним спешит нынешний Сизов. Догнав юношу и положив руку на его плечо, Сизов возмущенно говорит:

— Остановись! Зачем ты сюда идешь? Я же знаю, чем это кончится,— твоим позором!..

Не замечая Сизова, юноша продолжает идти...

— Заклинаю тебя, уходи отсюда!.. Мне же будет стыдно потом всю жизнь,— уговаривает его Сизов.— То, что ты собираешься сделать,— непорядочно, мерзко!

Юноша не слышит его.

Пугливо озираясь, он вошел в подвальный зал, сырой, с низким сводчатым потолком. Окно с нарисованными конями пропускает мало света, оно пыльное и грязное. В центре зала горит яркая электрическая лампа на шнуре без абажура.

Под лампой сгрудились люди. И оттуда, из середины толпы, доносится громкий, бесцветный голос:

— Можно ставить, есть прием!

И немного погодя:

— Ставок больше нет.

В полной, тревожной тишине слышно глухое жужжание.

Юноша протискивается сквозь толпу и оказывается вдруг перед длинным столом.

Во главе стола сидит человек с большим, словно распухшим лицом и гладко расчесанными на прямой пробор волосами. В руках человека мелькает длинная лопатка, похожая на игрушечную: с необыкновенной ловкостью он шныряет ею по всему столу, достигая самых отдаленных частей его.

— Можно ставить, есть прием! — произносит крупье равнодушным голосом, и десятки рук кладут на стол бумажные деньги — разглаженные, лихорадочно скомканные, грязные, влажные от взмокших, потных ладоней.

— Ставок больше нет!

По столу, по нарисованному в центре кругу, бегут крохотные разноцветные лошадки; их штук десять, и на каждой написан номер.

Жужжа, они бегут недолго.

Крупье протянул свою игрушечную лопатку и сгреб к себе все деньги, лежавшие на столе, затем ловко через весь стол швырнул лопаткой несколько купюр кому-то, кого мы не видим, но на кого устремлены завистливые взгляды толпы.

Юноша, как околдованный, медленно протягивает руку к столу и кладет свои жалкие деньги на ближайший номер — в клеточке стоит цифра семь.

В следующее мгновение лошади понеслись по кругу.

Юноша смотрит на них, они вырастают на его глазах, они уже кажутся ему огромными, они угрожающе ржут.

Бег их становится все медленнее и наконец замирает. Они уже снова крохотные, и крохотный оранжевый конь, вскинув передние копыта, остановился на цифре три.

Поднявшись по лестнице мимо вздыбленного, пропахшего никотином медведя с бронзовым подносом,

юноша выходит на божий свет. Здесь, под городскими часами, стоит девушка. Она нетерпеливо поглядывает вдоль улицы.

Из-за ее спины приближается юноша. У него смущенное, растерянное лицо.

— Лена,— говорит он,— я проигрался в пух и прах...

— Глупый ты, Витенька,— улыбается девушка, беря его под руку.

— Но ведь я же точно высчитал: этот дурацкий оранжевый конь должен был прийти на семерку!

Девушка смеется.

— Надеюсь, ты производил расчет с логарифмической линейкой?

— погоди, ты не поняла. Я проиграл чужие деньги. Она остановилась и выпустила его руку.

— Как, чужие?

— Ну, казенные... Профсоюзные взносы ребят.

— Что же нам теперь делать? — растерянно спрашивает она.

— Не знаю.

Он совершенно подкошен тем, что натворил.

— Может, сказать в профкоме, что у меня их украли? — Сизов поднял на нее робкие глаза.

Лена решительно тянет его за руку.

— Пошли! Я придумала.

Они растворяются в толпе пешеходов.

Сквер у базара.

В дальнем конце сквера сидит на скамье Витя Сизов. Он ждет, не понимая, зачем Лена привела его сюда. Озирается по сторонам, нервно встает, вглядываясь в предбазарную толчею, снова усаживается.

Противоположный конец сквера впадает в базар.

Здесь уже не протиснуться; по обеим сторонам широкой, пыльной улицы расположились прямо на земле

продавцы самого разнообразного домашнего скарба. Старье, хлам лежит здесь вперемешку с хорошими вещами. Пожилые дамы, пронырливые, испытые перекупщицы, лабазные старички торгуют чем попало: тут можно приобрести все — от ржавого гвоздя до хрустальной музейной люстры.

Между этими рядами торговцев, впритык друг к другу, толкуются люди: бродят покупатели, снуют зеваки, торгуют с рук.

В этой толпе, несомая ею, медленно передвигается Лена. В руках у нее женские туфли, она неумело держит их перед собой.

Со скамьи в сквере быстро поднялся Витя Сизов. Он увидел наконец радостно бегущую к нему Лену. Она победно размахивает какими-то бумажками в высоко поднятой руке.

— Ура, Витька! — кричит она.

Задыхаясь от счастья и от бега, она обнимает его и сует ему в карман деньги.

— Тут еще останется нам на ириски, — говорит Лена.

Сделав несколько шагов рядом с ней, повеселевший Виктор случайно опускает глаза вниз — он видит босые ноги Лены.

Резко остановился, спрашивает:

— Ты с ума сошла! Что ты наделала?..

— Ничего особенного, — смеется Лена, целуя его в щеку. — Они мне ужасно натирали ноги, я их терпеть не могла... Знаешь, как приятно ходить босиком!.. Прелесть!..

Сизов стоит у справочного киоска, склонившись к окошку. Киоскерша протягивает ему адресный листок: «Елена Михайловна Сизова. Садовая улица, 5, кв. 3».

— А вы убеждены, что ее фамилия по-прежнему — Сизова? — спрашивает Виктор Петрович.

— Позвольте, — возмущается киоскёрша, — ведь вы же у меня именно эту фамилию и спрашивали!

— Да-да, простите! — говорит Сизов.

Улица, расположенная на крутой горе. Очевидно, это одна из окраинных улиц. Здесь много старых одноэтажных и двухэтажных домов, хотя и кирпичных, но по-купечески приземистых, вросших в землю.

Раскидистые, тенистые акации стоят под окнами домов. Их ветви усеяны «пищиками» — коротенькими стручками, похожими на маленькие изогнутые сабли.

Девчонка старательно разгибает стручок по шву, выбрасывает из него зерна и, приложив его к губам, пронзительно пищит.

— А я тоже умею так, — говорит Сизов, проходя мимо нее.

Он приблизился к одному из домов, проверил по адресному листку номер. Сошлось верно. Взошел на крыльцо, поправил шляпу. Очки чуть-чуть съехали на нос — виски стали влажными от волнения. Сизов вытер их носовым платком.

— Ну, это уже совсем глупо, — тихо произносит Виктор Петрович.

Он позвонил.

Дверь открылась, на пороге возник мальчик.

— Елена Михайловна Сизова живет в этой квартире?

— В этой.

— Я могу пройти к ней?

— Мама нет дома. Она в институте.

— Сколько тебе лет? — помедлив, спрашивает Сизов.

— Девять.

Мальчик взялся за ручку двери, пытаясь захлопнуть ее, но Сизов, не двигаясь, стоит так, что дверь не прикрывается.

— Нет дома,— повторяет Сизов.— Понятно.

Он подвигал челюстями, как бы разжевывая то, что узнал сейчас, и вдруг, побледнев, спросил:

— А папа дома?

— Отпустите, пожалуйста, дверь,— дергает за ручку мальчик.

Сизов шагнул в сторону, дверь тотчас захлопнулась.

— Так. Значит, таким образом,— тихо произносит Виктор Петрович.

Он спускается вниз по крутой улице.

Только что эта улица была залита летним солнцем, шумели по ее обочинам густые акации, трава пробивалась сквозь булыжник,— и внезапно повалил снег — чистый, легкий и частый. Снег валит, как в детстве, как в сказке, как может он валить только в воспоминаниях старика.

Спускается вниз по заснеженной улице нынешний Сизов. Он в шляпе, в костюме, без пальто — он тот же, что и сегодня. Снег не падает на него, не покрывает его голову и плечи.

А мимо него, справа и слева, проносятся на салазках дети. Это не современные салазки, купленные в магазине. Самодельные санки, смастеренные из чего попало, и самодельные деревянные коньки — вот на чем мчат ребята мимо Сизова. Обувь и одежда на них не по росту — отцовская, материнская, братнина. Кое-кто в развешивающихся остроконечных буденовках.

Идет Сизов. Губы его шепчут:

— А я на бок — хлоп, вот качусь я в санках под гору в сугроб...

Когда он спустился вниз с горы к узкой речонке, к горбатуму мосту, перекинутому через нее, вокруг уже снова лето.

— Значит, так,— тихо произносит Сизов.— Таким образом. На чем же мы остановились?

Он сделал еще несколько шагов и церемонно приподнял шляпу, словно раскланиваясь с кем-то и представляясь ему:

— Здравствуйте, моя фамилия Сизов, Виктор Петрович. Может быть, ваша супруга Елена Михайловна изволила рассказывать вам обо мне?.. Не правда ли, это забавно, что она оставила мою фамилию?..

Он взошел на горбатый мост. Отсюда ему видно, что ниже по течению землечерпалка расширяет русло реки и люди вдоль берега укладывают бетонные плиты.

Задержавшись на мосту, Сизов замечает: у самых его ног, на краю мостового быка, сидит, неудобно скорчившись, парнишка с удочкой.

— Ну как? — спрашивает Сизов.— Много поймал?

Парнишка посмотрел на него; очевидно, ему не понравилось насмешливое выражение лица Сизова, и поэтому он отвернулся, ничего не ответил.

— Я тебя спрашиваю: много наловил?

— Все мои,— мрачно отвечает рыбак.

— Да тут и рыбы-то нет. И не было никогда. И речка называется Нётечь — она никуда не течет.

— А вы почему знаете?

— Я родился в этом городе.

— Ну и что ж, что родились. Вы старый, а рыба молодая.

— Ты невежливо отвечаешь мне,— сердито говорит Сизов.

— А вы нашу речку заругали. Вы первый. По ней с будущего лета пароходы «Ракета» станут ходить...

— Значит, по-твоему, я старый? — спрашивает Сизов.

Но мальчишка уже не слушает его — поплавок заплесал на воде,

Деканат института.

Отдуваясь от жары и неимоверно потев, декан то-ропливо задвигает ящики своего письменного стола и запирает их на ключ. У его ног две переполненные авоськи с продуктами: торчат горлышки боржомных бутылок, куриные ноги, тресковые хвосты, свертки.

Стрекочет в углу машинистка.

Декан спрашивает:

— Ольга Петровна, друг мой, до которого часа открыт базар?

— Кажется, до пяти.

— Не проинструктируете ли вы меня, голубчик, как отличить сухие белые грибы от сухих черных? Они дьявольски одинаковые!.. И затем, я хотел бы уточнить, каким путем распознается в сыром виде рассыпчатая картошка? Мне велено приобрести именно рассыпчатую. И еще, Ольга Петровна, я хотел бы проконсультироваться по вопросу репчатого лука...

Декан поднял голову от стола и увидел вошедшего Сизова.

— Прошу прощения,— сказал декан.— К величайшему огорчению, со вчерашнего дня я в отпуске.

Он встал, опираясь на палку: вместо одной ноги у него протез.

Сизов собрался было уйти, но декан окликнул его:

— Минуточку. У вас ко мне что-нибудь срочное?

— Да нет,— мнется Сизов.— В общем-то, пустяки. Совершенно личные пустяки, не стоящие вашего внимания...

— Послушайте, товарищ,— всполошился декан,— вы не представляете себе степень моего любопытства! Если вы не откроете мне цель вашего визита, то мой отпуск будет абсолютно отравлен... Хотите, я сам угадаю?

Сизов улыбнулся.

— Попробуйте.

— У вашего сына...— начал декан,

— У меня нет сына,— прервал его Сизов.

— У вашей дочери, замечательной и очень способной девушки, остался хвост по математике, что безусловно является следствием несправедливо завышенной требовательности преподавателей нашего факультета... Не так ли?

— Нет, не так,— говорит Сизов.— Все гораздо проще. Я окончил этот институт в одна тысяча девятьсот двадцать девятом году и, будучи нынче проездом на своей родине, хотел бы...

— Господи! — восклицает декан.— Боже мой... Альма матер! Гаудеамус!.. Решительно все понятно. Надо быть кретином, чтобы не сообразить... Сейчас мы это мигом организуем.

Быстро прохромав к дверям, декан исчезает в коридоре и тотчас же появляется, ведя за руку румяного молодого человека, несколько смущенного этой поспешностью.

— Вот,— говорит декан.— Рекомендую. Один из наших перспективных аспирантов, Петя Ткаченко.

Взял аспиранта за локоть.

— Петя, дружок, не откажите в любезности показать приезжему товарищу...

Идут по институтскому коридору Петя Ткаченко и Сизов.

Заходя вперед, молоденький аспирант распахивает перед Сизовым дверь огромной пустой аудитории, она выстрбена, очевидно, недавно. И Пете очень хотелось бы, чтобы ленинградский доцент оценил ее по достоинству.

Щелкая выключателями и рубильниками, Петя зажег скрытый за потолочным карнизом свет, включил плафон над гигантской доской у кафедры. Затем, сбегав вниз — аудитория расположена амфитеатром,—

аспирант всходит на кафедру и щелкает пальцем по микрофону.

— Раз... Два... Три...— громким, торжественным голосом демонстрирует он звук и, опершись двумя руками о трибуну, словно бы изготавливается начать лекцию.

Широким, гостеприимным жестом аспирант приглашает Сизова вниз, к кафедре.

Однако Виктор Петрович так и остается у входа в аудиторию, рассеянно обводя ее невнимательным взглядом.

Они снова идут по коридору, и опять аспирант старается блеснуть перед своим вялым, апатичным спутником всеми новейшими достижениями только что отстроеного учебного корпуса.

Сизов роняет изредка на ходу:

— Отлично... Прекрасно... Достоинo внимания...

И это начинает раздражать молодого аспиранта. Он постепенно увядает, уже молча сопровождая скучного гостя.

— Насколько я помню,— говорит Сизов,— красный уголок института помещался...

— У нас теперь клуб,— сообщает аспирант.— Пятьсот посадочных мест, сцена, лекционный зал, комнаты для кружковой работы... Хотите, пройдем?

— Пожалуй, не стоит. Покажите мне лабораторию физики.

— Она еще, к сожалению, в старом здании.

— Вот и прекрасно,— обрадовался Сизов.

Они стоят в лаборатории физики.

Тут много новейшего оборудования, но вряд ли Сизова можно удивить этим. Утратив надежду на это, аспирант остановился вполоборота к гостю и возится с какой-то установкой, собранной на отдельном столе. Ему хотелось бы привлечь внимание Сизова к этой

установке, однако Виктор Петрович вертит в руках старенький, чепуховый вольтметр, попавшийся ему на глаза.

— А ты все такой же облезлый,— нежно шепчет Сизов.

Аспирант решительно откашлялся.

— Простите, товарищ доцент, вы интересовались когда-нибудь проблемой обледенения проводов?

Обернувшись, Сизов вежливо ответил:

— Нет, не доводилось.

— Я так и полагал,— с оттенком гордости, торопливо, боясь, что его могут не дослушать, говорит аспирант.— В этом вопросе мы первые.

И проверив еще раз, не отвлекся ли Сизов какой-нибудь ерундой, Петя, постепенно разгорячаясь, продолжает:

— Понимаете, какая штука,— это обледенение очень часто нарушает связь, а также прерывает подачу электроэнергии: провода рвутся от тяжести нависшего на них льда. И даже если провод выдерживает тяжесть льда, то все равно сопротивление в цепи возрастает, и связь значительно ухудшается. И вот я решил, посоветовавшись с нашим доцентом Еленой Михайловной Сизовой...

Виктор Петрович шагнул к аспиранту.

— С кем?

— С Сизовой. Она ведет курс общей физики, а у нас, у аспирантов, читает теорию поля.

Виктор Петрович уже стоит рядом.

— Хорошо читает?

— Отлично. Она пожилой научный работник, опытный, знающий. Вам надо непременно познакомиться с ней, она может быть вам очень полезна...

— А ее муж, кажется, тоже работает в вашем институте? — осторожно спрашивает Сизов, отвернувшись в сторону и закуривая.

— Муж? По-моему, она не замужем... Девчонки, правда, болтали, что был у нее какой-то неудачный супруг в молодости...

Сизов нахмурился:

— В каком смысле неудачный?

— Не знаю, я к сплетням не прислушиваюсь... Ну вот. Елена Михайловна тоже интересуется гололедом. Хотя эта проблема и не строго физическая, но мы полагаем, что в наше время и не должно быть «чисто научных» проблем: каждый вопрос следует увязывать с нуждами народного хозяйства.

Сизов поморщился:

— Ну, каждый вопрос,— довольно сложно. Это уж, знаете ли, грубейшая вульгаризация, от которой наша наука немало пострадала.

Аспирант обрадовался: приезжего доцента наконец-то удалось расшевелить, и сейчас затеется, разгорится научный спор, в котором Петя покажет доценту, насколько крепко поставлена теоретическая подготовка у них в аспирантуре. По правде говоря, Петя понимал, что он уже немножко загнул в своей категоричности, но отступить было поздно.

— К сожалению,— взвился он,— боязнь вульгаризации многие ученые умышленно отгораживаются от решения практических вопросов.

«Вот такой у нас мог быть сын»,— подумал Сизов, не вслушиваясь в то, что говорил Петя.

— Сколько вам лет? — спросил Виктор Петрович.

— Двадцать четыре. Это не имеет значения,— быстро и сердито добавил аспирант.

Сизов улыбнулся:

— Конечно. Эйнштейну было двадцать пять, когда он создал свою теорию относительности. А Галуа погиб в двадцать три. Так что вы даже немножко запоздали... Ну-ка, покажите, что вы тут сочинили?

Он наклонился над установкой.

Несколько метров провода, натянутого между роликами, тяжело обвисли под тяжестью ледяных сосулек. Все это покрыто стеклянным колпаком в холодильной камере.

Аспирант врубает ток высокого напряжения, и Сизов, еще ниже склонившись к камере, с интересом наблюдает за тем, как под влиянием повышенной температуры мгновенно подтаивают и сваливаются с проводов сосульки.

— Занятно,— говорит Сизов.— По-видимому, это ваша будущая диссертация?

— Да. Я хотел бы за полгода закончить ее. Мы потому и задержались с Еленой Михайловной в городе. Вы, между прочим, читали ее последнюю статью в нашем институтском сборнике?

— Нет.

— Напрасно,— строго сказал аспирант.— Очень дельная статья. Мы лично следим за текущей литературой.

— Да-да, я отстаю,— сокрушенно произносит Сизов, и непонятно, шутит ли он или говорит всерьез.

Покуда они разговаривают, влага снова осела на проводах и превратилась в изморозь.

Аспирант, взглянув на камеру, предлагает Сизову:

— Теперь можете попробовать сами. Только не сожгите систему... Вы, вероятно, умеете пользоваться аппаратурой?

Не отвечая, Виктор Петрович быстро и ловко, пожалуй даже умелее аспиранта, проделывает все, что положено опытом.

Изморозь растаяла.

— Занятно,— еще раз повторяет Сизов.— В пределах лабораторного опыта — недурно.

Теперь он смотрит на Петю, как привык смотреть на своих учеников. И Петя, почувствовав это, подтянулся под его испытующим, требовательным взглядом.

— Игрушка, конечно, забавная,— говорит Сизов.

Он подумал секунду.

— Ну, а если предположить, что мы имеем дело с проводами для высокочастотной связи? Ведь в подобном случае вы не сможете пропустить по ним ток высокого напряжения.

Восхищенный сообразительностью Сизова, аспирант одобрительно кивает головой.

— Конечно. Я хочу найти такое покрытие для телефонных проводов, которое исключало бы возможность обледенения.

Виктор Петрович задает ему еще несколько вопросов. Петя бойко отвечает на них, думая при этом:

«Дельный мужик! Вечно я горячусь и делаю поспешные умозаключения о людях. Сколько раз мне об этом говорили...»

Они стоят у ворот института.

Уже попрощавшись, Сизов медлит уходить.

— Душно у вас в городе... Вряд ли Елене Михайловне так уж приятно жить летом дома. У нее, ведь, кажется, сынишка лет девяти? И мать-старуха, если она еще жива... Мне декан рассказывал,— поспешно добавляет Сизов.

— Федька живет в лагере,— отвечает аспирант.— Великолепный пацан. Это племянник, она его усыновила. А мать очень крепкая старуха...

Он еще раз сильно пожал руку гостя и по-мальчишески спросил:

— Значит, вам правда понравилась моя установка? Сизов улыбнулся.

— Отличная штука! Через полгода будете кандидатом. Я приеду на банкет. Только не женитесь рано...

— Почему?

— Слишком рано — это всегда начерно.

— Ну вот еще! — засмеялся аспирант.

Вечер. Гористая Садовая улица.

Сейчас эта улица живет своей особой провинциальной южной жизнью.

Окна невысоких домов открыты настежь.

Лежит на подоконнике, положив под живот большую пуховую подушку, рыхлая немолодая женщина в накрученных на голове бигуди. Она лениво беседует с худенькой соседкой, лежащей в такой же позе в соседнем окне.

— Вы, душенька, какой номер колготок носите?

— Двадцать пятый.

— Ну а я — двадцать седьмой. С утра они мне как раз впору, а после обеда немножко жмут в талии. Между прочим, надо брать венгерские: в них нитка крученная...

На улице появляется прохожий. Рыхлая женщина близоруко щурится и спрашивается у соседки:

— Это кто пошел?

— Колесов, с десятого номера.

Рыхлая женщина кричит через всю улицу:

— Колесов, паразит, ты когда мне туалет починишь, три дня назад сдала заявку, течет без перерыва...

Из другого раскрытого окна рвутся звуки патефона, заглушающего то, что отвечает Колесов.

Еще в одном окне показался голый по пояс молодой мужчина, крепко, со вкусом растирающий мокрый торс полотенцем. К нему подошла женщина и, нежно обняв его за шею, сказала:

— Ну, Вася, ты совсем сошел с ума!..

На скамейке у ворот дома сидят две девушки, едят арбуз, и одна из них быстро-быстро рассказывает:

— Потолки — два восемьдесят, с балконом, тепло-центрально, ну просто прелесть квартирка, половину пая его папа внес, а половину я накопила...

Она доела арбуз, собирает корки в газету.

На тротуаре показался Сизов. Он приближается.

Рыхлая женщина щурится, подавшись из окна, спрашивает соседку:

— Это кто пошел?

— Не с нашей улицы,— всмотревшись в Сизова, отвечает соседка.

Девушка, евшая арбуз, поясняет:

— Старикан какой-то, он, Ольга Иванна, уж второй раз приходит, ломился к нашей Елене Михайловне, да Федька его не пустил в квартиру...

Под празддно-любопытствующими взглядами соседей Сизов неуверенно взошел на крыльцо и позвонил.

Щелкнул замок, дверь отворилась, и Сизов вошел в пустую прихожую, из которой наверх, в квартиру, вела деревянная лестница; дверь, очевидно, открыли, не спускаясь вниз, а дергая провололочкой за ручку замка.

На верхней площадке стоит старушка. Сизов тотчас узнал ее. И она тотчас сказала:

— Здравствуйте, Витя.

Сказала так просто, словно он только что выбегал на угол и сейчас воротился.

Из комнаты раздался женский голос:

— Мама, попроси, пожалуйста, Николая Михайловича подождать меня минутку в столовой.

— Леночка, это не Николай Михайлович. Это Витя. Садитесь, Витя. Ничего, что я вас так называю?

Они уже вошли в столовую, и старушка на ходу включила электрический чайник и поставила на стол еще одну чашку.

Из соседней комнаты быстро вышла Елена Михайловна. Она остановилась на пороге, держа в руках большой гребень.

— Лена, это я,— сказал Сизов.— Я тут в городе по делам. Решил зайти навестить.

Быть может, только на мгновенье Елена Михайловна растерялась. Уже в следующую секунду она приветливо улыбнулась:

— Я очень рада, что ты догадался прийти... Витя, ты в очках? А я еще пытаюсь держаться...

— Какая-то чепуха с глазами. Вообще-то, я их ношу только для чтения.— Он снял очки и торопливо спрятал их в карман.— Ты никуда не торопишься? Я тебе не помешал?

— Нисколько.

— Это точно?

— Совершенно точно. Где ты остановился?

— В гостинице.

Елена Михайловна всплеснула вдруг руками и рассмеялась.

— Ох, как мы с тобой давно не виделись! Сто лет. Даже не знаешь, с чего начать...

Старушка на цыпочках вышла в другую комнату. Елена Михайловна проводила ее ласковым взглядом.

— Мама очень постарела, да?.. погоди минутку, я сейчас причешусь, все-таки ты гость.

Причесаться ей действительно следовало, но, вероятно, она оставила его одного еще и для того, чтобы дать ему немного осмотреться, освоиться.

Сизов оглядел комнату. Здесь почти ничего не осталось от их прошлой жизни. Сделав шага два, Виктор Петрович зачем-то провел пальцем по книжной полке и осмотрел палец, нет ли на нем пыли.

Он взял с полки над диваном деревянного пса с отломанным ухом.

— Узнаешь?— раздался голос за его спиной.

— погоди, как же он у нас назывался? — обернулся Сизов.

— Назывался он очень просто — собакон.

Она кивнула на стенку над диваном.

— Тут у мамы еще висела твоя фотография, я только после ремонта сняла ее.

— А давно был ремонт?

— Лет пять назад. Я тебя часто вспоминала, Витя.

— Но не такого, как сейчас,— против воли жалко улыбнувшись, сказал Сизов.— Ведь ты бы не узнала меня на улице?

— Не узнала б.

— Я здорово облысел.

Он провел рукой по своей голове, заново ощутив, что она лысовата.

— Знаешь что? — засмеялась Елена Михайловна.— Лучше не будем подробно останавливаться на том, как ты изменился. Это бестактно по отношению ко мне.

Они сидят за чайным столом.

Елена Михайловна видит, что Сизов чувствует себя неловко, хочет облегчить его состояние, и поэтому, как только наступает пауза, Елена Михайловна тотчас произносит что-нибудь, даже иногда не очень задумываясь над тем, что сию минуту произнесет.

— Какой ты стал солидный, Витя!.. И галстук какой красивый. Это у вас в Ленинграде продают такие галстуки?.. Ну, рассказывай. И ешь, пожалуйста, ты совершенно ничего не ешь...

— Я хожу по городу как пьяный. Ты знаешь, Леночка, а я ведь так и не женился... Видишь, как я нелепо рассказываю: то с начала, то с конца.

— Это естественно.

Сизов посмотрел на нее, увидел внимательные и даже участливые глаза и ощутил непреодолимое желание поделиться с ней сейчас, сию же секунду, всем, что затопило его за этот день.

— Я был сегодня во дворе своего детства. Странная штука: в памяти пожилого человека есть какая-то мистика — мне не кажется, что мое детство прошло навсегда, оно было и должно вернуться еще раз. Я покупаю книги, которыми захлебывался в те далекие годы — Майн-Рида, Фенимора Купера, Луи Жаколио,— и вопреки

логике убежден, что они еще пригодятся мне. Мне хочется, понимаешь, Леночка, чтобы мое будущее детство не застигло меня врасплох. Все должно быть у меня под рукой — увлекательные книги, футбольный мяч, велосипед. Все, чего я был лишен в прошлом детстве...

Близорукими, беспокойными глазами он всматривается в лицо своей бывшей жены.

— Зачем, собственно, я все это говорю тебе?

— Вероятно, потому, что тебе хочется с кем-нибудь поделиться. Ты не умел делать это в молодости.

— Разве? — искренне удивился Сизов.

— У тебя было такое словечко — «буза». Все, что не имело отношения к занятиям в институте, ты небрежно называл бузой.

— Это тебя обижало?

— Немножко.

— Вот болван! — воскликнул Сизов. — Ладно. Запомним... Я хочу закончить свою мысль. Но если оно действительно придет, мое будущее детство, смогу ли я вести себя так, словно не знаю, чем все кончится? На меня опрокинется мой нынешний опыт; я буду стоять по горло в нем.

И внезапно, вне всякой связи с тем, о чем он сейчас так судорожно говорил, Сизов спрашивает:

— Ты все эти годы жила одна?

— Одна.

Он залпом выпил остывший чай.

— Как глупо все устроено: когда человек способен по-настоящему чувствовать, он непомерно расточителен. А когда он начинает ценить человеческие отношения, то уже староват для чувства.

Она улыбнулась:

— Ты не извиняйся. Я ведь на тебя не сержусь.

— Лена, тебя любят твои студенты?

Она пожала плечами.

— По-моему, они ко мне прилично относятся...

— А ко мне, кажется, не очень... Они считают, что я сухарь. Ведь ты не думаешь, что я сухарь?

— Я очень мало знаю тебя.

— Но позволь!..— возмутился было Сизов, желая, очевидно, напомнить, что она была все-таки его женой.— Хотя, пожалуй, ты права... Если бы я встретил нынче того Витю Сизова, которого ты знала, у нас возникли бы с ним серьезные разногласия. Терпеть не могу самонадеянных, глупых молодых людей!

— Нет,— сказала Елена Михайловна.— Ты несправедлив к нему. Он был неплохим юношей. Если, конечно, ничего худого в нем не проросло.

Сизов обиженно спросил:

— Что ж, по-твоему, в нем должно было прорасти?

— Я тебя мало знаю. Я говорю теоретически... Не обижайся, Витя. Сейчас мне кажется, что самое чистое время — молодость: она еще не замутнена жизненным опытом. А потом...

— Что «потом»? — спросил Сизов.

— Ты сам знаешь, что потом... Разве нам удалось остаться такими, какими мы были? Это только легко, по привычке говорится — «друзья детства», «друзья юности». Для нашего поколения это не так уж определено. Друзья юности порой оказывались совсем не лучшими друзьями.

Сизов поднялся из-за стола.

— Пожалуй, мне пора.

И помолчав, добавил:

— Лена, у меня к тебе большая просьба. Ты бы не могла выйти со мной из дому?

— Зачем?

— Ну, пройтись немного по улицам. Все-таки мы с тобой столько не виделись...

Они идут по вечернему городу.

Путь их лежит по тем же самым улицам, по которым они гуляли когда-то в юности. И это уже не Виктор Петрович идет с Еленой Михайловной. Это — Витя и Лена.

Они идут, держась за руки.

Лена говорит:

— Через сколько, по-твоему, лет исчезнет на земле всякая мерзость? Лет через сорок?

— Ну да, хватила! Это же громадный срок — сорок лет, целая жизнь! Представляешь себе: сегодня кто-то родился в нашем городе, откуда же у него через сорок лет возьмутся серьезные пороки? А все остальное — буза, Ленка!..

И снова — Виктор Петрович рядом с Еленой Михайловной. На улице он чувствует себя свободнее, он не скован, как был только что в комнате.

С обочины тротуара подбегает к ним девчонка-цыганка. Она сует в руки Елены Михайловны цветы. Та отмахивается от девчонки. Сизов вынимает из корзины маленькой цыганки все букеты, платит ей, не глядя, и передает ворох своей спутнице.

Он так давно не покупал никому цветов, что ему кажется сейчас, что он совершил какой-то значительный поступок, круто изменяющий взаимоотношения. И ему приятно, что рядом идет женщина с огромным букетом в руках.

Сизов даже поправил на голове шляпу и незаметно потрогал узел своего галстука.

Они проходят мимо городского сада.

Сизов говорит:

— Если мне не изменяет память, в этом саду, в овраге, мы целовались.

Елена Михайловна отвечает.

— Тебе не изменяет память.

Пройдя несколько шагов, она добавляет:

— А оленей вовсе не доят.

— Каких оленей?— рассеянно спрашивает Сизов.

— Господи, какая чепуха иногда запоминается!.. В зоологическом саду, когда я восхитилась красотой оленей, ты равнодушно сказал, что их доят и даже есть план по молоку... И я ужасно обиделась за оленей. И почему-то за себя. А ты даже не заметил этого.

Они идут молча.

— Лена,— говорит Сизов,— я ведь приехал сюда без всякого дела. Просто так. Вышел из поезда — и все... Это оказалось сильнее меня. Понимаешь?

Она отрицательно качает головой.

— Ну, захотелось освежить в памяти,— виновато говорит Сизов.— Можно, я тебе завтра позвоню?

— Позвони.

Номер Сизова в гостинице. Ночь.

На тумбочке у постели горит неяркая лампочка под абажуром. Рассыпаны на тумбочке таблетки снотворного. Стоит стакан с водой.

Лицо Виктора Петровича на подушке, в тени. Он протянул руку, взял таблетку, запил водой.

Сизов лежит неподвижно. Возможно, он спит.

На постели, в ногах у него, возникает юноша — это Витя Сизов.

— Давай поговорим,— произносит Виктор Петрович.— Ты меня не узнаешь?

— Вы на кого-то похожи. Голос мне кажется знакомым. Где-то я уже слышал его.

— А лицо?

Юноша небрежно всматривается.

— Ладно. Черт с тобой,— нетерпеливо говорит Сизов.— Поговори со мной. Мне нужно понять, кто ты такой.

— А чего тут понимать,— снисходительно улыбнулся юноша.— Все очень просто. Я такой же, как все.

— Так не бывает,— подавляя раздражение, говорит Сизов.— Пойми, ведь я же могу быть полезен тебе.

— Если вы имеете в виду советы, то мне их и так хватает.

— Но я же знаю, чем все кончится!

— В каком смысле? — лениво потягиваясь, спрашивает юноша.

— Я знаю, через что тебе придется пройти.

Юноша засмеялся.

— Все старики почему-то любят пугать молодых людей. Еще скажите, что я пришел на готовенькое и что в ваше время было иначе и лучше.

— Мое время — это твое время! — отчаянным голосом говорит Сизов.— Поверь, пожалуйста, в чудо: я — это ты. И ты — это я.

Впервые юноша всмотрелся в него внимательно, он даже наклонился над Сизовым.

— Сколько вам стукнуло?

— Шестьдесят.

— Неплохо. Значит, впереди у меня целых сорок лет.

— Дурак! — вскрикнул Сизов.— Ты не успеешь оглянуться, как они пролетят.

— Вот это уже пошлость,— наставительно говорит юноша.— И я бы не хотел даже в шестьдесят лет произносить подобные штучки.

— Ты прав... Извини меня... Это ужасно, что мы не можем с тобой договориться... Неужели тебя не волнует твое будущее?

— Лично мое? Не очень. Как у всех, так и у меня.

— Боже, как ты глуп! — с тоской произносит Сизов.— Вряд ли из тебя что-нибудь получится..

Юноша язвительно улыбнулся.

— Между прочим, если верить вашим словам, то из меня получились вы.

Он поднялся.

— Да-да,— виновато кивает Сизов.— Погоди. Не уходи. Спроси меня хоть о чем-нибудь. Ведь нас разделяют четыре десятилетия!

Юноше скучно. Он задает вопрос из чистой вежливости:

— Мы полетим на Луну?

— Полетим... Но до этого будет война...

— И мы ее выиграем! — радостно кричит юноша.

Сизов сел на постели.

— Пошел вон, болван! — шепчет он.

Взяв с тумбочки две таблетки, он глотает их, запивает водой и ложится, закрыв лицо подушкой.

Гостиничный номер Сизова. Утро.

Виктор Петрович в пижаме отдает горничной свой костюм.

— Прошу вас погладить срочно.

Горничная ушла.

Сизов расхаживает по своему номеру. Он в некотором возбуждении. Быть может, сказывается привычка к каждодневной работе, а здесь, в этом городе, он лишен привычных занятий.

На письменном столе лежит листок бумаги, на котором, как всегда, составлен список предстоящих дел. Сизов подошел к столу и вымарал в списке «погладить костюм».

Следующим пунктом в листке записано: «9 часов вечера, под часами».

Зазвонил телефон.

Сизов взял трубку.

— Да.

Издали доносится голос:

— Мне Аркадия Викентьевича.

— Я же вам объяснял уже,— терпеливо говорит Сизов,— здесь, к сожалению, нет никакого Аркадия Ви-

кентьевича. Он, вероятно, выехал из гостиницы еще до моего приезда...

Голос в трубке сокрушается:

— Ах ты господи!.. Понимаете, какое дело, товарищ: я из района звоню. А у нас с вами связь только в восемь утра и ночью — никак не позвонить в служебное время... Как ваша фамилия, товарищ?

— Сизов.

Голос в трубке становится вдохновенным:

— Товарищ Сизов, у меня через сутки горючее кончается, тракторы заправлять нечем, хоть на соплях ездят... Будьте ласковы, товарищ Сизов, зайдите, пожалуйста, в сельхозуправление к Нестеренке, скажите: звонили из Карасевской РТС — он, шельма, знает... Какого черта они горючее не отгружают, я на десять целковых телеграмм им отправил!.. Ты только с ним не миндальничай, товарищ Сизов, он, зараза, вежливого разговора не понимает. А насчет Аркадия Викентьевича не беспокойся: пусть он только заявится, я ему такого хвоста наверху!.. Все! Привет.

Это было пробарабанено в таком бешеном темпе, что Сизов не успел вставить ни одного слова. Отодвинув слегка телефонную трубку от своего уха и морщась, он только слушал. Положив трубку на место, механически записал на листке: «Сельхозуправление. Нестеренко. Карасевская РТС».

Прошелся по номеру, сказал свое привычное:

— Значит, так... Забавно. На чем же мы остановились, Виктор Петрович?..

Учреждение. Конец рабочего дня.

В хорошо отглаженном костюме, со шляпой в руке стоит Сизов перед столом Нестеренко — человека с одутловато-туповатым лицом.

Строго спрашивает:

— Значит, вы утверждаете, что горючее отгружено сегодня утром? Это точно?

Робея, Нестеренко протягивает ему накладную.

Внимательно просмотрев, Сизов возвращает накладную.

— Надлежало сделать это вовремя.

Он надел шляпу, и только тогда Нестеренко частично опомнился.

— Вы из главка? — спрашивает он.— Документик, пожалуйста.

Объясняться с этим типом Сизову лень, да и было бы это долго. Он протягивает свое институтское удостоверение.

— Я доцент Сизов.

— Понятно,— кивает Нестеренко.— Значит, по линии связи науки с производством?..

Улица. Вечер. Это та самая улица и то самое место, где в подвале были когда-то «Механические бега и скачки», а нынче — «Библиотечный коллектор».

Под городскими часами прохаживается Сизов, ожидая Елену Михайловну. Бессознательно он репетирует первые слова, которые скажет ей, когда она подойдет.

Он шепчет:

— Если мне не изменяет память, под этими часами мы когда-то встречались с тобой...

Эта фраза не нравится ему — окончание ее похоже на романс. Поморщившись, он начинает снова:

— Если мне не изменяет память...

Из-за его спины раздается голос Елены Михайловны, она приблизилась незаметно:

— Вот и наши знаменитые часы, Витя.

Он берет ее под руку церемонно и торжественно.

Ресторан. Гремит оркестр.

Сизов с Еленой Михайловной только что прошли к свободному столику. Виктор Петрович придвинул ей стул. Все, что он делает сейчас для нее, доставляет ему удовольствие. Они сели.

Заказывая официантке ужин, Виктор Петрович обернулся к Елене Михайловне:

— Можно нам выпить вина?

— Конечно! Раз уж мы пришли с тобой в ресторан, давай кутить... Имей в виду, у меня есть с собой деньги.

— Лена! — укоризненно говорит Сизов.

Столика через два от них сидит какая-то сильно подгулявшая компания мужчин. Один из них все время прерывается встать и запеть «Стеньку Разина». Он уже несколько раз раскрывал свою пасть и неожиданно для его грузной фигуры тонким голосом начинал: «Из-за о-о-о...»

Друзья осаживали его на место, а сидя он петь не умел. Вся задача его собутыльников заключалась, очевидно, в том, чтобы не дать ему подняться со стула.

С живым любопытством Елена Михайловна поглядывает на загулявшую компанию, и Сизов, чувствуя себя ответственным за это соседство, пытается оправдаться:

— Вероятно, у них какая-нибудь радость на службе. Может быть, кто-нибудь из них получил премию...

Пришла официантка, принесла вино, еду.

Сизов уже выпил два бокала вина, да и Елена Михайловна пьет и ест с удовольствием.

Гремит оркестр.

— А я был вчера в твоей институтской лаборатории, — перекрывая шум, кричит Сизов.

— Так это, значит, ты?! — воскликнула Елена Михайловна. — А мой аспирант так описал тебя...

Она смеется. Чуть обидевшись, Виктор Петрович спрашивает:

— Интересно, что же он все-таки сказал?

— Не сердись, Витя. Ты стал очень обидчивый.— Она положила руку на его локоть и тотчас убрала ее.— Тебе понравилась работа моего аспиранта?

— Проблема занятная,— говорит Сизов,— но пока еще наивно решаемая. Мне кажется, вас обоих чрезмерно покоряет остроумие самого лабораторного эксперимента... Ой, Лена,— простодушно улыбнувшись, спохватился Сизов,— ну что мы будем рассуждать об этом под музыку? Выпьем!

Они выпили.

Вероятно, вино непривычно раскрепостило Сизова, жесты его стали шире и свободнее.

— Я перебираю свою жизнь, как перебирают крупу, держа ее на ладони и выскивая сорные семена,— говорит он, наклонившись к Елене Михайловне.— В стародавние времена у пожилых людей было одно преимущество перед молодыми: старикам казалось, что они чище и точнее прожили свою жизнь. Это преимущество утрачено мной, Лена. Да-да, я знаю: я выучил физике тысячи студентов, но ведь физика — всего-навсего наука. Она существует вне нравственных категорий и идеалов.

Оркестр загрохотал особенно сильно, Сизов раздраженно оглянулся, резко поднялся и пошел к музыкантам.

Дойдя до ниши, в которой расположился квартет, Виктор Петрович дождался конца мелодии и поманил к себе первую скрипку.

Музыкант перегнулся с помоста к Сизову.

— У меня к вам покорнейшая просьба,— сказал Сизов, доставая из кармана деньги и протягивая их музыканту.— Вот вам десять рублей, и, пожалуйста, не играйте полчаса. Совсем не играйте, понятно?

Равнодушно кивнув и взяв кредитку, музыкант вернулся на свое место. ПIANИСТ спросил:

— Что заказал этот чувак?

— Заказал тишину,— отвечает первая скрипка и прячет свой инструмент в футляр.

За ресторанным столом по-прежнему сидят Сизов и Елена Михайловна. Очевидно, прошли уже полчаса, ибо музыка снова набирает силу. Однако сейчас это не трогает Виктора Петровича.

— Ох, как вкусно ужинать вдвоем! Лена, тебе никогда не бывает тоскливо?

— Бывает,— подумав, отвечает она.— Еще как бывает!

— Какой же я был дурак,— смотрит на нее Виктор Петрович.— Леночка, я был ужасным глупцом, и ты должна была меня остановить! Ты должна была треснуть меня по затылку, чтобы я опомнился...

Она молчит, медленно отпивая вино.

— Я с тобой плохо обращался?

— По-моему, нет.

— Нет, ты, пожалуйста, вспомни точнее. Ты ведь сказала, что я тебя ужасно обижал.

— Я так не говорила. Я говорила, что ужасно обижалась, но это не значит, что ты меня обижал.— Она пьет вино.— Есть такая пошлая фраза: не сошлись характерами. Мы не сошлись характерами, Витя.

— Но в чем, ради бога,— в чем?

— Мне было плохо рядом с тобой. Мне было никак. Ты жил холодной логикой. Я никогда не видела тебя взволнованным, ты был как машина, образцовый студент, запоминающее устройство... Может, хватит?

Он вытер платком лоб.

— За последние годы я возвращался к этому сотни раз...

— Не преувеличивай, Витя.

— Знаешь, как странно,— настойчиво продолжает Сизов,— первое время я не жалел о разлуке с тобой. Это пришло позднее...

— А у меня наоборот. Я очень страдала первые годы, а потом успокоилась.

— Но ведь ты так и не вышла замуж? — Он смотрит на нее неотрывно. — Значит, ты все-таки любила меня?

— Я тебя любила.

— Если бы кто-нибудь мог нам тогда объяснить... Если б кто-нибудь рассказал нам, что самый трудный год брака — это первый год... Сейчас я все понял: у нас не было серьезных оснований для разлуки. Все какие-то пустяки. Гололед. Налипало, нависало и порвалось...

— Гололед, — улыбнувшись, повторяет она. — А с ним можно бороться только двумя способами: ток высокого напряжения или гидрофобное покрытие проводов... Не было у нас, Витя, ни того, ни другого...

Комната Вити Сизова и Лены. Ночь.

Слышно спокойное тихое похрапывание. Рядом со спящим Виктором лежит в постели Лена. Она не спит.

Похрапывание внезапно прекращается.

— Что с тобой? Почему ты плачешь? — спрашивает Виктор.

Она молчит. Он говорит, сдерживая раздражение:

— Но это же глупо, Лена, пойми... Нам же обоим на работу. Спи, пожалуйста.

Лена вскакивает с постели, накидывает халат и уходит на узкий, короткий диван. Виктор закурил.

— Я не понимаю твоих претензий. Чего ты хочешь? Все так живут, как мы. Решительно все.

— Я не хочу, как все. Я хочу, как мы.

Глядя на вспыхивающий и гаснущий огонек папиросы, Лена чуть-слышно шепчет:

— Ну, подойди ко мне... Неужели ты не понимаешь, что сейчас надо непременно ко мне подойти... Я считаю до трех, если ты не придешь до трех — значит, все, значит, ты меня действительно не любишь...

Папироса гаснет. Слышно похрапывание.

Столик в ресторане. Сизов и Елена Михайловна. Вокруг плотная толпа танцующих пар.

Однако Сизов не замечает суеты, не слышит и гула. Его словно прорвало.

— Я хочу знать, Лена, я хочу понять, как я прожил свою жизнь. Глупо считать, что все было закономерно. Нельзя жить каждый раз с нового отсчета: по нулю, и пошел дальше. Мне кажется, я жил не так, и ночью я произношу речи, вымарывая свои ошибки. Сколько их, этих ночных речей, я произнес под грохот своего сердцебиения! Двери высочайших приемных распахивались передо мной настезь. Трибуны ораторов освобождались для меня тотчас. Я ничего не просил для себя. Простота моей ночной логики сводилась к тому, что порядочному человеку должно быть хорошо, а негодяю — плохо. Я отдавал под суд клеветников, я снимал с пайка бездарных лицемеров и циников...

У него пересохло горло, он жадно допил вино.

Елена Михайловна тихо сказала:

— Лучшие свои поступки, Витя, мы часто совершаем под утро, в постели, с открытыми от бессонницы глазами...

— Леночка, но ведь и наяву мы же хотели и хотим, как лучше, — жалобно сказал Сизов.

Проталкиваясь сквозь толпу танцующих, к столику Сизова движется молоденький аспирант. Он тянет за собой за руку девушку. Они то пропадают в колышущейся толпе, то снова выныривают.

— Здравствуйте, Елена Михайловна, добрый вечер!

Аспирант возник наконец рядом со столиком.

— Тоня, это Елена Михайловна, ты ее знаешь, познакомься, пожалуйста, — велит он девушке.

Аспирант узнал Сизова, поклонился ему, но, находясь в обалдело-восторженном состоянии, даже не успел подивиться тому, что Елена Михайловна оказалась почему-то в ресторане с приезжим доцентом.

— Я вас тоже знаю,— приветливо сказала девушке Елена Михайловна.— Вы учитесь на четвертом курсе медицинского, и ваш любимый предмет — хирургия.

— Уже разболтал! — шепнула девушка, толкнув аспиранта локтем.

— Товарищи, она вчера сделала такой отличный доклад! — воскликнул аспирант.— С ума сойти!

— Коля, перестань! — Она дернула его за рукав.— Никому это не интересно... Ты ведешь себя неприлично!

— Да почему? Раз ты сделала отличный доклад, все должны знать, и всем это очень интересно. Тоня давала мне читать, мне жутко понравилось!..

— Коля, я тебе в последний раз говорю — сейчас же прекрати!

— Вы его не останавливайте,— говорит Елена Михайловна.— Пусть он подольше восхищается тем, что вы делаете.

— С ним совершенно невозможно разговаривать,— пожаловалась Тоня.— Мы шли сейчас по набережной, и я сдуру сказала, что мне не нравится его шляпа, которую он сегодня купил. Он взял ее и бросил в реку. А потом милиция будет думать, что кто-то утонул...

Несмотря на ее возмущенный тон, ей было приятно, как он обошелся со своей плохой шляпой.

— Может, вы сядете с нами? — предлагает Сизов; он уже давно стоит, держась за спинку своего стула.

— Нет, нет,— торопится Тоня.— Спасибо большое. Коля, нам надо идти.

— Сейчас, Тонечка. Я только скажу два слова Елене Михайловне. Простите, пожалуйста,— он наклонился к Елене Михайловне и тихо сказал: — Я без вашего разрешения подробно не разговаривал с этим доцентом. Вообще-то он производит хорошее впечатление. Я прочитал две его толковые статьи в «Успехах физических наук». Может, стоит уговорить его, чтобы он сделал у нас на кафедре сообщение?

— Подумаем,— кивает Елена Михайловна.

Попрошавшись, молодые люди уходят.

Они снова пробираются сквозь буйную толпу танцующих. Аспирант обнял Тоню, он оправдывается:

— Да мы же не помешали им, они же по делу пришли. Я тебя уверяю — по делу...

— Ну, ты только, пожалуйста, мне не рассказывай. С такими глазами не сидят по делу. Я видела, как он на нее смотрел. Ты так никогда не умеешь...

За столиком Сизов спрашивает:

— Они женаты?

— Жених и невеста,— отвечает Елена Михайловна.— Он очень способный юноша. Дай бог им счастья.

— Давай выпьем за их здоровье.

Они чокнулись и выпили.

— Как бы это сделать так,— говорит Сизов, мучительно растирая лоб,— чтобы научить людей... Чтобы научить людей ценить все это, бережно относиться друг к другу... Неужели надо стать калекой, чтобы понять?.. Лена, выходи за меня замуж.

— Ты серьезно?

Она изо всех сил старается не улыбнуться...

— Я знаю, это звучит сейчас глупо. Но я совершенно серьезно разговариваю с тобой. Может, тебе трудно ответить немедленно,— поспешно добавляет Сизов.— Ты подумай... Я столько ждал, что могу подождать и еще. Я буду писать тебе... Писать и ждать.

— Ох, Виктор,— сказала Елена Михайловна.

— В каком смысле «ох»?

— Я представила себе выражение твоего лица, если бы сейчас сказала: ладно, я согласна. Ты, пожалуйста, не обижайся, что я смеюсь...

— Это действительно странно. Мы с тобой не дети.

— Витя, милый,— она положила руку на его локоть и долго не убирала ее.— Это ведь ты не мне делаешь предложение. Ты приехал в город своей юности, и тебе

кажется, что все вернулось наново. Вернее, тебе хотелось бы вернуть все наново, и теперь уже начисто...

— Хорошо,— упрямо говорит Сизов.— Я подожду. Ты права, что не веришь мне. А я прав, что верю себе...

И вот они стоят в вестибюле ресторана у гардероба. Сизов уже в плаще. Он поджидает Елену Михайловну, одевающуюся подле зеркала.

Тут же неподалеку шумит та самая загулявшая компания, что сидела через два столика от них. Человек, страстно желавший спеть «Стеньку Разина», стоит в кожаном пальто. Он молчит сейчас и, пожалуй, ничем не напоминал бы пьяного, если бы не одна мелочь: он стоит, совершенно не пошатываясь, но под таким углом к полу, что ни одному человеку в трезвом виде не устоять бы в подобном положении.

До ушей Сизова доносится:

— Пошли, Аркадий Викентьевич! Пошли ко мне, дома доберем!..

Быстро обернувшись, Сизов видит, что обращаются к человеку в кожаном пальто.

Шагнув к нему, Сизов сухо и отрывисто спрашивает:

— Вы работаете в Карасевской РТС?

Услышав название своего места работы, человек поднял на Сизова жалкие глаза и кивнул.

— Какая мерзость!— жестко сказал Сизов.— Вы напились как свинья. Вы не выполнили того, что вам было поручено. Немедленно, сегодня же извольте отправляться к себе в район!

И Сизов отошел к Елене Михайловне, взял ее под руку, они направились к выходу.

Один из собутыльников Аркадия Викентьевича спрашивает его шепотом:

— Это кто такой?

— Ревизор,— трезвым упавшим голосом отвечает Аркадий Викентьевич.— Опять выгонят к чертям собачьим...

Идут по улице Сизов с Еленой Михайловной. В ночной тишине стучат их каблуки.

— Помнишь,— говорит Сизов,— как ты продала из-за меня свои туфли?

— Помню.

— Я был тогда ужасной скотиной. Прости меня, пожалуйста, я совершил гадость.

— Неправда. Кажется, это был твой единственный легкомысленный поступок за всю нашу жизнь.

Они идут.

— Витя, а ты по-прежнему записываешь на листочке все, что тебе надо сделать на следующий день?

— Записываю.

— Я как-то дописала в твоём листочке: «Поцеловать Лену перед сном».

— И я это сделал?

— Нет. Я порвала листок.

Они свернули к мосту. Сизов замедлил шаги у перил, смотрит в темную воду.

Он робко спрашивает:

— А может, все дело в шляпе?

— То есть? — не поняла Елена Михайловна.

— Может, все дело в том, что я никогда, по-твоему, не смог бы выбросить новую шляпу в речку?.. Ну, хочешь, брошу?

Он снял шляпу и неловко замахнулся ею. Елена Михайловна отобрала ее и надела на его голову.

По гористой Садовой улице они дошли до порога дома, попрощались молча. Хлопнула дверь за Еленой Михайловной.

Медленно и устало идет Сизов. Проходя под акацией, он срывает на ходу стручок, останавливается под фонарем и, раскрыв ногтем стручок, очищает его от зерен, как делал это когда-то в детстве. Затем приложил этот «пищик» к губам, дунул, попробовал записать, но у него ничего не получилось.

СТАЖЕР



Перед небольшим стенным зеркалом в прихожей стоит юноша лет двадцати. Он щупловат, невысокого роста — в зеркале виден не полностью, ему приходится сейчас тянуться, чтобы повязать на свою ломкую шею галстук. От старательности Саша Овчаренко даже открыл рот и высунул на сторону кончик языка. Новая рубашка мешковато топорщится на его груди. С галстуком у него определенно не ладится.

Дверь из прихожей приоткрыта в комнату. Здесь за столом готовит уроки девочка в школьном переднике. Она искоса насмешливо поглядывает на брата.

— Господи, ну кто же так делает?!

Вскочив, подбежала к нему.

— Стой смирно. Не верти головой! — командует Лида.

Покуда она ловко завязывает ему галстук, он нетерпеливо посматривает на свои часы, поднеся руку к глазам.

Лида окинула его критическим взглядом с ног до головы.

— Почисти туфли.

— Ладно, обойдется.

Он подхватил новенький огромный портфель, заглянул в него — пусто вато пока, — застегнул клапаны и исчез.

Вниз по лестнице, с портфелем в руках, мчится Саша Овчаренко, перемахивая через ступеньки. Последний марш съезжает, присев на перила.

Выбежав из подъезда, он торопится по людной дневной улице к приближающемуся троллейбусу. На остановке полно народу, Саша вскочил в дверь последним, она захлопывается за ним, оставив на весу, снаружи, его руку с портфелем.

Проехав несколько метров, троллейбус останавливается, дверь распаивается, и в динамике раздается злой голос водителя:

— Прекрати безобразие, парень! Если сейчас же не выйдешь, дам милиционеру!..

Вытесненный на улицу, помятый, Саша бежит к следующей остановке.

Против письменного стола сидит в неудобной позе худенький Саша Овчаренко. Волосы его тщательно причесаны, но на макушке торчит встрепанный хохолок, очевидно приобретенный им в троллейбусе. Саша опустил на стул, не угодив от неловкости в середину сиденья, и теперь ему хотелось бы вдвинуться поудобнее, поглубже, однако он стесняется сделать это.

Чей-то негромкий вежливый голос спрашивает его:

— Значит, пятый курс? На практике впервые?

Саша кивает.

— Надо полагать, пошли на юридический по призванию?

— Я еще с восьмого класса надумал...— Он начал было доверчиво улыбаться, но тотчас, очевидно решив, что это как-то несолидно выглядит, сурово сдвинул брови.

— Если не секрет, что именно привлекло вас к данной профессии?

— Привлекла возможность активной борьбы с преступностью.

В тоне молодого практиканта прослушивается студенческая старательность: он убежден, что именно так следует отвечать в подобных обстоятельствах.

— А не кажется ли вам, Александр Семенович, что это слишком общо звучит? И чуточку слишком красиво?

За столом сидит начальник следственного отделения капитан милиции Селезнев. Наружность у него штатская, костюм штатский, он в очках, поджарый, лишен какой бы то ни было молодцеватости и больше смахивает на молодого научного работника, нежели на капитана милиции.

Саша смущенно умолк.

— Расскажите-ка, пожалуйста, немного о себе,— говорит Селезнев.

— Что именно? — спрашивает Саша.

— Да что хотите. Спортом увлекаетесь?

— Играю немножко в волейбол. И в настольный теннис. Так, для себя.

— Живете с родителями?

— С мамой... С матерью,— быстро поправил себя Саша.— И с сестрой...

— А отец?

— Отец ушел от нас, когда мне было десять лет.

— Понятно,— сказал Селезнев.— Если мой вопрос огорчил вас, прошу извинить... Ну, а в какой области нашей следственной работы вы хотели бы проходить практику?

— Мне трудно сказать.

Селезнев улыбнулся.

— Вероятно, мечтаете участвовать в расследовании какого-нибудь сложного уголовного дела: убийство, грабеж, крупное хищение?

— Да нет, мне в общем-то... Я как-то не задумывался...

- Детективной литературой увлекаетесь?
- Особо — не скажу, но попадаются интересные книжонки. Я больше люблю стихи.
- Евтушенко, что ли?
- Лермонтова.
- Ясно, — сказал Селезнев.

Ничего ему еще не было ясно, да он и не ожидал особой ясности от этого первого прикидочного разговора с зеленым практикантом. Столько их прошло перед Селезневым за годы его службы, и так по-разному выстраивались затем их характеры и судьбы, что он приучил себя не слишком доверять своему первому впечатлению. Вопросы, которые он задавал этим молодым людям, сложились у него давно — он мало разнообразил их, отлично понимая, что, какой бы вопрос ни был им задан, взволнованный юнец сочтет его сугубо индивидуальным, придуманным исключительно для него.

Самым же важным в этой первой беседе Селезнев полагал, пожалуй, то напутствие, которое он произносил обычно в заключение. Оно тоже сложилось не сейчас, а давно, в результате служебного опыта, но в это напутствие Селезнев уже всякий раз вносил коррективы, сообразуясь все-таки со своими впечатлениями от первого знакомства.

И сейчас, глядя на этого раздумявившегося и встрепанного юношу — с ним, надо полагать, достанется немало возни, — Селезнев суховато начал:

— Вот о чем я хотел бы предупредить вас, Саша. В нашей работе поэзия начисто отсутствует. И заниматься вам придется грубейшей прозой жизни. «По небу полуночи ангел летел» — это Лермонтов не про нас сочинил. День у вас будет ненормированный. И в том смысле ненормированный, что даже в свободное от работы время вы все равно никуда от нее не денетесь — она будет сниться вам. Это — первое. Второе: в ваших руках сосредоточится немалая власть. А это — штука

чрезвычайно острая и опасная. От нее порой мутится в башке, простите за грубость. И третье: главным в вашей работе будет то, чему вас не учили в институте,— умение общаться с самыми разноликими людьми. Умение понимать, чем они живут. Ясно?

— Ясно,— кивает Саша.

Селезнев поморщился.

— Откровенно говоря, не думаю, что вы так уж ясно представляете себе, какая тяжелая и ответственная работа вам предстоит.

Он посмотрел на Сашу.

— Напугал?

— Нет,— отвечает Саша.

— Жаль. Уж лучше бы вы испугались вначале, а потом это постепенно бы ушло.

Он взял со стола папку, очевидно загодя приготовленную, и протянул ее практиканту.

— Разберитесь, пожалуйста, с этим. Тут два свежих материала, поступившие в наш райондел только на днях.

Саша открыл тоненькую папку — в ней совсем немного бумаг,— он быстро проглядел их и, подымаясь, бойко спросил:

— По ним надо возбуждать уголовные дела?

Селезнев развел руками:

— Свою точку зрения, товарищ практикант Овчаренко Александр Семенович, надлежит вырабатывать самостоятельно. И, выработав, отстаивать.

— А если я ошибусь? — спросил Саша.

— В нашем деле ошибаться не положено.— Селезнев поднялся, чуть-чуть улыбнувшись.

И Саша пошел к дверям уверенным, как ему казалось, и деловитым шагом, держа в одной руке большой пустой портфель, в другой — папку.

Селезнев снял телефонную трубку, набрал короткий номер.

— Кирилл Иванович, зайти на минутку ко мне.

Перед столом Селезнева стоит Кирилл Иванович Гордеев — старший следователь райотдела внутренних дел. Это хмуроватый немолодой человек, лет на десять постарше Селезнева, однако они в равных званиях.

— Как у тебя с овощами? — спрашивает Селезнев.

— Потихоньку двигаюсь. Пока три эпизода, но там должно быть больше. На завмага я уже вышел.

Селезнев полистал календарь на столе.

— Знаешь, какое сегодня число?

— С утра было двадцатое.

— Конец месяца, скоро бабки подбивать. Истечет санкция прокуратуры, сам пойдешь к ним вымалывать продление... Теперь вот что, Кирилл Иванович. Я к тебе в кабинет посажу одного парнишку...

— Новенький?

— Ага. Ты уж присмотри за парнем, Кирилл. Я тут побеседовал с ним, по-моему, он еще совсем сырой.

— А что ты ему дал для начала?

— Один мелкий грабеж и одно бытовое.

— С улицы Разина, дом пятнадцать?

— Именно.

— Хитер, — хмуро улыбнулся Гордеев.

Кабинет следователей.

Два стола в разных концах комнаты. За одним из них — Саша Овچارенко. В пишущую машинку, стоящую перед ним, вправлен лист протскола допроса.

По другую сторону стола, устало откинувшись на спинку прямого стула и безвольно вытянув руки на колени, сидит худенькая женщина лет сорока; по ее лицу текут привычные слезы, она не вытирает их, да, вероятно, и не чувствует их.

Она продолжает говорить монотонно, как человек, которому часто приходится повторять обстоятельства своего горя:

— Тверезый, он пальцем никого не тронет, а как нахлещется вина, мы с дочкой — неродная она ему — цельную ночь по улице ходим...

— Когда это произошло у вас в последний раз? — спрашивает Саша.

— Третьего дня произошло. Явился домой в десятом часу вечера, дочку я только спать уложила, вижу, он сильно хвативши, говорю ему сперва по-хорошему: Вася, пожалел бы ты хоть ребенка, я тебе постелю сейчас постель, ляжешь, проспишься... А он — поверите, милый, — подхватил со стола тарелку с борщом — я же для него и приготовила — и об пол! Что же, говорю, ты, паразит, делаешь? Где же, говорю, я на тебя посуды напасусь, последняя была глубокая тарелка, все перекуделил! Ну тут у нас и пошло! Схватил он со стола нож и стал гоняться за мной по комнате...

Все то время, что несчастная женщина, всхлипывая, рассказывает, мы видим за вторым письменным столом склонившегося над бумагами человека — он пишет, не подымая лица. Сейчас он выпрямился — это Гордеев, — снял с аппарата телефонную трубку, набрал номер.

— Отдел кадров? Старший следователь Гордеев. Я вас, товарищ, кажется, еще на прошлой неделе просил прислать мне характеристики на двух работников овощного магазина вашего пищеторга. То есть как это недостаточно знаете их? Тогда извольте написать официальную справку, что вы отказываетесь...

Покуда Гордеев разговаривает по телефону, Саша Овчаренко стучит на машинке, записывая рассказ плачущей женщины. Мы видим в листе протокола «Допрос потерпевшей» последнюю фразу: «...схватил со стола нож и стал гоняться за мной по комнате».

— Какой нож? — спрашивает Саша.

— Которым хлеб режут.

— Длинный, с острым концом?

— Кончик у нас обломившись: Вася открывал им консервы-бычки и обломил.

Саша стучит на машинке: «Нож был кухонный, с обломанным концом».

— Рассказывайте дальше,— говорит он.

— А чего дальше? Сил моих больше нету... Не знаю, милый, как и жить-то: кругом люди как люди, праздники справляют, ходят в кино, телевизор берут в рассрочку, а он, зверь, снял покрывало с кровати, снес в буфет-забегаловку, налили ему там литр бормотухи — разве ж это возможно?..

Гордеев вышел из кабинета, идет по коридору райотдела. Здесь на скамьях и на стульях сидят люди, вызванные в милицию, и те, кто пришел сам. Для Гордеева это обычная картина, он не задерживает своего внимания на посетителях.

Открыв ключом одну из соседних комнат, Гордеев быстро вошел, снял телефонную трубку внутреннего аппарата, набрал короткий номер.

В кабинете Саши Овчаренко зазвонил телефон. Саша взял трубку.

— Следователь Овчаренко! — рапортует он: ему уже не раз доводилось слышать, что именно так откликаются по телефону опытные работники.

В соседней комнате Гордеев говорит в трубку:

— Это все распрекрасно, что ты себя следователем именуешь. Но только я хотел посоветовать тебе: не порть ты с этой бабой бланк протокола допроса... Как

там у тебя слышимость — аппарат не фонит, она ничего не слышит?.. Ты лучше спроси у нее, в который раз она приходит к нам в райотдел? И намерена ли нынче подтвердить на суде свои показания? А также вводи ее в берега, а то проканителишься с ней, она тебе полную комнату наговорит...

Быстро взглянув на женщину и увидев, что она поглощена своим горем, Саша тихо произносит в трубку:

— Кирилл Иванович, в тактике допроса есть понятие «свободного рассказа»...

— То в тактике, а я тебе говорю — в практике! — слышится досадливый голос Гордеева.

Саша Овчаренко положил в своем кабинете трубку.

Женщина продолжает рассказывать:

— Покрывало пропил, плащ мой болонью тоже пропил, два полотенца махровые, и еще обзывается — я, говорит, не обязан твою паразитку кормить...

Саша спрашивает:

— Скажите, Марья Александровна, а вы раньше приходили с жалобами на своего мужа в наш райотдел?

— Ой, милый, и куда я только не ходила! Ведь мы прежде хорошо с ним жили, пока он не принялся вино пить. У него руки золотые — пятого разряда маляр, и на работе его все уважали... А как стал закладывать, уже десятое место сменил...

— Погодите, Марья Александровна, давайте по порядку. Значит, он взял со стола нож с обломанным концом и бросился на вас?

— Бросился, — кивает женщина.

— Дальше.

— Дочка моя проснулась, заплакала, кинулась ему под ноги, кричит: дядя Васенька, не надо! А он отшвырнул ее — это шестилетнего-то ребенка...

— Ударил ее? — спрашивает Саша, печатая.

— Нет, не ударил, только отшвырнул в сторону. Кабы ударил, я б его убила, чем ни попадя убила б...

Она плачет горько и безысходно.

Саша протягивает ей стакан воды.

— Так все-таки давайте закончим эпизод с ножом.

— Простите меня,— отпив воды и расплескав ее себе на плащ, говорит женщина.— Мне ведь и погордиться-то некому, одна я на всем белом свете, ради ребенка только и живу...

— Но ведь вы сами говорите, что приходили в милицию с жалобами на мужа. Неоднократно приходили?

Она кивает.

— А разве милиция не принимала никаких мер?

— Принимала. Десять суток давали. Пятнадцать суток — тоже... Вернется — сперва вроде потишее, а потом еще того хуже: ты, говорит, меня легавым продаешь, я, говорит, для тебя — никто... Видите, какое дело — он ревнует меня, что ребенок не от него.

Саша спрашивает:

— Ну а почему вы продолжаете жить с ним, если он с вами так обращается?

— Жалею его,— отвечает женщина.— Жалею ирода...

Помолчав мгновение, Саша спрашивает:

— А ножом-то он все-таки ударил вас или не ударил?

— Нагнал он меня, когда я вокруг стола бегала, ухватил за волосы, хотел бросить на пол, но только мы вместе упали, я, конечно, кричу, дочка уже в коридоре плачет, прибежали соседи... Сраму-то, господи!

— Разве они впервые слышали скандал в вашей комнате?

— Какое — впервые! Так ведь все равно совестно от людей. У нас хорошие в квартире соседи. Отняли они у него нож, а он скрипит зубами: зарежу тебя не сегодня-завтра...

Саша стучит на машинке.

— Все, что вы мне рассказали, вам надо будет потом подтвердить на суде. Это, очевидно, вам известно?

Он вынул лист из машинки, протянул его женщине.

— Прочитайте, Марья Александровна, и вот здесь внизу напишите: «Мои показания мною прочитаны, записаны они верно, в чем и расписываюсь». А если вы с чем-нибудь несогласны, скажите, я исправлю.

Женщина читает. Подняла голову.

— А когда суд-то будет?

— Точно сказать не могу, но, вероятно, скоро. Я опрошу свидетелей — ваших соседей по квартире, возьму характеристики по месту работы и месту жительства вашего мужа — это займет немного времени.

— И сколько же Васе дадут?

— Срок определит суд. А статьи, по которым ему будет предъявлено обвинение, две: двести шестая, часть вторая — хулиганство с особой дерзостью, и двести седьмая — неоднократные угрозы убийством...

Проходная следственного изолятора. Солдат конвойных войск сидит в небольшой застекленной комнате-дежурке, оконца которой выходят на две стороны — к дверям с улицы и к проходу в тюрьму. Перед солдатом — пульт со множеством тумблеров.

Солдат смотрит последнюю страницу «Огонька», решая кроссворд.

Хлопнула входная дверь с улицы, вошли Гордеев и Саша Овчаренко.

— Давай твои «корочки», — говорит Гордеев.

Он протягивает в оконце два удостоверения. Солдат нажал тумблер на пульте — над дверью, ведущей внутрь тюремного прохода, зажглась электрическая надпись: «Прошу пройти».

Щелкнул автоматически отпертый замок.

Войдя в эту дверь и пройдя по коротенькому коридору, Гордеев с Сашей оказались в небольшом дворе. Тяжелое кирпичное здание тюрьмы старинной кладки, с улицы невидное, а здесь возникшее перед Сашиними глазами, словно бы придавило его.

Они пересекли этот узкий, пустой заасфальтированный намертво дворик — ни деревца здесь, ни кустика — и вошли в подъезд.

Снова и снова предъявляются на конвойных постах «корочки»-удостоверения. Длинные, до лоска чистые коридоры с бесконечными поворотами, каменные лестницы с вытоптанными ногами арестантов ступенями — этой тюрьме добрых, вернее недобрых, двести лет — уводят все дальше и глубже в самое нутро изолятора.

— Страшновато здесь, — говорит Саша.

Гордеев мельком, на ходу, взглянул на него.

— Это тебе по первому разу. А вообще-то честному гражданину не должно быть страшно. Что же касаемо всякого жулья, то для того и тюрьма, чтобы он ее боялся.

Они прошли еще немного, коридор внезапно расширился, превратившись в нечто вроде огромного зала, куда выходят десятки дверей следственных кабинетов.

— Между прочим, — говорит на ходу Гордеев, — к твоему сведению, в камерах имеются шахматы, шашки, радио. А также библиотечка снабжает заключенных книгами и газетами. Иной гад того дома не имеет, чего ему дают здесь. Харчи, конечно, поживе — так ты не воруй, не грабь, не занимайся хищничеством. Верно я рассуждаю, товарищ практикант? — улыбнулся Гордеев и дружелюбно положил руку на Сашино плечо.

— Верно, — тихо отвечает Саша.

Подле открытой двери пустой следственной камеры они остановились.

— Вот на сегодня твой кабинет. Располагайся. Сейчас приведут сюда твоего заключенного. — Гордеев вни-

мательно взглянул на Сашу.— Ты не робей, друг. Дело у тебя простое: мелкий грабеж, фабула несложная, один эпизод. Вот с той гражданочкой, по бытовому с улицы Разина, ты еще намаешься, а здесь — ерундови-на. Главное — наладь психологический контакт с обвиняемым, расположи его к себе. И протокол оформляй как следует, а то Селезнев с тебя шкуру спустит, ты не смотри, что он такой ласковый... В случае, захочешь по-советоваться — я в третьей камере своих торгашей разматываю. Ох, доложу тебе, и жулики — пробы на них негде ставить!.. Богатейшая у нас страна: сколько ни воруют, а все еще остается!..

Саша оказался один в следственной камере. Это обычная комната, ничуть не похожая на тюремную, разве только решетка, расположенная между рамами большого светлого окна, напоминает об отсутствии свободы. Да еще, если присмотреться, можно заметить, что лаконичная обстановка этой комнаты — стол, два стула, табурет — привинчены наглухо к полу.

Саша увидел все это тотчас, куда раскладывал на столе бумаги, папку и добыл из недр своего большого новенького портфеля портативную машинку с инвентарным номером райотдела. Стоя, он еще успел украдкой заглянуть в книгу «Тактика допроса», заложенную вкладками в нескольких местах. Затем прикрыл ее на столе газетой.

Сев за стол, он вправил в машинку чистый бланк протокола допроса.

В камеру вошел, сопровождаемый сзади женщиной-конвойной, высокий молодой парень, русоволосый, с лицом, не лишенным приятности, пожалуй, лишь слишком бледный, как бывают бледны люди, живущие без чистого воздуха.

— Здравствуйте. Садитесь, пожалуйста,— говорит Саша, указав на табурет перед столом.

Парень сел. Конвойная вышла из камеры.

— Давайте знакомиться: следователь Овчаренко,— представился Саша.— Попрошу вас сообщить анкетные данные о себе. Фамилия, имя, отчество?

— Игнатъев, Федор Ильич.

— Год рождения?

— С пятьдесят четвертого года.

Быстро печатая ответы парня, Саша задает ему еще два-три анкетных вопроса, вслушиваясь не столько в содержание ответа, сколько в тон парня.

— Образование?

— Девять классов.

— Комсомолец?

— Платил членские взносы.

— Место работы, должность?

— В таксопарке, автослесарь.

Заполняя первую страницу протокола допроса всеми этими установочными данными, которые были уже известны Саше загодя из материалов дела, он украдкой поглядывает на Игнатъева. В память Саши крепко врубилась цитата из «Тактики допроса»: «Во время записи анкетных сведений следователь производит как бы разведку психологии допрашиваемого: выясняет, какой тип этого человека — открытый, скрытый, мрачный, оптимистичный...»

Взглянув еще раз на парня, Саша закончил печатание.

Он кашлянул для солидности, закурил и начал:

— Расскажите, Игнатъев, что произошло с вами в субботу, восемнадцатого мая, около десяти вечера, возле магазина «Гастроном» на улице Куйбышева?

— С какого места начинать?

— Вы пришли к этому магазину один?

— Двое мы пришли.

— Кто был кроме вас?

— Коромыслов Петр.

— А куда же девался Иван? — спрашивает Саша.

— Какой Иван?

— Томилин. Тот, с которым вы вместе, втроем, распивали в этот вечер спиртные напитки в подъезде дома на углу улицы Печатников и Мухинского переулка.

Игнатьев молчит.

— Сколько вы выпили тогда?

— Я лично? Красного полкило. Ну, бутылку, значит.

— И больше не добавляли?

— Грамм по двести старки добавили.

— И что было дальше? Рассказывайте все по порядку, как было дело. Ставлю вас в известность — чистосердечное признание облегчит вашу участь.

— Так чего рассказывать, вы и так все знаете... Ну, выпили мы, пошли гулять. Гуляли нормально, никого не трогали. А около гастронома стоит гражданин, курит. Я подошел к нему с Петькой Коромысловым, попросили мы прикурить. Он чиркнул зажигалкой, Петька стал прикуривать, а я снял с гражданина меховую шапку и побежал. Петька — за мной...

— Минутку, — перебил его Саша. — А гражданин не погнался за вами?

— Не погнался.

— Почему?

— Он с палочкой был. Хромой. Бежать он за нами не побежал, а только закричал вслед, чтоб задержали.

Саша спросил:

— Что именно он крикнул?

— Крикнул: «Держите эту сволочь!» А Иван стоял в подворотне напротив, он и бросился за нами следом...

— Это вы, значит, заранее договорились, чтобы ограбленный гражданин подумал, будто Томилин Иван хочет задержать вас?

— Да нет, ничего мы не договаривались: увидели ребята, что я бегу, ну и они все побежали.

— А Коромыслов, который прикуривал, знал, что вы сейчас сорвете шапку?

— Не знал.

— Значит, по-вашему, получается, что из всех троих только вы один и сообразили ограбить человека?

— Я один...— Игнатъев широко улыбнулся.— Да и какой это грабеж, товарищ следователь? Так, озорство, по пьянке... Молодежь же мы... Может, я б ему и вернул потом шапку, кабы он меня сволочью не обругал. Шапка, между прочим, была хреновая, старая...

— А скажите, Игнатъев, когда вы ее срывали, зачем ударили человека кулаком в лицо?

— Не бил я его. Брехня это.

— А почему у него лицо оказалось в крови?

— Ну, может, случайно и задел локтом, когда брал шапку.

Неволью сорвавшись, Саша произносит чуть повышенным голосом:

— Брал шапку! В магазине ты, что ли, ее брал?.. Ладно, продолжим. Что было дальше?

— Зашли мы в «Дунай», сели за столик. Тоська подала нам портвейну, салат принесла, котлеты.

Саша спрашивает:

— Кто платил?

— Я платил. Получка у нас в парке была, при деньгах я был.

Игнатъев поднял глаза на Сашу, сообразил, очевидно, что врать в этом пункте бессмысленно, и сказал:

— Шапку я дал Тоське. Она мне за нее тридцатку принесла.

— Принесла она вам тридцать пять рублей. Может, хотите прочитать показания официантки Антонины Гуляевой?

— На кой они мне,— мотнул головой Игнатъев.

— Значит, за старую, как вы утверждаете, хреновую шапку вами было получено тридцать пять рублей. Дорого в «Дунае» расцениваются головные уборы!

— Поди достань ее, меховую,— из ондатры она была.

— Значит, и не такая уж старая?

Игнатьев молчит.

— Потерпевший купил ее за два дня до того, как вы его ограбили. Врал бы уж полочнее... Официантку Антонину Гуляеву давно знаешь?

— Не подсчитывал.

— А сколько раз приносил ей со своими дружками награбленное — подсчитывал?

— Вы на меня голоса не повышайте. Я прокурору пожалуюсь. Не на маленького нарвались. У меня пять благодарностей в парке, я прошлый год на доске Почета висел...

Что-то окончательно сорвалось в душе практиканта Саши Овчаренко — остановиться ему уже трудно. Он резко вынул из своей папки чистый лист бумаги, протянул его рывком Игнатьеву:

— На, пиши жалобу! Пиши, что я согласен с тем, как тебя обозвал потерпевший, когда ты его — старого, хромого, больного! — бил и грабил. Да еще напали троим на одного!..

Квартира Овчаренко. Вечер.

Зинаида Петровна проверяет за столом ученические тетради — большая их стопка лежит рядом. Хлопнула входная дверь, вошел Саша, усталый, с тяжелым портфелем в руках.

— Почему так поздно? — не оборачиваясь, спрашивает Зинаида Петровна.

— Ты меня каждый вечер спрашиваешь об этом.

Мать удивленно обернулась на его досадливый тон и спокойно сказала:

— Поешь. Обед на кухне.

Он прошел в кухню, открыл одну кастрюлю, другую, вынул из духовки латку. Не присаживаясь, тут же у плиты ест.

Из комнаты раздается голос матери:

— Неужели так трудно разогреть еду и поесть сидя?

Он зажег горелки, погрел немного обед и сел в кухне за стол.

Появилась Зинаида Петровна.

— Что с тобой происходит, Саша?

— Ничего особенного. Все в порядке, мама.

Она моет посуду и тихо произносит:

— Растишь детей, а они уходят от тебя все дальше и дальше. Даже Лида в свои пятнадцать лет уже считает, что я не могу ее понять.

— Дуреха она. Кстати, почему ее нет дома?

— Она во Дворце пионеров.

— А ты знаешь, с кем она там водится?

— Что значит «водится»?

— Ну, встречается.

— С ребятами из своего класса.

— В классе сорок человек. Не можешь же ты знать буквально каждого. Да и вообще, у учителей далеко не всегда точное представление о своих учениках.

Она села, сложив руки с кухонным полотенцем на коленях. Грустно посмотрела на Сашу.

— Этому тебя уже научили в милиции?

Через стол он погладил мать по руке.

— Прости меня, мама. Со мной делается какая-то чепуха. Можно, я задам тебе один вопрос, который никогда в жизни еще не задавал?

— Конечно, Саша.

— Почему отец ушел от нас?

— Вероятно, потому, что разлюбил меня.

— Мне было десять лет. Я хорошо помню, что вы никогда не ссорились.

— Мы старались, чтобы ты этого не слышал.

— Значит, все-таки это у вас было — он обижал тебя, вы ругались?

— Это все не те понятия, Саша: ссорились, ругались... Было горе, ужасное горе, мне казалось, что жизнь кончилась. А потом прошло время, и теперь мне даже трудно представить себе, что я тогда так мучилась. Головой я это понимаю, а сердцем — нет.

— Но ведь тебе было трудно с двумя детьми?

— Трудно.

— А почему ты не брала с отца деньги?

— Из гордости.— Она улыбнулась.— И еще — из мести: я хотела, чтобы у него были угрызения совести.

— И ты считаешь, что они у него были?

— Вероятно. Не надо думать о нем плохо, Саша. Я тебя никогда этому не учила.

— А я вообще никогда о нем не думаю. Его нет для меня, понимаешь — нет!

— А между тем ты на него очень похож, Сашенька. По вспыльчивости, по тому, что ты тоже любишь холодные макарены...

— Значит, по-твоему, я тоже мог бы бросить жену с двумя детьми? — вскипел Саша.

— Этого я не знаю,— спокойно отвечает Зинаида Петровна.— Я только знаю, что в жизни не бывает двух совершенно схожих случаев. И что не всякий человек, разлюбивший жену,— негодяй... Может, довольно, Саша?

Он встал, обнял ее, поцеловал и внезапно по-мальчишески просторно улыбнулся:

— Знаешь, мать, как принято называть в милиции такую семью, как наша?.. Неблагополучной.

Зинаида Петровна посмотрела на него удивленно.

— Как же,— говорит он и даже загибает пальцы, перечисляя: — Отца не было, денег не хватало, я пять

лет воспитывался у бабушки в деревне, ты корячилась здесь, подымая на ноги Лидку... По всем параметрам из меня мог получиться ворюга.

— Господи, что ты только болтаешь, Саша! И потом, я прошу тебя не употреблять при мне этих отвратительных слов — «корячилась», «ворюга»...

Они вышли из кухни в комнату.

— Тебя не беспокоит, что Лиды до сих пор нет? — спрашивает Саша.

Мать посмотрела на часы.

— Задержалась, очевидно, на тренировке.

— Ладно, все равно башка трещит, пойду навстречу...

По лестнице быстро спускается Саша. Последний марш он съезжает по перилам и тотчас сталкивается внизу, в подъезде, с сестрой. Она стоит здесь с мальчиком лет шестнадцати. Нисколько не смутившись, Лида говорит мальчику:

— Знакомься, Миша. Это мой брат Саша. Ты куда, Сашка?

— Между прочим, старших принято рекомендовать по имени-отчеству. Меня зовут Александр Семенович.— Он протянул мальчику руку.

— С ума сойти! — говорит Лида.— Ты забыл еще сказать, что служишь в милиции.

— Тебе известно, который теперь час?

— Известно.

Саша обернулся к несколько растерянному Мише.

— От лица нашей семьи и от своего лично приношу вам глубочайшую благодарность за то, что вы проводили мою сестру. А также полагаю, что ваши родители озабочены вашим долгим отсутствием.

— Прекрати сю минуту! — вспыхнула Лида.— Мишка, не обращай на него внимания — это у него такие глупые шутки.

— Пожалуй, я действительно пойду,— говорит Миша.— До свидания.

Смущенно кивнув, он ушел.

По лестнице поднимаются брат с сестрой.

— Ну ладно,— говорит она.— Ты у меня еще это помнишь, Сашка!

— А что я такого особенного сделал? — миролюбиво отвечает Саша.— Он сам испугался и удрал. Я бы, например, на его месте ни за что не ушел.

— Ах, так? — Лида даже захлебнулась от возмущения и ярости; она остановилась, готовая бежать вниз.

— Стой, дуреха,— взял ее за руку брат.— Не волнуй мать: она себя неважно чувствует. Сейчас ты войдешь и скажешь: извини, мамочка, я немного задержалась...

Они остановились подле двери в квартиру. Саша возится с ключами.

— Кстати, ты мне не сказала, кто этот парнишка? Где ты его откопала? По-моему, он старше тебя.

— Шпион милицейский! — шепотом огрызнулась Лида.

Они вошли в квартиру. В прихожей появилась Зинаида Петровна.

— Мамочка, извини, пожалуйста, нас сегодня задержали с тренировкой на полчаса.— Она целует мать.

...И вот уже ночь в квартире Овчаренко. Не спит лишь Саша. Он сидит за столом, лампа прикрыта газетой, чтобы свет не мешал сну сестры. Перед ним лежит все та же раскрытая книга — «Тактика допроса». Он записывает в толстой своей тетради:

«При изучении личности допрашиваемого надлежит выяснить:

1. Психические свойства допрашиваемого;
2. Его общественно-политическую характеристику;
3. Производственную деятельность;

4. Образ жизни и моральные качества;

5. Взаимоотношения с другими лицами, фигурирующими в деле...»

По улице, вглядываясь в номера домов, идет практикант Саша Овчаренко. Он входит во двор, нашел нужный подъезд, позвонил в квартиру первого этажа.

Дверь открывает грузная пожилая женщина. Она дышит шумно, натужно.

— Простите,— говорит Саша,— вы, вероятно, Анна Николаевна Клебанова?

— Я.

— Мне необходимо поговорить с вами, это недолго. Моя фамилия Овчаренко. Я знаю, что вы нездоровы, поэтому пришел к вам домой. Я следователь...

Они входят в комнату Клебановой. Здесь уютно, чисто, старомодная мебель вросла в пол.

— Вы, наверное, по поводу Маши Труниной? — спрашивает Клебанова.— Мне соседи рассказывали, что их уже вызывали в милицию. Садитесь, пожалуйста. Не хотите ли чайку или кофе?

Анна Николаевна радушна, как многие пенсионеры, ошастливленные приходом редкого гостя. Убедившись, что этот гость искренне отказывается от угощения, она садится в большое мягкое кресло, грузностью и формой напоминающее свою хозяйку, аккуратно разглаживает на коленях складки своего теплою халата и начинает с середины, словно беседа возникла давно, а Саша Овчаренко — давний, добрый приятель дома.

— Бронхи меня совершенно замучили, голубчик!.. Но, как ни странно, даже в этом состоянии хочется жить подольше. Ну, вот. Теперь относительно Маши Труниной. Вы знаете, это совершенно замечательный человек! Добрый, отзывчивый, редкой души человек. И сердце буквально обливается слезами, глядя на то, как она живет с этим пьяницей Василием. Ведь это же

уму непостижимо! — Она понижает голос до устрашающего шепота, глаза ее округляются от ужаса. — Голубчик! Васька же избивает ее!.. В последний раз он гонялся за ней с кухонным ножом!

— Вот по этому поводу я как раз к вам и пришел, — удалось наконец вступить в разговор Саше. Он вынул из портфеля лист протокола и приготовился писать.

— Мне бы не хотелось, чтобы вы записывали, — просит Анна Николаевна. — Вы знаете, я прожила свою долгую жизнь чисто, не опорочив ни одного человека, голубчик.

— Но ведь это и не называется порочить. Вы были свидетельницей дерзкого хулиганства, вы живете в одной квартире с Марией Александровной...

— Да, да, это все верно, голубчик. Но когда я думаю, что из-за моих свидетельских показаний на суде кого-то могут посадить в тюрьму, то мне делается буквально худо!

— Хорошо, я сделаю так, чтобы в суд вас не вызывали.

— Голубчик, а нельзя ли запретить продажу водки? Ведь если бы Василий не пил, то не возникло бы все это кошмарное происшествие!.. Я утверждаю, как старый человек и как бывший библиотекарь, что люди — это вы можете записать, я даже прошу вас записать это! — люди в своей основе прекрасны! Их губят обстоятельства. И в первую голову — водка! Я понимаю, вы можете возразить мне...

Очевидно, после длительной беседы Анна Николаевна провожает Сашу по коридору к дверям на лестницу.

— Я рада, что мы с вами так душевно поговорили. Надеюсь, вы зафиксировали мою мысль относительно продажи спиртных напитков? И еще я хотела бы посоветовать: людей данного типа надо лечить. Принудительно лечить!

— Это и делается, Анна Николаевна. Однако существует очередь в учреждения подобного характера.

— Очередь?! — всплескивает руками Анна Николаевна. — Ну, я еще понимаю очередь за свежей рыбой, за парным мясом, но очередь алкоголиков!.. Заходите, голубчик Александр Семенович, я всегда буду рада вам...

Обширный двор таксомоторного парка.

Въезжают и выезжают из ворот машины. Вытянулась змеевидная очередь такси к моечной. Шумные, тугие струи воды бьют по кузовам, смывая уличную грязь.

Выныривая и снова пропадая среди автомобилей, идет Саша Овчаренко со своим тяжелым портфелем.

В просторных боксах слесари возятся вокруг машин: заполняют смазкой масленки, крепят гайки, поддувают пневматикой баллоны колес.

В яме под одной из машин рослый пожилой механик работает с парнишкой слесарем. Парнишка, в испарине от усилий, вымазанный с головы до ног автолом, тавотом, ржавчиной, старается вовсю. Силенок и сноровки у него, вероятно, еще недостает: рослый механик проверяет после него крепеж, подтягивая ключами каждую деталь еще на один-два полных оборота.

— И чем только тебя мамка кормит? — говорит механик. — Кашу надо кушать, «Геркулес».

Парнишка сверкнул на него белками глаз.

— Я колбасу люблю, дядя Леня. С пивом.

Легонько мазнув его тяжелой рукой по затылку, механик ругнулся:

— Огарок ты!.. Куда вправо вертишь — здесь же обратная резьба!..

Над ямой склонилась чья-то голова:

— Дядя Леня, вас требуют в красный уголок!

— Кто? — ворчит механик.

— Какой-то хрен из милиции...

В небольшой комнате красного уголка сидят за столом Саша и дядя Леня. Они сидят рядом. Механик положил свои усталые, большие руки на стол, сцепив пальцы.

Говорит он медленно и огорченно:

— Так чего он натворил-то, Федька Игнатьев?

— Занимался грабежом.

— Ну а конкретно?

— По вечерам, с группой приятелей, срывал с голов граждан меховые шапки.

— Шапки? — переспрашивает дядя Леня.— А на кой они им?

— Продавая их в ресторане, они распивали спиртные напитки.— Саша посмотрел на механика.— А разве вы никогда не замечали, что от Феди Игнатьева понахивает алкоголем?

— Не замечал. На работу он выпивши не являлся, а так почему я могу знать?.. Вот я с вами сейчас беседую, а откуда же мне известно, товарищ следовательно, пили вы вчера вино или не пили?

— Но ведь вы, Леонид Сергеевич, руководите всей этой молодежью. И как механик-мастер и как зампредавателя месткома. Игнатьев, например, утверждает, что у него было пять благодарностей...

— Пять-то он, положим, врет, а две — были.

— Значит, все-таки как же вы его характеризуете?

— Характеризую я его так,— еще медленнее отвечает дядя Леня.— Работал он неплохо, смышлено он работал. Имеются у нас ребята и послабже его.

— Но ведь понятие о человеке,— нетерпеливо произносит Саша,— складывается не только из его работы.

Механик хмуро посмотрел на Сашу.

— Вы бы мне еще пояснили, товарищ следовательно, что земля круглая. А то я без вашей помощи не догадаюсь.

Возникла неловкая пауза, неловкая для Саши, кото-

рому никак не найти верный тон с этим человеком.

— Теперь давайте разберемся,— продолжает дядя Леня.— По нашей работе в парке как я вынужден судить о человеке? Да и как обо мне самом частенько судят? Справа налево... Справа — процент выработки, а налево — я весь со своими потрохами. План сделал — хорош я. Не сделал — плох. А что там у человека в душе — герань или помои,— это еще поди разберись! Для этого, помимо времени, еще и умишко надо...

И опять Саша произносит не те слова, которые ему хотелось бы сейчас подобрать:

— Значит, вы считаете, что не следует пропагандировать опыт лучших?

От этого вопроса рослый механик дядя Леня как-то скучно погас. Он взглянул на свои часы.

— У вас, товарищ следователь, какие будут ко мне вопросы насчет Федьки Игнатьева?

— Вы бывали у него дома?

— Заходил один раз проведать,— ногу ему зашибло на работе.

— Какое впечатление произвела на вас его семья?

— Нормальное впечатление. Отдельная квартира. Родители — обое работают, телевизор есть, холодильник, кажется...

— Понимаете, Леонид Сергеевич,— искренне говорит Саша,— я хотел бы составить представление о его моральном облике. Какой он, этот Федька, может, его интересовал только заработок, деньги?..

— Деньги нынче всех интересуют. И коль они честно заработаны, то худого здесь нету... Я, товарищ следователь, скажу вам так: молодых этих парней понять трудно, лично я не берусь.— Посмотрел вдруг впервые Саше прямо в глаза: — Вам-то самому, простите, сколько годов?

— Двадцать два.

— И сам в себе разбираешься?

Саша нахмурился:

— В каком смысле?

— Ну, чего хочешь от жизни, для чего живешь?

— Разбираюсь, конечно.

— Значит, счастливый ты человек.— Механик дядя Леня поднялся.— А насчет характеристики на Игнатьева Федора, то это я от нашего треугольника напишу. Написать нетрудно, не в первый раз.

В яму под автомобилем, где возится парнишка-слесаренок, тяжело спрыгивает дядя Леня. Сперва он осматривает и ощупывает ключом все, что сделано за время его отсутствия. Осмотром он, очевидно, удовлетворен.

— Дядя Леня, а чего вас мильтон вызывал?

— Велел брать на учет всех пацанов, которые любят пиво. Понял?

Растерянно мигая длинными ресницами, парнишка смотрит на механика.

Выйдя из ворот таксомоторного парка, идет по улице Саша Овчаренко. Идет он хмуро сосредоточившись, временами натываясь на встречных прохожих. В потоке людей его фигура кажется еще более хрупкой, тоненькой.

Путь Саши лежит мимо большого сквера. Здесь, натянув между деревьев сетку, какие-то ребята играют в волейбол.

Саша замедлил шаги, проходя мимо. И внезапно, перескочив через низкий штaketник сквера, рванулся к ребятам. Положив свой портфель на землю у дерева, он встал на пустующее место в одной из команд. Мяч летит в его сторону, и, опередив игрока, Саша подпрыгивает, лупит по мячу. Мяч стремительно проносится над самой сеткой,

— Ну, ты, брат, и силен! — восторженно говорит один из парней.— Разрядник?

— Да нет, любитель,

— Ври больше...

С улицы в подъезд райисполкома входит капитан милиции Селезнев. По тому, как уверенно он подымается по широкой лестнице, как здоровается, идя уже по коридору, с попадающимися навстречу сотрудниками, видно, что он здесь бывалый человек.

Вошел в дверь с табличкой: «Заместитель председателя райисполкома».

В небольшой приемной сидит у окна секретарша, печатает на машинке. Не подымая головы и продолжая стрекотать клавишами, говорит:

— Добрый день, Анатолий Дмитриевич. Пройдите, пожалуйста, Роман Карпович ждет вас.

Они сидят друг против друга, немолодой, грузный зампред и суховатый, поджарый Селезнев.

— Вот ведь работнички! — восклицает в сердцах Роман Карпович, ткнув пальцем в конверт, лежащий перед ним на столе.— Люди переехали в новый дом, справили новоселье месяц назад, а газовщики до сих пор еще газа не подключили! — Срывает с аппарата телефонную трубку, говорит кипяще-ласковым тоном: — Степан Никанорович? Слушай внимательно, что я тебе сейчас скажу, Степан Никанорович. Если к понедельнику в доме номер семь по улице Щеголева не будет включен газ...

Далее звук уже не слышен, однако лицо зампреда и его шевелящиеся губы достаточно выразительны.

Он положил трубку, сказал Селезневу:

— Извини, Анатолий Дмитрич, еще секундочку.— Снова снял трубку, набрал номер.— Алла Ивановна?

Приветствую, Алла Ивановна. Как там у вас со спорт-площадкой? Закончили? Ну и хорошо. Ну и отлично. Да не за что. Рад за ваших ребятшек...

Теперь уж Роман Карпович окончательно положил трубку, надавил кнопку звонка на столе и, когда секретарша заглянула в дверь, попросил:

— Минут двадцать не пускайте ко мне никого и не соединяйте по телефону.

Он вышел из-за стола и пересел в кресло напротив Селезнева.

— Догадываешься, почему я попросил тебя зайти?

— Не совсем,— уклонился Селезнев.

— Насчет Коромыслова-сына хотел с тобой побеседовать. Петром его, что ли, зовут?

— Петром,— кивнул Селезнев.

— Родителя его, Коромыслова Филиппа Константиновича, знаешь?

— Слышал.

— Ты — слышал, а я — знаю. Он мне, между прочим, не друг, не брат, не сват, а знаю я его потому, что Филипп Константинович в нашем районе личность уважаемая. И не в том лишь дело, что он директор крупнейшего строительного комбината — директора разные бывают,— а Коромыслов честнейший мужик и замечательный, самозабвенный работник! Случая не было, чтобы он хоть в чем-нибудь подвел наш район. Это я тебе сообщаю вполне ответственно.

Роман Карпович закурил.

— Теперь касательно его щенка сына... У тебя-то у самого, Анатолий Дмитрич, дети есть?

— Нет.

— А у меня, например, двое парней имеются. И куда мы их с супругой моей в люди вывели, забот было предостаточно...

— Однако,— сухо улыбнулся Селезнев,— в групповых грабежах они участия не принимали?

— Еще чего! Я бы им своими руками головы отвинтил.

— Роман Карпович, следствие по делу Петра Коромыслова и его содельников ведется при полном соблюдении соцзаконности.

Зампред поморщился:

— Да не б этом я с тобой веду разговор. Я хочу, чтобы ты горе отцовское понял! Чтобы ты личность Филиппа Константиновича учел...

— Я учитываю: под следствием находится не Филипп Константинович, а сын его — Петр Филиппович.

Зампред раздраженно раздавил недокуренную сигарету в пепельнице.

— Да какой он Петр Филиппович? Петька он, ему семнадцати еще нету. Что ж он, по-твоему, уже готовый грабитель? Крест на нем ставить, да? И между прочим, в райотделе милиции могли бы и получше профилактикой заниматься, чтобы таких мальцов не вовлекали в преступный мир...

— Профилактика, Роман Карпович,— это очень тонкое дело, и оно, к сожалению, не всегда приводит к желаемым результатам.

— Ах, и у вас не всегда! А уж вы-то в вопросах воспитания должны быть специалистами.

— Не можем мы быть специалистами в вопросах воспитания: и образование у нас иное, не педагогическое, и человек, попадающий в наши руки, как правило, уже изрядно испорчен.

Зампред поднялся.

— Ну вот что, дорогой Анатолий Дмитрич. Для полемики нам с тобой времени сейчас не отпущено. Мой долг повелевал мне попросить тебя за хорошего, авторитетного товарища. Твое дело — не уважить мою просьбу.— Он пожал руку подымающемуся вслед за ним Селезневу и сделал несколько шагов, провожая капитана до дверей.— А насчет уровня профилактической работы

в нашем райотделе и задач воспитания несовершеннолетних, я полагаю, лучше всего поговорить нам на исполкоме. Доложишь — а мы обсудим и вынесем свое мнение... Бывай здоров, капитан!

Из дверей ПТУ шумной гурьбой выходят ребята, они тотчас разбегаются к остановкам трамваев и троллейбусов. Подъезд училища пустеет.

И только тогда показывается в дверях не по возрасту долговязый, неухоженный Ваня Томилин.

Худо нынче на душе у Вани. Очевидно, он из той породы мальчишек, которым порой приходится расплачиваться даже за чужие грехи: что бы ни случилось вокруг на беспокойной улице, первым всегда винят и хватают его. Причиной тому, быть может, его нескладная долговязость либо какая-то запущенность лица — он прыщав, пора бы уж ему бриться, реденькие волосики, длинные, несерьезные, завиваются вразброс, как попало, на его щеках и подбородке. Лет ему всего лишь шестнадцать, однако в глазах его уже гнездятся и подозрительность, и угнетенное самолюбие, и звероватая хитрость, и страх.

— Ваня! — окликает его Саша Овчаренко.

Возникнув сбоку, он пристроился рядом.

— Я к тебе прямо с работы, даже поесть не успел... Мороженого хочешь?

Ваня покосился на него и не ответил.

Саша продолжает, словно разговор их длится давно и вполне дружелюбно:

— Вчера, понимаешь, вышел из райотдела, сел в троллейбус, еду, еду, слышу, кондукторша говорит — конечная остановка, вылезайте. Вылез — кругом поле: сел, понимаешь, не в ту сторону!..

Задержавшись подле тележки с мороженым, спрашивает:

— Тебе сливочного или шоколадного?

Он взял два пакетика, один передал Томилину.

Идут, лизжут мороженое.

— Слушай,— решительно вдруг говорит Саша.— Если тебе себя не жалко, ты бы хоть меня пожалел: ведь это же мое первое дело, понимаешь?.. Если я его завалю...— Саша безнадежно махнул рукой.

— А чего заваливать? — усмехнулся Томилин.— Раз мы виноваты, значит, будем отвечать.

— Кто ж это, по-твоему, «мы»?

— Ну, те двое и я...

— Так ведь ты-то оказался в подворотне случайно?

— Зачем случайно? Меня поставили, я и стоял.

— Но ты ведь не знал, что они собираются грабить?

Томилин упрямо молчит.

— Знал или не знал?

— Да я ж уже ж два раза рассказывал вам, вы ж записывали...

— Ничего ты мне толком не рассказывал, дурья голова. Я тебя спрашиваю: знал ты или не знал, что они сорвут шапку?

— Какая разница... Ну, скажу — не знал, а вы ж все равно не псверите.

— Почему не поверю?

— А мне никто не верит.

— Может, ты много врал, потому и не верят?

— Да нет... Другие больше врут... Судьба у меня такая — рожден без счастья в жизни.

— Чепуху какую-то порешь, слушать противно,— рассердился Саша.— Придумал себе теорию, чтобы легче жилось.

Томилин остановился, швырнул под ноги остатки пакетика с мороженым и зло сощурился:

— Легче?.. Да?.. Легче?..

— А ты не психуй,— сказал Саша.— Конечно, легче: раз ты рожден без счастья в жизни, значит, можно и не

стараться. Любая сволочь станет делать с тобой все, что захочет, и ты покорно стерпишь, да еще будешь сопливо хныкать — беденький я, несчастненький, судьба у меня такая...

Обидевшись — он вообще очень охотно обижается, — Томилин повернул было в сторону, но Саша ухватил его за локоть.

— Погоди, дурья голова... Ну, хочешь, давай условимся: ты мне даешь честное слово, что расскажешь чистую правду, а я дам честное слово, что поверю тебе?

Томилин молчит, вытирает липкие руки о штаны.

— А чего там честное слово... Думаете, если дам, так уж и не смогу соврать?

— Не сможешь, — убежденно говорит Саша. — Такие парни, как ты, если серьезно клянутся честным словом, ни за что не солгут.

— Покупаешь меня, да? — в голосе Томилина жалкая подозрительность.

Саша остановился.

— Дело твое, Ваня. Я просто просил тебя помочь мне. Не хочешь — как хочешь...

Он пожал руку Томилину и исчез в толпе.

Приоткрыв рот, Ваня Томилин смотрит ему вслед.

Кабинет следователей в райотделе.

Сидя за столом, Саша печатает на машинке. Рядом стоит Гордеев, дочитывая странички протоколов, взятые с Сашиного стола. Дочитав, кладет их на место и идет к своему столу.

Саша беспокойно оборачивается ему вслед:

— Ну как, Кирилл Иванович?.. Много ошибок?

— Да дело не в ошибках, — досадливо отвечает Гордеев. — Дело в принципе. Ну что ты разводишь антимонии по пустякам? Допросил черт-те сколько свидетелей, исписал пятьдесят страниц, а суть-то копеечная. И

на кой, между прочим, леший ты докладываешь Селезневу, что оскорбил обвиняемого Игнатьева?

— Но я его действительно оскорбил.

— Ты оскорбил, а он не оскорбился. Заявления-то он на тебя не написал?

— Я предлагал ему, а он почему-то не захотел.

— Потому и не захотел, что для него это как слону дробина. Выкинь из папки докладную. Ни к чему она — холеры из-за нее не оберемся.

Саша вынимает из папки листок.

— И устно, по-вашему, тоже не докладывать?

— Устно — ваяй. Дай возможность Селезневу воспитывать тебя: он это дело обожает. А следов оставлять не надо... (Пауза.) И в другой раз держи себя с обвиняемыми в рамочках.

Гордеев углубился было в свои бумаги за столом, но снова поднял голову:

— Хочу предупредить: по делу Игнатьева проходит Коромыслов Петр — ты его еще разок допроси.

— А разве его показания неясны?

— Для кого — ясны, а для кого будут и неясны.

— Кстати, он довольно противный тип — все валит на своего дружка Федьку.

— Вот-вот. Ты с этим Коромысловым поаккуратней.

— В каком смысле, Кирилл Иванович? — спрашивает Саша.

— Во всех смыслах. — Гордеев закурил и буркнул: — Батька его, между прочим, в нашем районе фигура.

— Ну и что? — запальчиво спрашивает Саша. — Значит, тем более!

Откинувшись на спинку стула и медленно выпуская дым, Гордеев произносит:

— Во всякой работе, друг Саша, есть своя химия. К сожалению, с ней изредка приходится считаться, хоть иной раз и с души воротит...

— Но это же несправедливо! Почему я обязан с этим считаться?

— Можешь и не считаться, — спокойно говорит Гордеев. — Покуда не схлопочешь по хребту... Хватит у тебя силенок выстоять — буду рад...

И Гордеев продолжает разбираться в бумагах.

Саша сидит, не печатая, смотрит невидящими глазами в окно.

Взглянув на практиканта и еще раз взглянув, Гордеев спрашивает:

— Ты почему не работаешь?

— Я думаю.

— Думать, брат, дома надо. А на службе положено работать. — Смеется.

— Кирилл Иванович, я хотел спросить вас, только не обижайтесь, пожалуйста. В те годы вам приходилось иногда поступать не по совести?

— А ты как полагаешь: совесть — отдельно, а закон — отдельно?.. Это нынче стала модной такая постановочка. Для меня лично закон и совесть едины. А на счет тех годов врут тоже много. Я, например, за всю жизнь ни одного человека зря не посадил. И пальцем никого не тронул... Страха — это верно — у людей больше было. Боялись. И жулик другой был. Если ты ему на допросе говоришь правильно, «в цвет», он и отпираться не станет — видит, что твой верх... Адвокатура тогда тоже не так цеплялась к нам. А нынче адвокат готов утопить следователя в ложке дерьма. Думаешь, его волнует судьба преступника? Гонорар его волнует.

Саша робко произносит:

— Но ведь вы, Кирилл Иванович, тоже получаете за свою работу деньги.

— Я получаю зарплату за то, что стараюсь обезопасить наше социалистическое общество от совершаемых преступлений! Покой граждан я защищаю.

Произнося это, Гордеев пристукивает жесткой ладонью по столу.

Он хотел было продолжить, но в дверь заглядывает Мария Александровна Трунина — потерпевшая с улицы Разина.

Она переступила порог, держа на весу исписанный листок бумаги.

Дойдя до Саши, протянула ему листок и сказала:
— Извините, я к вам...

Быстро пробежав глазами написанное, Саша изумился:

— Как же так, Марья Александровна? Вы же трижды подряд говорили мне совершенно другое!..

Она молчит.

— У меня же зафиксированы ваши показания и есть ваше собственноручное заявление, поданное в милицию.

— Помирились мы...— тихо говорит женщина.— Он у меня прощения просил...

Не подымая головы от работы, Гордеев спрашивает из-за своего стола:

— Товарищ Овчаренко, вы предупреждали потерпевшую об уголовной ответственности за дачу ложных показаний?

— Предупреждал.

Саша перегнулся через стол к женщине:

— Ведь так же нельзя, поймите... Дело не только в уголовной ответственности: ведь муж избивает вас и систематически угрожает вам убийством...

Женщина смотрит в пол. Слезы катятся из ее глаз.

— Это он только пугает,— упрямо говорит она.

— Но он и ребенка вашего ненавидит...

— Вчера принес дочке шоколад «Спорт», за рубль пятьдесят. И слона резинового... Не пьет...

— Послезавтра третий день будет, как не пьет,— говорит из-за своего стола Гордеев.— Вы объясните ей, товарищ следователь, что ее заявление все равно не

приостановит судебного разбирательства. Не в цапки мы здесь играем!..

— Это правда, Марья Александровна,— кивает Саша.— Сейчас это уже не дело частного обвинения. Есть показания свидетелей, ваших соседей по квартире...

— У нас квартира дружная,— твердит женщина.— Они против меня не пойдут, они понимают мое горе.. Как же мне без Васи? Опять одинокой жить? Сорок лет мне сегодняшний год, кому я нужна с ребенком на руках? За всю свою жизнь, может, месяц и была счастливая, и то вразбивку... Очень я вас прошу, товарищи, взойдите в мое положение, не преступник же Вася, ни для кого он не опасный, а если для меня опасный, так я стерплю...

И она продолжает говорить все тем же ровным голосом, глядя в пол, в той степени горя и отчаяния, когда уже и слез-то нет.

Начальник следственного отделения капитан Селезнев хмуро листает бумаги в папке.

— Начало у тебя пока не блестящее,— говорит он.— Одно дело, видимо, придется прекратить за недоказанностью.

— Но ведь он может ее убить! — раздается взволнованный голос Саши.

— Весьма вероятно. И мы будем отвечать за это.— Полистав папку, читает: — «Прошу отметить, что я считаю целесообразным запрещение продажи спиртных напитков».

Селезнев поднял глаза, вопросительно смотрит на Сашу Овчаренко, стоящего перед столом.

Саша поясняет:

— Это я записал со слов свидетельницы Клебановой. Она просила меня отметить.

— А она не просила тебя отметить, что ей хотелось бы слетать на Луну?

Саша молчит.

— Какая у тебя была в институте оценка по криминалистике?

— Четыре.

— Добренькие у вас нынче преподаватели.— Он еще полистал папку.— Бумаги ты извел раз в пять больше, чем следовало. Людей навывывал и времени у них отнял — тучу. А вот допросить свидетелей и потерпевшую с такой силой убедительности, чтобы им было потом не отказаться от своих показаний,— кишка оказалась тонка! Не сумел наладить психологический контакт... Ты садись, разговор у нас будет долгий.

Саша садится.

— Насчет Игнатьева. Сырое у тебя это дело: доказательства жидковаты. Что шапки срывал и продавал их — ясно; касательно же нанесения телесных повреждений — это еще надо подработать, клинья у тебя здесь не подбиты.

— Но имеются оперативные данные, что он бил потерпевших кулаком в лицо. И содельник его, Петр Коромыслов, подтверждает это.

— Читал я его показания: подтверждает по секрету, а на суде отпрется — бонится мести своих дружков... К твоему сведению — и заруби это себе на носу! — следователь готовит дело для суда. Ясно? И если суд не соглашается с твоим обвинительным заключением и заворачивает нам дело обратно, то это мрачнейший брак в нашей работе. Понял? А раза два-три завернет—и привет такому следователю: увольняется за несоответствие должности.

Селезнев поднялся, прошелся по кабинету, сделав намеренно длинную паузу, чтобы неопытный практикант мог со всей глубиной осмыслить то, что ему внушается.

— Вот что я тебе порекомендую. По собранным тобой материалам видно, что семья у Игнатьева положительная. Отец — инвалид войны, отставной офицер, ны-

не хороший токарь-скоростник, не пьет... Поговори с ним. Или с матерью побеседуй...

— Хорошо, Анатолий Дмитриевич, я постараюсь.— Саша сделал было шаг к дверям.

— Погоди. Не все. Садись... Какое впечатление производит на тебя Коромыслов?

— Трус он и сволочь,— решительно отвечает Саша. Селезнев укоризненно покачал головой.

— Хороша лексика у юриста!

— А я вам, Анатолий Дмитриевич, сейчас не как юрист отвечал. Это мое частное мнение.

— Чем же он тебе так не пришелся?

— Дружил с Федькой Игнатьевым, бегал в его корешах, водку пил за его счет и на первом же допросе продал его, разболтав мне все подробности...

— А ты обещал ему, что чистосердечное признание облегчит его участь?

— Обещал, конечно.

— Значит, следствие он тебе упростил?

— Упростил.

— Стало быть, сперва ты убедил его, что следовательно надо говорить правду, а затем, когда эту правду от него услышал, презирал его?

— Я считаю, Анатолий Дмитриевич, важно ведь — почему человек говорит правду? А может, ему неохота врать, всего лишь из чувства безнаказанности...

— То есть?

Помолчав мгновение, Саша бухнул:

— Коромыслов уверен, что выйдет из дела чистеньким. Что судить его все равно не будут.

— А ты как считаешь?

— Поскольку он принимал участие в групповых грабежах...

— Участие его, положим, довольно пассивное: просил прикурить у потерпевшего, а затем, когда Игнатьев срывал шапку, бежал вслед за ним.

— В ресторан они бежали, продавать и пропивать награбленное...— Саша шагнул к Селезневу.— Анатолий Дмитриевич, я вас очень прошу, вы мне прямо скажите — будем мы привлекать Коромыслова или не будем?

— Зависит от обстоятельств дела. А ты его еще пока не закончил... Сколько лет этому парню? Семнадцать? Иногда, знаешь, такие щенки опоминаются даже только оттого, что сразу попались. Для них допрос имеет колоссальное воспитательное значение. Ты это учти. Поговори с ним еще... Ясно тебе? Вопросы есть?

— Нет у меня вопросов.

Незаметно, как ему кажется, усмехнувшись, Саша встал. Однако от наблюдательности Селезнева это не укрылось.

— Ты чего так криво улыбаешься?

— Я не улыбаюсь... Просто мне неприятно... Я вас очень уважаю, Анатолий Дмитриевич, и мне досадно, что вы со мной разговариваете как-то не прямо... намеками...

Селезнев нахмурился.

— То есть?

— Сперва Кирилл Иванович предупредил меня, что с этим Коромысловым надо поаккуратней. Теперь — вы...

— Что тебе сказал Гордеев?

— Он сказал, что отец Петьки Коромыслова — фигура в нашем районе. А из ваших слов я тоже понял...

— Из моих слов,— сердито перебил его Селезнев,— тебе следует понимать только то, что в них заключено. И не более того... Можете быть свободны, товарищ практикант. Я вас не задерживаю.

Саша вышел. Селезнев прошелся по комнате, рывком снял телефонную трубку, набрал номер:

— Кирилл Иванович, зайдите ко мне.

И как только Гордеев появляется на пороге, Селезнев в упор спрашивает:

— Зачем тебе понадобилось рассказывать практиканту об отце Коромыслова?

Гордеев. А чего там было рассказывать? Из анкеты ясно — директор строительного комбината.

Селезнев. Ты отлично понимаешь, о чем я говорю.

Гордеев (*резко*). Тебе же и хотел облегчить положение... Начальство небось уже проявляло беспокойство?

Селезнев. Ладно, это уж не твоя забота, Кирилл. А вот я тебя спрашиваю: зачем тебе понадобилось посвящать начинающего практиканта...

Гордеев. Потому и понадобилось, что он начинающий. Пусть с самого начала и знает. Трезвее будет. Ему не под колпаком ходить — по земле.

Селезнев. Да пойми ты, старый конь, есть законы возраста и жизненного опыта. Парень должен верить в силу права, в справедливость!

Гордеев. А мы с тобой не верим, что ли?

Селезнев. Верим. Только у нас это сложнее.

Гордеев. Ну, знаешь, если у парня от одного колеблющего отклонения может обрушиться вера, то грош ему цена! (*Решительно.*) Ты поручил практиканта мне? Я его курирую? Коли тебе не нравится, как я это делаю,— пожалуйста, заberi его от меня. Еще спасибо скажу...

Селезнев. Нравится — не нравится... Это, Кирилл Иванович, дамский разговор. Я тебе приказал — ты исполняешь. И если исполняешь не так, как считаю нужным, то я поправляю тебя... Надеюсь, ясно?

Гордеев. Чего уж яснее.

Селезнев. А насчет Коромыслова: закончит Саша, под твоим наблюдением, следствие — я рассмотрю и приму решение.

Гордеев. Темнишь от меня, Анатолий Дмитриевич?

Селсзнев. Не темню, а размышляю, товарищ Гордеев.

Проходная следственного изолятора.

С улицы вошел Саша Овчаренко. Он нагружен — в руках у него портфель и чемодан с портативным магнитофоном.

По тому, как Саша привычно, уже чуть небрежным жестом, показал сквозь оконце сержанту конвойных войск «корочки» своего служебного удостоверения, по тому, как уверенно двинулся к двери с зажегшейся надписью «Прошу пройти!», по всей повадке практиканта видно, что он уже здесь далеко не новичок.

Неся свою тяжелую ношу, Саша решительными шагами пересекает узкий, заасфальтированный намертво двор, и теперь, пожалуй, юношу уже не столь угнетает мрачное кирпичное здание тюрьмы, возникшее перед ним: предстоящее свидание с заключенным захватило его сейчас полностью.

Пройдя по длинному, с поворотами коридору, поднявшись по каменной выщербленной лестнице, он вошел в одну из пустующих следственных камер.

Приготовления, которыми он сейчас здесь занялся, внове ему; Саша явно волнуется — не ладится что-то с принесенным магнитофоном, установленным на столе: вырываются какие-то плохо разбираемые звуки хрипловатого мужского голоса, однако слов еще не различить.

Бессмысленно захлебываясь, перематывается лента туда и обратно.

Но вот наконец, кажется, все в порядке.

Саша надавил кнопку звонка у стола, вытер пот со лба, причесал спутавшиеся за время этой возни с магнитофоном волосы и застыл в ожидании.

Сопровождаемый сзади женщиной-конвойной, вошел в камеру Игнатьев. Он вяло-привычно направился к своему месту, опустил на табурет, заложил ногу на

ногу. Движения его несколько более уверенны и нагловаты, чем это было в первый раз: игра теперь идет в открытую, все, что он считал нужным, следовательно рассказано на предыдущих допросах, кое-чему Федьку Игнатьева уже научили в камере, и с принятой им позиции его не собьешь — законы он знает не хуже этого мальчишки следователя.

— Ставлю вас в известность, Игнатьев, — сухо, так и не присаживаясь, говорит Саша, — что свидание, о котором вы просили и которое я вам обещал, не смогло состояться по уважительной причине...

Игнатьев ухмыльнулся.

— Районный прокурор не разрешил? А я повыше жаловаться буду!

— Санкции прокурора для этого действия мне не требовалось. Я разрешил вам свидание, и этого было достаточно. Однако, повторяю, оно не могло состояться по вполне уважительной причине, от следствия не зависящей.

Вынув из кармана пачку сигарет, Саша закурил, а пачку и спички положил на стол поблизости от Игнатьева.

— Предупреждаю вас, Игнатьев: я включу сейчас магнитофон, для того чтобы вы могли прослушать одну запись, которая, возможно, заинтересует вас. У меня есть дела в изоляторе, я оставляю вас здесь одного. Если вам почему-либо захочется прослушать эту запись еще раз, то можете запустить ее снова — мне известно, что с магнитофоном вы обращаться умеете.

Произнеся это, Саша склонился над магнитофоном, поколдовал над ним и включил.

Из динамика сперва донесся предварительный шорох, что-то неразборчивое, а затем, когда Саша уже вышел из камеры, раздался мужской хрипловатый голос, сперва не очень уверенный, прерываемый болезненным кашлем, а затем постепенно крепнущий:

— Здравствуй, Федя. Это я — твой отец, Илья Денисович Игнатьев. Немножко я простыл, вроде гриппа, что ли, не смог прийти к тебе на свидание. А мать твою тоже не пустил: был у нее вчера участковый врач, мерил давление — двести десять на сто двадцать. Ну куда с таким давлением... Вот и решили мы так с тобой повстречаться: лешта крутится, мать рядом лежит на кушетке, а я, значит, говорю в микрофон... Интересно получается, сын: техника кругом новая, а горе у людей старое. Ни в чем я тебя попрекать не стану — и так тебе несладко в тюрьме, — а только хочу сказать, что, когда я, раненный в живот, лежал ночь в лесу под Тихвином, то я знал, за что раненный. И боль моя, хоть и была сильная, а я ее понимал. И всего-то я на год старше был, чем ты нынче... Ну, да ладно, будет об этом! Приходил к нам третьего дня в гости твой механик дядя Леня. Хороший он мужик, понравился нам с матерью. И тебя хвалил за твою работу в парке, говорил, что руки у тебя умные. Мать показывала ему наш альбом с твоими детскими фотокарточками. А плакать я ей категорически воспретил. Нашкодил в тот вечер наш кот Максим — съел полкило трески на кухне. Хотел я его оттащить, да пожалел... Интересно получается в жизни, Федя. Ведь я, пацаном, сумасшедший охотник был, и ружьишко у меня от отца осталось — «Зауэр», три кольца, цены ему не было. А после войны вышел как-то в лес по чернотропу, заяц на меня выбежал, приложился я в него, и вдруг как ударило мне в башку: а за что, собственно, я собираюсь лишать его жизни? Чем он, белаяк, провинился перед людьми? Поверишь, Федя: взял я свое ружьишко — и об сосну!..

К чему я тебе это рассказываю? Да ни к чему, просто так. Дома-то нам с тобой никак не выходило побеседовать: ты все рукой махал на меня — да брось, батя, да надоело, хватит меня воспитывать! А разве я тебя, Федя, воспитывал? Я тебе, Федор, верил. Поскольку в

нашей семье неоткуда было взяться дурному... Не реви, мать, тебе что велено было?.. Ну, ладно, сын, лента, я вижу, кончается. С приветом к тебе, твои родители... Эх, Федя, Федор, сынок ты наш родной...

И магнитофон умолк. Доносится лишь шорох крутящейся пустой ленты.

При первых звуках отцовского голоса Федя растерянно заозирался: он быстро и как-то испуганно взглянул на дверь камеры, словно желая убедиться, что он один здесь, никто за ним не присматривает; и тотчас лицо его, дотоле вяло-нахальное и равнодушное, преобразается — оно становится почти по-детски беспомощным, жалким. Лихорадочно схватив сигарету, он закуривает, обжигая себе пальцы, но не чувствуя боли. Сигарета гаснет часто, мы видим его руки, по многу раз чиркающие спички. Он уже не сидит заложив ногу за ногу. Привалившись к столу грудью и подперев свою непутевую голову руками, он безотрывно смотрит на динамик, откуда звучит голос отца, все более и более горестный.

И когда аппарат умолк, Федя торопливо, еще раз взглянув на дверь, поднялся и неверными руками попытался снова запустить ленту. Он не мог попасть в начало записи — из динамика выплелась фраза:

— ...Нашкодил в тот вечер наш кот Максим — съел толкило трески. Хотел я его оттаскать, да пожалел...

В следственную камеру вошел Саша Овчаренко. Не глядя в ту сторону, где должен сидеть Игнатъев, Саша укладывает магнитофон в чемоданчик и убирает его со стола. Вынул из кармана пачку сигарет, протянул ее через стол:

— Кури, Федя.

Не подымая лица, Игнатъев берет сигарету и тихо говорит:

— Записывайте... Сейчас все расскажу...

— Значит, благословляешь, Анатолий Дмитрич? — спрашивает Гордеев.

Он идет рядом с Селезевым по коридору райотдела, — они только что вышли из буфета. Дожевывая на ходу бутерброд и вытирая губы носовым платком, Селезев отвечает:

— Давай, действуй, Кирилл. С твоими овощными торгашами как раз мы и уложимся за этот месяц в сроки. Не ахти какое место у нас по городу, но все-таки...

— А ты грабеж с шапками считал? Там, между прочим, Саша неплохо сработал: мы думали — один эпизод, а Игнатьев на последнем допросе взял на себя три.

— Считал я, все считал.

— Сашу я прихвачу сейчас с собой. Пусть поучится...

Они уже кивнули друг другу на прощанье, но Гордеев вдруг взял Селезнева за локоть.

— Насчет Коромыслова... Можешь, конечно, опять начальственно цыкнуть на меня, но я тебе в последний раз, по-дружески говорю. Паровозом в этих грабежах был Игнатьев. Роль Коромыслова в этой группе...

— Ладно, Кирилл, — перебивает его Селезев. — Спасибо за совет.

Из ворот районного ОВД выезжает милицейский крытый пикап.

Рядом с шофером в кабине — Гордеев.

В кузове сидят два оперативника и Саша. Крепкого телосложения молодые люди сидят на одной скамье, Саша — на другой.

Оба оперативника — бывалые работники угрозыска. Старшему, Берису, лет тридцать, он недавно бросил курить, мается из-за этого и непрерывно сосет леденцы.

Второй дремлет, хотя размокшая сигарета дымится у него в губах.

Пикап мчится по дневному городу.

Гордеев взглянул на часы — половина второго. Посмотрел в окошко.

— Остановишься за квартал, — велит он шоферу. — К самому магазину не подъезжай.

Проехав еще немного, пикап затормозил в тихом переулке, свернув за угол. Шофер остался в машине. Все вышли.

— Пойдешь, Борис, со мной, мы с заднего хода, — задержавшись на мгновение, говорит Гордеев. — Ревизор из торгова уже, вероятно, дожидается нас. А вы, ребята, входите нормально, за десять минут до закрытия. Успеете сделать контрольные закупки. Есть вопросы? Все четверо пошли по улице врозь.

Магазин.

Здесь сейчас немного покупателей. Магазинычок этот вроде бы захудалый, торгуют тут овощами, сухофруктами, бакалеей. Две продавщицы работают за прилавками.

В дверь вошел оперативник, вслед за ним — Саша. Они приближаются порознь к прилавкам: Саша — к бакалейному, оперативник — к овощному.

— Вы последние, сейчас закрываем на обед, — говорит им продавщица.

— Пожалуйста, полкило риса и килограмм сухофруктов, — просит Саша.

Продавщица отвечает ему покупки.

Одновременно оперативник, вынув из кармана нитяную авоську, покупает картошку и помидоры у второго прилавка.

Оглянувшись и увидев, что других покупателей уже нет в магазине, оперативник быстро подходит к дверям на улицу, закрывает их с внутренней стороны на крюк

И оборачивает картонку «Закрито на обед» лицевой стороной к тротуару.

Затем так же быстро возвращается к прилавку и показывает продавщицам свое раскрытое удостоверение.

— Из угрозыска, — коротко сообщает он и велит Саше: — Перебесь наши контрольные покупки на тех же весах. Я — к Кириллу Ивановичу. Продавщиц приведешь туда же.

Откинув крыло прилавка, оперативник исчезает в глубине магазина.

Кабинет директора овощного магазина — дощатый закуток рядом с кладовой.

Когда Саша появляется в этом закутке, работа здесь уже идет вовсю. В кладовой лысый сухонький ревизор дотошно взвешивает на больших десятичных весах ящики с компотной смесью и мешки с картофелем. Ему помогают оперативники, он сдерживает их напористую нетерпеливость.

— Спокойненько, спокойненько, молодые люди, — приговаривает он. — Суета порождает беспорядок. А беспорядок — это питательная среда для наличия преступлений.

Сухонький ревизор, очевидно, обожает афоризмы.

Руководит всей операцией Гордеев. Он сидит за столом директора магазина, перед ним ворох накладных, счетов, служебных бланков. Откладывая все это для ревизора, Гордеев и сам ловко шелкает костяшками канцелярских счетов, что-то прикидывая, что-то записывая и не выпуская из поля зрения директора магазина, который выкладывает на стол содержимое несгораемого шкафчика-сейфа.

Опустошив сейф, директор стоит с безучастным видом, словно происходящее сейчас в магазине не имеет

к нему; к директору, никакого отношения. Он старательно чистит обкусанной спичкой ногти.

Гордеев взглянул на него.

— Выньте-ка из своих карманов все, что у вас там есть.

Директор роется в своем плаще, пиджаке, брюках — содержимое карманов кладет кучкой на край стола.

Здесь, очевидно, ничего заслуживающего внимания нет. Гордеев проглядел эту кучку никчемного барахлашка, переложив ее с места на место.

— Саша, посмотри-ка у гражданина Лебедева в заднем брючном кармане, — велит Гордеев. — Случается, запихнешь туда что-нибудь и забудешь. У меня у самого сколько раз так бывало...

Не дожидаясь, покуда Саша обыщет его, Лебедев с глубоко оскорбленным видом, вынимает из заднего кармана маленькую трепаную записную книжечку.

Медленно листая странички, замусоленные и нечистые, Гордеев с интересом впивается в них.

— Ну, вот видите, как симпатично! — весело говорит он. — Здесь у вас и десять тонн картофеля, незаприходованного в накладных. Здесь и точная раскладка сухофруктов. Освежите-ка, пожалуйста, в моей памяти, Лебедев, сколько положено на килограмм компотной смеси процентов кишмиша, урюка, кураги и яблок?

Тем временем в кладовой оперативники продолжают взвешивать и записывать по сортам все эти сухофрукты.

Вернувшись снова в директорский кабинет, мы видим Гордеева, вздевшего на свой нос очки, — теперь он похож на заправского бухгалтера, — и придвинувшего к себе счеты. Щелкая костяшками, он говорит директору:

— Значит, кишмиша положено сорок пять процентов на кило, а у вас — шестнадцать. Кураги положено пятнадцать процентов, а у вас — четыре. Зато с сушеными яблоками вы здорово размахнулись: положено семь процентов, а вы навалили тридцать пять. Поскольку это

самый дешевый фрукт... Влажность мы тоже проверим в лаборатории.

Порывшись в накладных, Гордеев спрашивает директора вполне дружелюбным тоном:

— Тут у вас зафиксировано, что помидоры со склада вы получили нестандартные по цене восемьдесят копеек за килограмм. Правильно я понял?

Директор кивает.

— Миша! — кричит Гордеев одному из оперативников, возящемуся в кладовой. — Ты почему платил за помидоры?

— По рублю двадцать, Кирилл Иванович.

— Ясненько, — говорит Гордеев. — Саша, опроси-ка девушек, сколько они сегодня продали помидоров? И какая на них была этикетка?

Он обернулся к директору и снова взял со стола замусоленную записную книжечку, полистал ее.

— Тут у вас имеется один номерок, записали, наверное, наспех... — Гордеев поднес книжечку поближе к своим глазам и прочитал: — Волга, триста семьдесят шесть... Надо полагать, это номер вашей очереди на автомашину?

— Жена записывалась... Думали, может, по займу выиграем...

— Бывает, бывает, я сколько раз в газетках читал — выигрывают!..

Операция в магазине подошла к концу. Заглянув в кладовую, Гордеев тихо велит оперативнику:

— Лебедева отвезешь в изолятор. Постановление на арест ему уже предъявлено. Сожительницу его, Евдокию Тулину, ребята тоже взяли на овощной базе. А мы поедem сейчас к ним на квартиру...

Вернувшись в директорскую конторку, Гордеев взял с подоконника табличку с надписью «Санитарный день» и подал Саше:

— Приладь к дверям.

На дверях магазина, буквами к улице, висит табличка: «Санитарный день». Мимо этих дверей проезжает милицейский пикап. Рядом с шофером — оперативник Миша. В кузове, в одиночестве, — директор магазина.

По улице, вглядываясь в номера домов, идут Гордеев, Борис и Саша.

— Значит, так, — говорит Гордеев, кладя руку на Сашино плечо. — Ты ушами не хлопай, ты на старуху посматривай. Мы с Борисом будем производить обыск, а у тебя одно задание — старуха. Она себя непременно окажет... — Пройдя еще немного, спрашивает: — В первый раз?

— В первый, — ответил Саша.

— Приучайся. — Гордеев остановился у ворот одного из старых домов и заглянул во двор. — Сейчас запасемся понятиями. Давай, Борис, дворника.

Борис ушел. Гордеев в ожидании закурил, присев на тумбу у ворот. Настроение у него хорошее, он сейчас сласвоохотлив.

— По мелочи найдем что-нибудь. Золотишка, конечно, у них нет, деньжата должны быть. Я этих делашей грёс порядочно, крепкие попадаютя орешки.

— А бывало, что ничего не находили? — спросил Саша.

— Если версия отработана правильно, — сказал Гордеев, — то брака не бывает.

Вернулся Борис с молоденькой дворничихой. Вероятно, он уже объяснил ей, в чем состоят ее нынешние обязанности, потому что она молча прислонила свою метлу к стене и пошла впереди Гордеева. По пути прихватили еще соседку — та согласилась охотно, со скуки.

Поднялись по черной лестнице на третий этаж. У самой двери в квартиру Гордеев спросил дворничиху:

— Вас как зовут, товарищ дворник?

— Катя.

— Значит, Катя, сделаем так — если спросят: откуда? — отвечаете: из жилконторы. Ясно? — Он посветил спичкой у звонка и, прочитав на карточке: «Лебедев, Тулина», добавил: — Нажимаем три раза.

Сперва никто не откликнулся, и Гордеев хотел было надавить еще, но потом за дверью раздались быстрые мелкие шаги и чей-то тонкий голос спросил:

— Кто?

— Я, — сказала дворничиха. — Открой, Люба.

Дверь отворилась, и девочка лет десяти, в школьном платье и в белом школьном переднике, отступя немного назад, поздоровалась:

— Здравствуйте, тетя Катя.

— Здравствуй, — ответил Гордеев, проходя вперед дворничихи. — Где тут у вас свет зажигается?

Поднявшись на цыпочки, Люба дотянулась до выключателя и засветила тусклую лампочку под потолком прихожей. На стене висит велосипед без колес. Перед ним стоит старый сундук. Три вешалки прибиты по углам. Длинный темный коридор уводит из прихожей в глубь квартиры.

Теперь Гордеев снова пропустил вперед себя дворничиху и пошел вслед за ней, позади него Борис с Сашей и Люба. У третьей двери направо Катя остановилась и постучала.

— Чего там, — сказал Гордеев и нажал на ручку.

В комнате на неприбранной железной кровати сидит углая старуха в стареньком темном платье и в больших, не по ноге, разбитых валенках. Голова ее повязана толстым шерстяным деревенским платком.

— Добрый день, бабушка, — сказал Гордеев.

— И вам также, — ответила старуха беззубым голосом.

— Вот какое дело, — сказал Гордеев, — мы из райотдела милиции. Вы грамотная, бабуся?

Старуха ничего не ответила. Люба подошла к ней и встала рядом.

Наклонившись к дворничихе, Гордеев тихо и чуть досадливо спросил:

— Бабку-то как звать?

— Ксения Макаровна. Она погостить приехала, из деревни.

Гордеев придвинулся к старухе поближе и, слегка согнувшись над ней, громко и раздельно произнес:

— Разъясню вам, Ксения Макаровна. Сейчас мы читаем вам один документ, называется постановление на обыск комнаты вашего сына Лебедева Валерия Никифоровича и его сожительницы Тулиной Евдокии Ивановны. Ясно?

— На работе они,— сказала старуха.— В обед придут.

— Давай,— обернулся Гордеев к Борису.

Борис вынул из портфеля постановление и, не сходя с места, прочитал его вслух.

В комнате пасмурно и неопрятно. На столе, покрытом липкой клеенкой, стоят вразброс тарелки с остатками немудреной еды. Пустая коробка из-под дешевых консервов. Бутылка с недопитым кефиром. На придвинутой к темноватому окну парте — окно выходит в стену соседнего дома — лежат стопкой детские учебники и раскрытая тетрадь. Постель с дивана не убрана, а скатана к изголовью.

Покуда Борис читал, дворничиха Катя опустилась на стул у двери.

Гордеев же быстрым, приценивающимся взглядом скользит по комнате.

Присев на краешек дивана, Саша следит за старухой. Она сидит все так же неподвижно, редко мигая короткими ресницами. Еще в самом начале, как только они все вошли, она выпростала одно свое ухо из-под толстого платка, чтобы лучше слышать голоса чужих

людей, и теперь повернулась к Борису этим большим голым ухом.

Прочитав постановление, Борис показал этот документ старухе, понятой Кате и, сунув его обратно в портфель, тем же плоским голосом, которым читал сейчас, произнес подряд:

— Оружие, яды, золото, драгоценности прошу выложить на стол.

— В обед обязательно придут,— сказала старуха.— Валерик велел картошки начистить, а Дуська обещалась принести котлет.

Девочка потянула старуху за рукав и, придвинув губы к ее уху, горячо зашептала ей что-то.

Тем временем Борис с Сашей убирали уже грязную посуду со стола на подоконник; липкую клеенку сняли и, аккуратно сложив ее, повесили на спинку стула.

— Люди добрые,— сказала старуха.— Как же без хозяев-то?

— Мы, Ксения Макаровна, действуем согласно закону,— пояснил Гордеев.— Постановление вам было предъявлено, понятые тоже с ним ознакомлены.

Он подошел к платяному шкафу, стоящему у самой двери, и подергал запертую дверцу.

Борис начал обыск комнаты слева направо, Гордеев — справа налево. У окна они должны были встретиться.

Борису было проще: на его пути попадались незамысловатые вещи — телевизор, тумбочка, этажерка. У телевизора он отвинтил заднюю стенку, чтобы видны были внутренности, повернул ящик к свету, пошарил рукой в пыли. Ни о чем постороннем он сейчас не думал. Его вело чутье, как ведет оно собаку, взявшую след. Отличало же его сейчас от собаки, идущей по следу, отсутствие злобности. Тихонечко и даже благодушно на-свистывая, он искал, вкладывая в это дело только свой опыт и логику, а эмоции его сейчас в деле были ни

к чему. Под руками все у него спорилось: здесь надо отвинтить, эту крышечку приподнять, а эту штуковину поставить на попа и постучать по ней, нет ли там двойного дна. Беспокоила его, пожалуй, только старуха — ее кровать стояла с его левой стороны, и он изредка озирался, суетно поглядывая на нее и, видимо, соображая загодя, как с ней придется поступить.

У Гордеева же не задалось с самого начала. Начал он с платяного шкафа, а дверцы его были заперты на ключ. Нижние ящики тоже не поддавались усилиям следователя.

— Ключ у кого, девочка? — спросил он Любу.

Она ничего не ответила, ожесточенно заплетая и расплетая свой косички.

— Я вас, Ксения Макаровна, по-хорошему прошу, — сказал Гордеев. — Конечно, это для вас неприятное переживание, но постановление вам было зачитано в присутствии понятых, социалистической законности мы не нарушаем, а ключи вы должны мне вручить.

— Люди добрые, — сказала старуха, подняв на Гордеева размытые годами глаза. — Дождитесь вы, за ради Христа, Валерика. И ключи при нем, и сам разъяснит... Можете вы это понять — не хозяйка я здесь...

Люба потрясла ее за колено и громко сказала:

— Перестань, бабушка. Не проси их.

— А ты, девочка, села бы за уроки, — посоветовал ей Гордеев, продолжая подергивать ящики шкафа. — Вон у тебя и книжки разложены. А то схватишь завтра в школе двойку — разве это хорошо?..

Люба окинула его гордым и презрительным взглядом, подняла с пола мяч и принялась кидать его об стену, ловя в руки.

Гордеев нашарил в своем кармане связку ключей от служебного письменного стола; всовывая их поочередно в замочные скважины, он подобрал наконец подходящий и отпер шкаф.

Обыскивать шкаф Гордеев начал планомерно. Сперва он открыл широкую правую створку. На круглой палке, от стенки до стенки, висела вплотную друг к дружке на деревянных плечиках мужская и женская верхняя одежда. Висела она, как в магазине.

Вынув наугад на свет несколько вещей — пальто, шубы, костюмы, — Гордеев быстро и ловко осмотрел воротники, края рукавов и убедился, что они ненадеваны.

Дворничиха Катя, не отрываясь, с горестным любопытством следит за тем, что делает Гордеев. Богатство, открывшееся ее глазам, богатство внезапное, которое она не может даже оценить, больно ушибло ее.

Поблизости от нее сидит Саша на диване, и, потрясенная, она шепчет в его сторону, хотя он и не слушает ее:

— Ах ты господи, что ж это на самом деле творится! — И глаза ее снова прикованы к распахнутому шкафу. — Наворовали середь бела дня Валерка с Дуськой. По двору в чем попало ходили, а у них вон сколько добра припрятано. Спину гнешь, лестницы моешь захарканные, вертишь контейнеры с помоями, другой раз так накантуешься, что пальцы не разогнуть. А они вон как живут. Матери родной этот Валерка леденца не принес. Валенки у нее прохудились, — так и ходит. Кругом у них с Дуськой, видать, все купленные были. Длинный этот копается в шифоньере, а вдруг да там деньги, взял и положил в карман. Поди потом дознайся...

— Товарищ понятая, — сказал Гордеев, — прошу посмотреть сберегательные книжки.

Запустив руку по локоть под белье, сложенное доверху стопкой на полке, Гордеев вынул четыре сберкнижки.

Катя подошла к нему, он разложил их на столе, отогнув и разгладив картонные обложки.

— Любовь Валерьяновна Лебедева, — негромко читает он. — Сумма вклада тысяча пятьсот рублей.

— Любовь Валерьяновна Лебедева, — читает Гордеев в следующей книжке. — Сумма вклада одна тысяча двести рублей.

— Ксения Макаровна Лебедева, сумма вклада пятьсот рублей.

— На предъявителя, сумма вклада девятьсот рублей.

— Паразит! — прошептала Катя. — Вот паразит!

Старуха сидит на железной кровати не шевелясь. Ей бы давно надо было прилечь на подушки, ломило поясницу, ныли опущенные вниз ноги, но лечь она не может, потому что в комнате чужие люди и она за это в ответе перед сыном и перед невесткой. Она пытается следить за этими людьми, поворачивая свою плохо слушающуюся голову вслед за их движениями, но глаза ее худо различают то, что делается сейчас в комнате, да и внучка стучит мячом по стене над самым ухом, голосов тоже не разобрать.

Ее клонит в сон, и, чтоб не заснуть, она беззвучно шепчет:

— Придут сейчас в обед, расшумятся на старуху: зачем пустила, зачем не вскричала соседей. А я их городских порядков не знаю. Случись в деревне, послала б Любу за самогонкой... Да тут еще исть охота, с утра плохо покушала, чинилась перед Дуськой...

От голода и от страха перед сыном старуха стала икать.

На столе посреди комнаты уже лежит груда вещей, добытых Гордеевым из шкафа: несколько картонных коробок по дюжине чулок в каждой, две стопки шерстяных импортных кофточек, три стопки — нейлоновых, отрезы бостона и драпа.

На другом конце стола Борис складывает кучку облигаций трехпроцентного займа, пять пар часов, мужских и дамских, несколько сережек и колец.

— Икону будем потрошить? — тихо спрашивает Бо-

рис у Гордеева, указав глазами на икону, висящую над кроватью.

— Не надо,— отвечает Гордеев, с опаской взглянув на икающую старуху.— Давай оформлять.

За окном совсем стемнело, зажгли электричество. Гордеев диктует негромко, Борис записывает, расположившись за столом и разложив бумаги.

А практикант Саша все так же сидит на диване и продолжает смотреть на старуху. Сперва он взял было газету и поглядывал поверх нее, как его учили. Однако ничего подозрительного он так и не заметил. Сидела против него старая женщина, руки ее упирались в край кровати, поддерживая неверное тело, чтобы оно не повалилось набок. Сперва лицо ее обеспокоилось, а потом утихло. Торчало из-под платка бесполезное ухо, шевелился острый кончик подбородка, словно она жевала, глаза заволокло мутной слезой. Раза два за время длинного обыска Саша видел: старуха вскидывалась, обводила слепым безучастным взглядом комнату, рука ее дотягивалась до девочки, проверяя, здесь ли она, не увели ли ее потихоньку прочь.

А девочка, на которую он тоже не мог не смотреть, стояла спиной к нему, спиной ко всем, отгородившись от них своей обидой и попанной гордостью; она играла в мяч, чтобы доказать им всем, что ничего не случилось, как было, так и останется...

— Ну, все,— сказал Гордеев, разминаясь.— Пошабашили, братцы.

Вместе в Борисом они развешивают и раскладывают вещи в шкафу и печатают его.

Во дворе стоят они трое и прощаются с дворничихой. Пожимая ей руку, Гордеев подмигнул:

— Вот такая получается картина, Катюша. Недосмотрела ты за своими жильцами, крепче надо держать

связь с участковым. Прошу прощеньица, что задержал.

Втроем они идут по вечерней улице. Проходя мимо столовки «Уют», Гордеев замедляет шаг.

— А что, ребята? Есть здорово охота, зайдем побыстрому поужинаем.

Усевшись в углу за столик, все трое порылись в своих карманах и добыли оттуда мелочь: кто — рубль, кто — трешку, кто — пятерку.

— Ого, кутим! — весело сказал Гордеев. — Давай, Борис, в буфет.

Борис принес из буфета три винегрета, графинчик водки и заказал по дороге официантке горячее.

Сперва жадно едят, набросившись на хлеб с горчицей. Выпили по стопке. Принялись за винегрет. И все это пока молча, как люди, сильно уставшие после длинного трудового дня.

— Славно поработали, — сказал Гордеев. — Я думал, они подальше заховают. Часы ты здорово, Борис, из тумбочки достал.

— А чего их было доставать, — сказал Борис. — Лежали себе и лежали. Зря мы икону не посмотрели. И бабкину кровать.

— Ненадежная была бабка. Могла загнуться. Давайте по второй.

— Разбавляют, заразы, — выпив, сказал Борис. — Больше тридцати градусов не будет.

— Как же они теперь? — спросил вдруг Саша, козыряя вилкой винегрет.

— Ты про кого? — Гордеев поднял на него захмелевшие от усталости глаза.

— Про старуху с девочкой. Они-то ведь не виноваты.

— Ну и что? — сказал Гордеев. — Мы их и не трогали. Старуха-то, положим, сына воспитывала. Не в лесу рос. Семья и школа — во главе угла.

— Где-нибудь у них еще припрятано, — упрямо ска-

зал Борис.— Зря я в иконе не покопался. У одного торговца вот такой бриллиант в лампаде нашел.

Гордеев не слушает Бориса. Положив вилку, пристально посмотрел на Сашу.

— Вон ты, оказывается, какой скромняга парены!

— Какой? — спросил Саша.

— Жалко тебе их?

— Конечно, жалко.

— А государство тебе не жалко?

Саша слабо улыбнулся.

— Ты чего ухмыляешься? — разозлился Гордеев.— Из чего состоит государство? Из людей. Видел, чего я выгреб из шкафа? Он овощи тоннами пускал налево, на компоте нажился, капитал сколотил на наших трудностях... Сволочь такая, пробы на нем негде ставить!

— Я же не про него,— сказал Саша.— Вы поймите меня, пожалуйста, Кирилл Иванович. Вот мы сидим втроем, пьем, едим. А там старуха с девочкой...— Он тихо добавил: — Старуха на мою бабушку похожа, такая же и у меня в деревне...

— А пошел ты на фиг! — сказал Гордеев.— Не имею я права об этом думать. Ясно тебе? И не желаю. У меня сердца на всех не хватит.

— И все-таки, здесь что-то не так,— сказал Саша.

— Ах, не так? — Гордеев приблизил к нему через стол свое красное, запотевшее лицо.— А можешь ты мне сказать — как?

— Не могу,— сказал Саша.

— Добренький какой! За государственный счет. Небось если б у тебя лично тиснули зарплату...

— Кирилл Иванович...— пробует возразить Саша.

— Я в детдоме вырос, понял? Голодный был, дражный, а за всю жизнь чужой копейки не взял. И ворье это, жуликов мордатых и сытых, которые грабят народ, дачи себе строят, покупают машины,— я бы их всех пересажал! — Он снова перегнулся через стол к Саше: —

Думаешь, злой человек Гордеев? А я, если хочешь знать, добрее тебя. Ты нынче одну девчонку и одну бабку сопливо пожалел, а я их сотни тысяч жалею и защищаю от расхитителей народного богатства. Доброта наша с кем борется? Со злом. Значит, у доброты должны быть кулаки, чтобы его одолеть... Понял, нет?

Опустив голову, Саша ест.

И вот он, худенький юноша Саша Овчаренко, в трусах, босиком, входит на цыпочках в комнату матери — сейчас ночь. Зинаида Петровна спит. Оглядываясь на нее, чтобы не разбудить, он потихоньку выдвигает ящик комода, роется в полутьме.

— Что тебе, Саша? — раздается голос матери.

— Спи, мамочка, — шепотом отвечает он.

Зинаида Петровна зажгла лампу над своей постелью.

— Что ты ищешь?

— Да тут одно лекарство...

— У тебя что-нибудь болит?

— Просто не спится, хотел принять снотворное. Извини, мама...

Зинаида Петровна приподнялась — она в халате, — и из шкатулки, стоящей в изголовье постели, вынула пакетик таблеток. Протянула сыну.

— Ты принимаешь эту гадость, Саша, в третий раз за неделю. Что с тобой все-таки происходит?.. Я же вижу, Саша.

— Ничего особенного: сижу допоздна в душном, накуренном кабинете — вот и все.

Молчание.

— В детстве ты мне никогда не лгал.

Он подошел, сел на постель в ногах у матери.

— Я хотел у тебя спросить, мама: разве добро должно быть непременно вооружено кулаками?..

Запахнув халат и подобрав под себя ноги, Зинаида Петровна оперлась спиной о высоко взбитую подушку — очевидно, вот так, ногами, мать, не впервые разговаривает с сыном.

— Кто это тебе сказал, Саша?

— Один человек.

— Хороший?

— Честный... Я немножко запутался, мама. Мне становится все труднее определять людей одним привычным словом — хороший, плохой...

— Одним словом, вероятно, и невозможно, Саша. Это только в учебниках бывает: положительные и отрицательные типы. А насчет добра с кулаками — знаешь что, сын? Конечно, за добро нужно бороться. Только когда говорят — «с кулаками», некоторым людям нравится именно это: добро для них в дальней перспективе, а сейчас можно пускать в ход кулаки... Я вообще думаю, что нигде люди так не напутали, как в понятиях добра и зла: религия напутала, история напутала...

Зинаида Петровна говорит тихим ночным голосом.

В изножии постели прикорнул Саша. Он спит. Быть может, все это только снится ему.

И реально лишь одно: мать покрывает его краем одеяла.

— Тебе трудно, сын? — тихо спрашивает она.

— Кирилл Иванович, зайди-ка, пожалуйста, ко мне, — говорит Селезнев по телефону.

Он кладет трубку и листает бумаги в папке.

Перед его столом сидит насупленный Саша.

Вошел Гордеев, опустился на стул против Саши, не глядя на него.

— Значит, ты полагаешь, — говорит Гордееву Селезнев, — что Томилина следует судить вместе с Игнатье-

вым, а по поводу Коромыслова можно ограничиться комиссией по делам несовершеннолетних?

— Я изложил свою точку зрения в обвинительном заключении.

— Ты присутствовал на допросах, которые вел практикант?

— Иногда присутствовал, а иногда доверял ему вести их самостоятельно.

— А тебе не кажется, что обвинительное заключение не всегда соответствует протоколам допросов?

Гордесв качнул головой в сторону Саши:

— Это кто ж утверждает — ты или он?

— Я пока ничего не утверждаю, я спрашиваю, — говорит Селезнев.

— Хорошо. Отвечу. Я неоднократно указывал практиканту, что протоколы надлежит вести строго объективно, придерживаясь лишь фактов, относящихся к делу. Эмоции следователя ни прокуратуру, ни суд не интересуют...

— Но если я вижу, что Томилин еще не является социально опасным, — волнуясь, говорит Саша.

— Это откуда же тебе так точно известно? — спрашивает Селезнев.

— Я ему верю.

— Печенкой, что ли?.. Был когда-то на заре нашего правосудия такой стилек у следователей: «Печенкой верю!» или «Печенкой не верю!» Дорого обходилась нам эта печенка!

— Вы мне не дали договорить, — вспыхнул Саша. — И я не понимаю, почему следователь должен быть лишен эмоций? Печенка здесь ни при чем. А понятие веры в человека или ощущение, что он лжет, ощущение личности человека...

— В суд с одними ощущениями не суются, — говорит Гордеев. — Их положено документировать, отражать в

протоколах. И отражать так, чтоб поверили все, а не только персонально ты!

— Но Игнатъев на допросе показал, что этот парень впервые был с ними. Он стоял в подворотне и даже не знал, что Игнатъев вместе с Коромысловым уже трижды занимался грабежом шапок. Ваню Томилина и привел Коромыслов, сказав, что Федька Игнатъев приглашает сейчас всех в ресторан. Вы же читали показания и самого Коромысова — он тоже не отрицает этого...

— Да мальчишка он, — отмахнулся Гордеев. — И болтает что попало. А ты еще и вел-то последний допрос с нарушениями: задавал наводящие вопросы. Это, к твоему сведению, запрещено законом! Я велел тебе допросить его еще раз...

— Вы велели не только поэтому! — вспыхнул Саша. — Вас не устраивают показания Коромысова — они его изобличают... Хорошо, я нарушил, сделал неправильно. Я знаю, что нельзя задавать наводящие вопросы, я понимал, что нарушаю... А знаете почему? Коромыслов сперва трусливо врал и юлил, а потом, когда я его припер к стенке, стал вести себя нагло...

Селезнев потемнел.

— Почему это не отражено у тебя в протоколах?

— Я не хотел подводить вас. Я видел, что вы еще не решили... И для меня было всего важнее, чтобы Ваню Томилина не отдали под суд... Я в него поверил. В ПТУ мне сказали, что они возбудят ходатайство взять его на поруки. Мне обещали...

— Ладно, — подымается Селезнев. — Это дело требует доводки. Я займусь им... Все, Саша, можешь идти. А тебя, Кирилл Иванович, прошу задержаться.

Они стоят друг против друга — раздосадованный Гордеев и холодно-спокойный, как всегда, выдержанный Селезнев.

— Постановление на арест Петра Коромысова я уже вынес, — говорит Селезнев, протягивая Гордееву

ордер:— Сделай это сегодня же, мы и так прсканителились с ним... Теперь вот что. Двухмесячный срок практики Саши Овчаренко подходит к концу. Курировал его ты, Кирилл. Стало быть, ты и набросай проект характеристики на него:

— Не смогу написать объективно,— сказал Гордеев.— Врать не хочу, а не по душе он мне.

— Это не формулировка для такого опытного коня, как ты. Чем не по душе?

— Ну ладно: с Коромысловым, может, и его правда. Я дал маху — хотел спокойно закончить месяц с хорошими показателями... А вообще-то Овчаренко этот уж очень носится со своими переживаниями. Честный парняга, грамотный, неглупый, но еще сопливый, понимаешь? Суровости в нем нету. А в нашем следовательском деле без надлежащей суровости можно дров наломать — будь здоров!

Сняв свои очки и протирая их носовым платком, Селезнев посмотрел на Гордеева сильно близорукими глазами и спросил:

— Тебе известен такой термин в психологии: профессиональная деформация души?

— Да вроде слышал на лекциях,— буркнул Гордеев.

— Я тоже слышал. И тогда не придавал этому значения. А вот, проработав в органах милиции восемнадцать лет, повседневно имея дело со всяческим отребьем, скажу тебе откровенно: иногда я ловлю себя на том, что боюсь слишком уж «посуровать». Если говорить совсем честно, то боюсь профессионально деформироваться, очерстветь.— Он надел очки.— Вот почему я так охотно беру практикантов к себе в отделение: от лучших из них исходит некая струя кислорода, хотя возни с ними и хлопот не оберешься. И пользы пока — чуть.— Он сел за стол.— Ну так как, сочинишь на него характеристику?

Гордеев пожал плечами.

— Я ведь и приказать могу,— уткнувшись в бумаги на столе, сказал спокойно и негромко Селезнев.

— Ладно. Напишу. Только если будет что не так...

— А я пройдуся по ней рукой мастера. Подписывать-то ведь ее вместе будем.

Ранним вечером — еще только вспыхнули уличные фонари — быстро и весело выходит из подъезда районного ОВД Саша Овчаренко.

Размахивая на ходу своим огромным, не по росту, портфелем, бежит к троллейбусной остановке — здесь толпятся уже у распахнутых дверей пассажиры.

Саша втиснулся в троллейбус последним. Его куртка и локоть прижаты захлопнувшимися дверьми.

В мчащемся троллейбусе раздается голос водителя по радио:

— Потеснитесь, граждане! Молодой человек, подымитесь со ступеньки!

Пассажиры потеснились, Саша высвободил локоть и куртку, поднялся выше.

Он бежит по людной улице от остановки троллейбуса к своему дому.

Вошел в подъезд и начал было взбегать по лестнице, однако застыл, увидев Лиду с Мишей, — они стоят здесь на нижней площадке.

— Здорово, сестренка! — говорит Саша, приближаясь к ним.

— Приветик! — независимым тоном отвечает Лида.

— Мама дома?

— Не знаю, я еще не заходила.

— Ясненько. — Он деловито осматривает лестничную площадку. — Вам бы, ребята, надо бы как-нибудь обставиться здесь: сервантик, что ли, поставить, письменный

стол, два креслица, Шишкина можно повесить на стенку...

— Непременно воспользуемся твоим советом. Шишкин — это как раз твой мильтонский вкус.

Он дружелюбно погладил ее по голове.

— Бедная ты, бездомная сестричка!..

— А что? Вечно ты торчишь в моей комнате...— Она отвела его руку.

Саша потоптался и вдруг хлопнул себя по лбу.

— Вспомнил!.. Миша, можно тебя на минутку?

Он отводит оробевшего юношу в сторону.

Лида говорит вслед:

— Не слушай его, Мишка, он сейчас какую-нибудь гадость скажет...

Саша говорит юноше шепотом, заслоняя его от Лиды:

— Понимаешь, какое дело: я сегодня получил первую зарплату. Возьми у меня в долг трешку и своди Лидку в кафе-мороженое.— Незаметно сует ему деньги.— Она шоколадное любит и крем-брюле... И чтоб больше я тебя здесь в подъезде с ней не видел. Понял?

Вверх по лестнице, шагая через две ступеньки, размахивая огромным тяжелым портфелем, несетя Саша Овчаренко.

КАТЯ

История одной любви



Друг моего далекого детства Саша Белявский погиб под Киевом в первый год войны. Но еще задолго до его смерти мы виделись с ним так редко, что, встречаясь, испытывали оба странное чувство: давнее знакомство обязывало нас к близости, но близости этой не было, пожалуй именно из-за давнего знакомства.

Нас связывали детские воспоминания, окаменевшие, как на любительской фотографии. Все, что мы помнили, можно было перечислить по пальцам: какая-то, уже нереальная, дача под Харьковом, гамак, на котором мы качались, жуки в спичечных коробках, гроза с градом, игра в индейцев. Доброе, глухое детство, отгороженное от всего мира, от злого потока внешней информации, как теперь принято говорить, — оно не давало нам права на взрослую дружбу.

Мы росли в очень разных семьях. Отец Саши, крещеный еврей, был видным харьковским юристом. В моем нищем дворе на Рыбной улице к таким людям относились путано: их уважали, но с оттенком презрения.

В конце двадцатых годов я уехал с Украины в Ленинград, и с тех пор мы виделись с Сашей от случая к случаю: то он приедет в командировку на север, то я появлюсь у своих родных в Харькове. Встречаясь, мы

начинали с того места, на котором остановились в детстве, и уже никак было не сдвинуться вперед.

Я знал, что Саша окончил филологический факультет. Он знал, что я ничего не окончил.

Обстоятельства гибели Саши Белявского мне были неизвестны. Кто-то из наших общих друзей сообщил еще в горестном сорок первом году, что Саша пропал без вести, когда наши войска оставляли Киев. Печальные известия того времени шли на людей стеной.

Года через три я получил письмо от Сашиного отца. Сергей Павлович писал мне, что розыски сына ни к чему не привели. Очевидцев его гибели не было, однако один из офицеров разведки известил Сергея Павловича, что видел Сашу последним. С пехотным полком армейский переводчик Александр Белявский попал в окружение. Полк пытался прорваться сквозь кольцо, Саша сражался в строю, как боец, однако пробиться из окружения удалось немногим — Саши среди них не было.

Вот, собственно, и почти все, что я узнал о друге моего далекого, глухого детства.

Однако с течением времени я стал получать редкие письма от харьковских мальчиков и девочек. Они были теперь пенсионерами и, располагая свободным временем для того, чтобы обдумать прожитую жизнь, собирали вокруг себя свое прошлое. Из тьмы времен возникали для меня, вырванные пламенем чужих воспоминаний, картины моего немудреного детства. Они были косноязычны для постороннего, я не мог бы их пересказать...

Среди писем, которые я получал от девочек и мальчиков пенсионеров, среди их фотокарточек, против которых бунтовала моя память, я стал получать любезные послания из Самарканда.

Писала мне Зинаида Борисовна Струева.

Сколько я ни ворошил свои воспоминания, мне никак было не припомнить этого имени. А она-то знала о моем

детстве, о моей юности все. В каждом своем письме Зинаида Борисовна походя упоминала людей и события настолько точно, что я диву давался.

Откуда ей было знать о моем нищем дворе на Рыбной улице? Я и сам-то смутно помнил, как стриг на скамейке Леньку Брагина: стащив у отца машинку для стрижки, я уговорил Леньку, гнусавого моего соседа по лестнице, дать мне возможность овладеть парикмахерским искусством. Машинка впилась в ужасающие Ленькины кудри и повисла на них в десяти сантиметрах от его низкого лба. Вопли моего клиента согнали во двор все население нашего трехэтажного дома. Я был порот отцом нещадно. Об этом писала мне Зинаида Борисовна.

Она писала и о том, что я был влюблен в Нару Золотухину. Откуда это имя — Нара?.. Я прикоснулся своими неумелыми губами к твоей розовой щеке, Нара. Мы стояли с тобой за кулисами самодельного зрительного зала тридцатой трудовой семилетней школы.

Ты только что прочитала со сцены стихи Брюсова: «Каменщик, каменщик в фартуке белом, что ты там строишь?» И каменщик отвечал — тюрьму. Я поцеловал тебя в щеку, коченея от восторга. А потом мы пошли провожать тебя вчетвером, твои одноклассники, ты была пятой, и из этих пяти человек я чудом остался один на свете, потому что тебя тоже нет.

Фантастический двор на Рыбной, 28. Я не помню, каким он был до революции. Да и само это понятие — революция — являлось к нам во двор долго и по нескольку раз.

Я проходил потом по учебникам все то, что составляло мою жизнь. Однако сеть, при помощи которой историки пытаются уловить явления действительности, эта сеть состоит из слишком крупных ячеек — мой двор, вся

моя жизнь проваливаются в эти ячейки, и я всегда остаюсь мальком, неинтересным для истории.

История легко объясняет судьбу целого класса, но не в силах разъяснить жизнь одного человека. Впрочем, это и не входит в ее обязанности. Потому что если закономерности целого класса обрушить на судьбу каждого человека, то ему не снести своей ноши.

Я хотел бы, чтобы ко мне относились как к неповторимой личности. И готов платить тем же всему человечеству.

Есть один способ сделать себя неповторимым, хотя бы для себя. Нужно вспомнить свою юность. И тогда покажется, что она удивительна. Когда рядом с тобой в юности живут твои сверстники, всем нам представляется, что у нас одна судьба. Проходит время, наши судьбы извиваются и закручиваются, они горят, как бикфордов шнур, и каждый из нас гаснет или взрывается по-своему...

Во дворе нашего дома стоял пулемет. Он был обращен стволом к подворотне. Ворота заперты наглухо, а в единственном парадном подъезде круглосуточно дежурила самооборона. Пять-шесть мужчин, расставив на нижней лестничной площадке ломберный стол, круглые сутки играли в преферанс.

Мой отец тоже входил в эту самооборону — так она называлась в нашем дворе. У отца была пагубная страсть к огнестрельному оружию. Он собирал револьверы, никогда не стреляя из них.

Странная аберрация памяти происходит, когда думаешь о своих родителях, — они всегда для нас старики. Моему старику отцу было в те годы недалеко за сорок. Он годился бы мне сейчас в сыновья.

В каком же это было году, Зинаида Борисовна? Я стою, зажатый коленями отца, в хоральной синагоге. Громкое бормотанье обступило меня со всех сторон. Шелковые полосатые талесы покрывают плечи и спины

молящихся. Никакой веры нет в моей душе. Для меня это игра, которую придумали взрослые. Я вижу, что им наскучивает играть в нее.

В перерыве между службами они до отказа заполняют квадратный синагогальный двор. Молитвенная пленка скуки, придававшая их глазам одинаково сонное выражение, рассеивается. Шум, как пар, стелется над двором. Мне непонятно и неинтересно слушать, о чем они говорят. Сейчас я догадываюсь, что они говорят о политике.

Много лет спустя я бывал в костелах, мечетях и церквях. Насколько же больше святости, истовости и благолепия во всех этих храмах. Я имею в виду не архитектуру, а религиозный климат молельного дома.

В моей семье верили в бога буднично. Меня заставляли молиться. Но понуждали меня к этому так же, как к приготовлению уроков. Религия на Рыбной улице была синонимом респектабельности, соблюдения приличий.

В тринадцать лет, в день своего совершеннолетия, я произнес положенную речь в присутствии гостей. Она была написана мной на двух языках: на родном, живом — русском и на мертвом для меня — древнееврейском. Речь начиналась словами: «Дорогие родители и уважаемые гости!» Больше я из нее ничего не помню. Не помнил и тогда, когда произносил, ибо среди гостей сидела за столом ослепительная Таня Каменская; в ее каштановых волосах плавал бант. Она работает сейчас библиотекарем в городе Харькове. Мы виделись с ней в шестидесятом году. Когда я вошел в ее квартиру на Каплуновской улице, Таня успела шепнуть мне в дверях:

— Пожалуйста, не говори при муже, сколько мне лет.

Она могла бы и не предупреждать меня: Тане Каменской тринадцать лет навсегда, на всю мою жизнь.

И когда придет мое будущее детство — не может же оно исчезнуть бесследно, оно должно воротиться, — я явлюсь к Таниному нынешнему мужу и скажу ему:

— Если вы порядочный человек, верните мне мою Таню. Даю вам честное слово мальчика, что я пальцем до нее не дотронусь.

Мы возьмемся за руки и медленно спустимся по лестнице. Медленно, потому что у меня большое сердце, а у Тани разбиты подагрой ноги.

Вот наш двор. Мы сядем на лавочку. Таня поправит свой бант. Сперва мы посчитаемся:

Энэ-бэнэ-рэс,
Квинтэр-квантэр-жэс.
Энэ-бэнэ-раба,
Квинтэр-квантэр-жаба!

Всегда получается, что я — жаба. Мне начинать.

— Ух, какая ты красивая, — скажу я ей.

— Спасибо за комплимент, — ответит Таня. — Раньше ты мне этого не говорил.

— Я робел.

— Раньше ты говорил мне, что я давлю фасон.

— Но ведь ты же понимала, что я люблю тебя?

— Мало ли, что я понимала. Ты должен был сказать.

— Я люблю тебя.

— А зачем ты купил мороженое Лидке Колесниковой?

— Чтобы ты ревновала.

— И когда мы играли во флирт цветов, ты послал ей «Орхидею». Я посмотрела потом «Орхидею», там было написано: «Я утром должен быть уверен, что с вами днем увижусь я».

— Так это же Пушкин.

— Ты посылал не от Пушкина. Ты посылал от себя. Я проревела всю ночь.

— Твоя Лидка дура. Она нужна мне, как собаке «здрасьте»...

Мы сидим с Таней на лавочке.

Через три года умрет Ленин. Через двадцать лет в Харьков войдут немцы.

Эти походы в свое прошлое изнурительны. Перед тобой лежит черновик твоей жизни — никому ведь не дано жить начисто, — и ты не имеешь права вымарать ни одной строчки. Может быть, я ничего и не вымарывал бы, но я бы непременно вписал.

У историка Нечкиной есть книга — «14 декабря 1825 года». В тоненькой этой книжке рассказан, час за часом, один день русской истории. Восставшие полки выстроены офицерами-декабристами на Сенатской площади. Они ждут сигнала к выступлению. Николай гневно мечется по Зимнему дворцу. Перевес на стороне декабристов. Они ждут. С секунды на секунду должен появиться Трубецкой. По условиям заговора он — глава восстания. По его команде полки ринутся в бунт. Трубецкой опаздывает. Трубецкой не приходит. Николаю удается собрать войска и разбить наголову бунтовщиков.

Дочитав книжку Нечкиной, студенты спрашивают у нее на лекциях: ну, а если бы Трубецкой не опоздал? Если бы он прискакал вовремя?

Академик Нечкина отвечает им: истории противопоставлены эти вопросы. У истории нельзя спрашивать — если бы... Все закономерно у этой зануды истории.

Но у себя-то я имею право спрашивать?

Разве в масштабах моей крохотной жизни так уж все закономерно?

Сколько раз я хотел поступить не так, как поступал. Значит, мой личный Трубецкой тоже опаздывал? Он скакал где-то за моими плечами, иногда мне казалось,

что я слышу усталый храп его коня, а порой видна была только пыль на горизонте. Сукин ты сын, ваше сиятельство. И конь под тобой не жеребец, а мерин.

В двадцатом году в нашем доме приключился пожар. Ночью загорелась сажа в дымоходе. Весь день до этого во всех этажах пекли «гóменташи» — треугольные пирожки с маком. Их положено печь в канун веселого праздника пúрим. Старый дымоход не выдержал этого ритуального накала — пожар поплыл по вертикали, спалив три квартиры.

Мы сидели во дворе на узлах с бельем. Да еще стоял рядом с нами, прямо на земле, таз с этими глупыми гóменташами; волнуясь, мы жевали их один за другим.

Я не помню ни причитаний матери, ни растерянности отца.

Своего отца я видел растерянным и беспомощным один раз в жизни — незадолго до его смерти. Ему было восемьдесят два года, когда мы с братом привезли его на «скорой помощи» в больницу. Он лежал на носилках на полу в приемном покое. Откинув пальто, которым был прикрыт отец, дежурный врач быстро взглянул на его непомерно раздувшийся от водянки живот, на его белесые губы, торопливо ухватывающие мелкие рюмочки воздуха и тут же, на пороге рта, проливающие их; дежурный врач потрогал пульс отца, присев рядом с носилками на корточки.

— Хорошенькая история, доктор! — прошептал отец.

— Сколько ему лет? — спросил дежурный врач.

Я ответил.

— Доктор,— сказал отец медленно, но разборчиво,— старикам везде у нас почет, я слышал это по радио..

— Лежите тихо, дедушка,— сказал врач и пошел к своему столику.

— Ему надо откачать жидкость из живота и полежать в кислородной палатке,— сказал нам врач. Он снял очки со своего молодого усталого лица, дунул на стекла и стал протирать их сухой халатом.

Отец умер на третьи сутки. Молоденькая сиделка — она дежурила в тот вечер одна — попросила меня с братом перенести отца из палаты третьего этажа в подвал больничного морга.

Мы не знали, что нам придется нести его голым. Брату было лучше — он шел с носилками впереди, спиной к телу. А передо мной все три этажа длинной, как жизнь, лестницы лежал обесстыженный смертью отец. Я никогда не видел его голым, я знал, что ему и мертвому унижительно показываться сыновьям в таком виде. Зажмуриваясь и спотыкаясь на поворотах лестницы, я нес опухший труп своего отца. Обиды и горе, которые я ему в жизни причинил, лежали передо мной на старых носилках.

Прости меня, отец.

Мы похоронили тебя на Преображенском кладбище. В пустой задней комнате кладбищенской конторы тебя обмыли две старухи и одели в костюм, который ты носил по праздникам столько лет, сколько я тебя помню. Задремывая и просыпаясь, старухи зашили тебя поверх костюма в саван одной длинной ниткой, без узелков. Теперь я знаю, для чего это делается: на том свете, в который мы с тобой по-разному не верили, ты выдернул эту нитку в один прием и предстал на Страшном суде, разутый, в своем лучшем костюме. У тебя было что порассказать Иегове. Не так уж хорошо он устроил наш белый свет, чтобы иметь право вызывать людей на Страшный суд. И разве мог он хоть чем-нибудь испугать тебя после того, что ты видел на своем веку. Вызвать пьяного харьковского квартального и потребовать право на жительство? Обвинить тебя в том, что ты ешь

мацу с младенческой христианской кровью? Призвать гитлеровцев на небо?

Я спокоен за тебя, отец, на том свете. Тебе некого и нечего там бояться.

После пожара мы переехали на Черноглазовскую улицу. Окна нашей квартиры выходили вровень с тротуаром, и я быстро научился распознавать людей по ногам.

Над калиткой нашего дома висела скромная вывеска: «Психиатрическая лечебница докторов Жданова и Гуревич».

Лечебница помещалась в одноэтажном желтом флигеле, обращенном одной своей стороной в сад. Больные, которых в те времена называли запросто — сумасшедшими, жили в лечебнице подолгу. Большинство из них были тихопомешанными. Добрые и вежливые, они бродили по нашему двору и по саду без всякого присмотра. Забредали они и к нам домой в подвальную квартиру.

Первое время я дичился их, а потом привык. Мне и моим товарищам они не казались такими уж безумными. Интересы и наклонности взрослых чаще всего чужды детям, быть может поэтому я не всегда замечал в черноглазовских сумасшедших разительные отклонения от нормы.

Заходил к нам в подвал Воробейчик. Мать угощала его чаем с сахарином. Он сидел за столом, церемонно подобрав коротенькие ноги в кальсонах под стул. Кажется, у него была мания величия, но я этого не чувствовал. Очевидно, величие его не обременяло окружающих: оно было настолько для него внутренне бесспорным, что не требовало никаких внешних подтверждений. В этом смысле деликатное безумие великого Воробейчика выгодно отличалось от безумия нормальных людей.

Ласково глядя меня по голове, он иногда бормотал речи, обращенные к Учредительному собранию.

Вероятно, каждая эпоха порождает своих сумасшедших: самый замысловатый бред больного мозга есть в какой-то степени отражение действительности. Человек сходит с ума на современную ему тему.

За единственным решетчатым окном лечебницы Жданова и Гуревич металась в ночной рубашке растерзанная Соня: в буйном помешательстве ей мерещилось, что ее насилует эскадрон донских казаков.

Привозили к нам больных с Поволжья — они сошли с ума от голода. Их черные, обглоданные лица и мучительно безразличные, гигантские глаза пугали меня. Я и не подозревал тогда, что зимой сорок первого года в блокадном Ленинграде у меня у самого будет такое лицо.

Ходил по нашему саду задумчивый молодой человек в белье и в студенческой фуражке. Его звали Жорж Борман. С детской жестокостью мы сперва потешались над ним, но он обезоружил нас своей кротостью и недюжинным знанием математики. В саду, на песке, кончиком обструганной палочки Жоржик Борман, побочный сын знаменитого шоколадного фабриканта, тронувшийся от неразделенной любви, решал нам алгебраические задачи.

Сейчас, через сорок с лишним лет, после всего того, что я видел и в чем принимал участие, мне кажется, что на Черноглазовской был удивительно старомодный сумасшедший дом. Тамошние безумцы жили своей отдельной, сосредоточенной жизнью. Они бережно лелеяли свой бред внутри себя, не стремясь навязать его всему человечеству.

Не обижайтесь на меня, Зинаида Борисовна,— я не забыл вас. И спасибо за фотографии, которые вы мне прислали. Юношеские стихи Саши Белявского я тоже

получил. Помните, каким щегольским, гортанным голосом он читал их?..

...С Сашей Белявским мы открыли курсы по подготовке в вуз.

Курсы были самоделковые: Саша уже учился на первом курсе филологического факультета, а меня уже в первый раз не приняли на медицинский. Вдвоем мы сколотили группу малоспособных абитуриентов и за небольшую плату натаскивали их по программе средней школы.

На мою долю пришлось точные науки, на Сашину — гуманитарные. Вот тогда-то я и сделал для себя важное педагогическое открытие: если ты чего-нибудь не понимаешь до конца, начни это преподавать. Объясняя своим ученикам математические правила и физические законы, решая с ними примеры и задачи, я изнемогал от скудости своих познаний. Однако внезапно меня осенило. Это случалось в ту секунду, когда я и сам доходил до сути. И моя наивная радость узнавания приобретала магнетическую силу. Мои ученики превращались в моих сообщников. Быть может, запоздалый дикарь, додумавшийся до колеса, испытывал те же чувства.

Я калечил своих учеников напропалую, но они поступали в вузы, изумляя экзаменаторов необычностью методов рассуждения, граничивших с невежеством. Что касается меня самого, то каждую осень канцелярия медицинского института возвращала мои документы.

Отец определил меня подручным монтера в частную электротехническую мастерскую.

Я стал рабочим.

Хозяин мастерской, нэпман, брал подряды в государственных учреждениях. Два мастера-электрика с двумя подручными выполняли эти подряды. Таким образом, из нас, из четырех, выкачивалась прибавочная стоимость. Вероятно, она была очень невелика, ибо вся хозяйская мастерская помещалась в низкой, полутемной дворниц-

кой. Вдоль стены стоял длинный, неопрятный верстак, по углам валялись ломаные люстры, бра и настольные лампы. Когда подряды иссякали, мы чинили этот хлам.

Хозяина я видел редко. Иногда он заходил в мастерскую, останавливался на пороге. Франтовато, не по возрасту одетый, в форменной инженерской фуражке, хотя инженером он вовсе и не был, хозяин обводил свою мастерскую печальными выпуклыми глазами. Его толстое лицо оплывало на белоснежный воротничок, как свеча. Никаких указаний он нам не делал,— стоял, засунув руки в карманы просторных чесучовых брюк.

Я был у него однажды дома: хозяин послал меня с какой-то запиской к жене. Неряшливо одетая, красивая и грубо-молодая, она распаривала мозоли, опустив маленькие крепкие ноги в таз. Лениво прочитав записку из моих рук, она сказала:

— От жлоб на мою голову!

Я подождал немного, но она больше ничего не добавила.

Хозяин спросил у меня:

— Что она делала, когда ты пришел?

Я постеснялся сказать, что она мыла ноги.

— Читала,— ответил я.

— Что-нибудь передала мне?

— Привет,— ответил я. На большее у меня не хватило фантазии.

— Ты добрый мальчик,— сказал хозяин. И дал мне полтора миллиона на одно пирожное.

Прослужив у этого странного нэпмана год, я осенью, заполняя институтскую анкету, назвал себя рабочим. Меня вызвали в приемную комиссию.

— Подручный монтера,— громко, безгловым голосом прочитал председатель комиссии. Он посмотрел на меня: — Это ты и есть подручный монтера?

— Я,— прошептал я.

— Тогда задаю наводящий вопрос: что такое курцшлюсс?

Я молчал. Мастер, с которым я работал, называл короткое замыкание — коротким замыканием. Мастер не употреблял слова «курцшлюсс». Но он был хороший мастер.

— Товарищи члены комиссии,— сказал председатель,— картина, по-моему, ясная: перед нами очередная липа. Есть предложение — вернуть хлопцу документы.

И мне вернули их.

С тех пор, с юношеских лет, я не люблю свои документы. Я живу с ощущением, что в моих документах всегда что-то не в порядке. Чего-то в них всегда не хватает. И то, чего недостает, оказывается самым главным.

В ящиках моего письменного стола накопилось за долгие годы множество справок, удостоверений, пропусков и членских билетов. Если собрать все это воедино, запрограммировать и нанести на перфокарту, то будущая кибернетическая машина сочинила бы по этим данным не меня.

Я остался бы внутри машины, ослепленный ее бесчисленными импульсами.

Саша Белявский был среди нас аристократом. Он переехал с Рыбной на Сумскую — на главную улицу города. Она называлась теперь улицей Карла Либкнехта. Павловскую площадь переименовали в площадь Розы Люксембург. Для нас это было не будничным переименованием, а близкими зарницами мировой революции.

В квартире родителей Саше принадлежала отдельная комната с двумя коврами — над диваном и во весь пол. На собственном письменном столе у него лежал большой нож слоновой кости. Сейчас такие ножи перзелись.

Это было очень шикарно, когда Саша клал на свое колено новенькую пухлую книгу без переплета, отпечатанную на толстой серой бумаге, с неразрезанными листами, и, вложив нож слоновой кости между страницами, пилил им листы сперва по горизонтали, а потом по вертикали. Бумажные опилки сыпались на его остро отутюженные брюки, он их аккуратно смахивал в подставленную ладошку. Когда мы потом читали эту книгу, нам казалось, что никто до нас ее не знал.

Родители Саши, прежде чем войти в его комнату, стучались. Саша выкрикивал:

— Антре!

Или:

— Плиз!

Он знал несколько языков — даже турецкий. На турецком языке в Харькове можно было разговаривать только с чистильщиками сапог — айсорами. Поэтому Сашины туфли всегда зловеще сияли, и едва уловимый запах первоклассной ваксы «Функ» реял вокруг него.

Свою мать он называл по имени — Любой. Это меня смущало. Его жизнь была так не похожа на мою, что я испытывал неловкость, попадая к нему в дом.

Сергей Павлович ходил дома в суконном халате, длинные поясные кисти свисали до колен. Ноги его были обуты в мягкие расшитые туфли. Черный дог, величиной с жеребенка, бродил по коврам, царственно распахивая лапой двери. С догом тоже беседовали по-английски.

Мне казалось, что в доме Саши Белявского есть что-то ненастоящее. Я считал, что все они немножко прикидываются; даже важность пса была для меня напускной. Я легко представлял себе, что, когда в квартире Белявских нет посторонних, черный дог Рекс, отдыхая, превращается в дворнягу и жрет на кухне помой.

Вся наша компания бывала у Саши редко и неохотно. С нами были там вежливы и предупредительны, но что-то теснило нас в Сашином доме. То ли безупречный

порядок и чистота, то ли Сергей Павлович, которого мы не понимали и стеснялись.

Он разговаривал с нами изнурительно шутливо. Ему почему-то казалось, что больше всего на свете мы ценим иронию. И отношения его с Сашей были ненатурально ироническими. Может быть, оба они полагали, что эта утомительная интонация подчеркивает их равноправную, чисто мужскую дружбу.

Первое время я был восхищен этой вольностью обращения, но вскорости заметил, что, несмотря на незлобивость перебранок, в глазах Сергея Павловича, когда он посматривал на сына, мелькала какая-то странная, жалкая искательность. Она была необычной у этого рослого, красивого и самоуверенного адвоката. Не знал я тогда, насколько сложны отношения Саши с отцом.

Сергей Павлович жил вне дома широко и свободно. Женщины угорали от него. Но ему не везло — он всегда попадался. Опытный юрист влипал на пустяках. Возвращаясь вечерами домой, перед тем как открыть дверь своей квартиры, он дотошно осматривал себя с макушки до каблуков, он убирал сытое и праздное выражение со своего лица, умело заменяя его усталым и озабоченным. Однако ничто ему не помогало. От него чадно пахло чужими духами, чужой пудрой, острой кулинарной ресторана.

В благополучном и элегантном доме Белявских было беспокойно. Я не догадывался об этом, но бывать там не любил.

Своих учеников мы с Сашей натаскивали в моем подвале. Они приходили к нам по объявлениям, которые я расклеивал на заборах. «Два студента,— врал я,— готовят в вузы по всем предметам. Оплата по соглашению».

Учеников было не так уж много — человек пять — семь. Самым для них привлекательным в нашей педагогике была дешевизна: за уроки мы брали гроши.

Саша выглядел солидней, поэтому он и вел начальные переговоры с родителями абитуриентов. Он был отлично одет и хорошо воспитан. Меня же можно было показывать ученикам, когда их отступление становилось уже невозможным. Я ходил в обносках своего среднего брата, который до меня донашивал вещи нашего старшего брата.

У отца была стойкая, мудрая формула — ею он отбивался от матери, когда она молила его купить мне обновку:

— А что, в этих штанах его не узнают?

И верно. Меня узнавали издалека. По живописности моей рванины.

Единственное, что приобреталось для меня персонально, это дешевые белые хлопчатобумажные носки. Мать пробовала возражать против их цвета, но отец был неумолим.

— Казенный раввин в Минске ходил в белых носках, — говорил отец. — А нашего босяка в них не узнают?

Заведено было у нас в семье, что хозяйство вел отец. Не знаю, с чего это пошло, но к тому времени, когда я начал понимать уклад жизни, в доме распоряжался отец. Он покупал даже платья для матери. Он варил варенье и солил на зиму огурцы. Пек хлеб. Лудил и паял кастрюли. Чистил и смазывал свой револьвер.

За обеденным столом никто не смел садиться за отцовское место. В последний раз отец ударил меня, когда мне было семнадцать лет.

Бить детей нельзя. Я это проходил. Но я видел столько необъяснимого в жизни, что насмерть запутался в выводах. Встречались мне семьи, где детей воспитывали по совершеннейшим педагогическим методам. Однако приходил срок, и из ребенка вырастал подлец. Я знал дома, где у подонков родителей появлялись на свет дети, которыми могло бы гордиться человечество.

Загадочность эта, мне кажется, никогда не будет объяснена.

Условия, в которых я рос, мало соответствовали тому, о чем пишут в книгах по детской педагогике. И не потому, что они лживы. Есть в этих книгах один общий недостаток: в них не учитывается неповторимость личности воспитателя.

Для того чтобы растить детей, скажем, методами Макаренко, надо быть Антоном Семеновичем. Способ духовного воздействия на человека не может быть отторгнут от личности воспитателя. Метод должен быть внутри него, внутренне присущ именно ему. Обучить этому нельзя. И повторить то, что делал Макаренко, тоже нельзя. В лучшем случае можно скопировать. Копия будет, больше или меньше, похожа на оригинал, но живой она не станет. Успех мог бы быть достигнут, если бы каждый воспитатель сумел сыграть самого Макаренко. А это невозможно.

Всякая мать растит характер ребенка своим самодельным способом. Во всю силу своей неповторимой личности.

Вот и пришло твое время, мама. Пусть люди узнают, какая ты была у меня хорошая. Когда ты умерла, я перестал пугаться телеграмм и ночных телефонных звонков; я стал одиноким, мама,— твоя смерть отняла у меня беспокойство за твою судьбу. Из трех своих сыновей ты всегда любила крепче всего того, кому было хуже всех. И мы всегда стояли в очередь к тебе, потому что кому-нибудь из нас непременно бывало плохо. Вспоминая мать, люди опрокидываются в свое детство. У меня не так. Я люблю тебя любовью взрослого сына. Я помню твое лицо, когда ты открывала мне дверь. Никто в мире не открывал мне дверь с таким счастливым лицом. Я стучался с улицы к тебе в окошко. У дверей приходилось повременить — ты шла из комнаты, трудно

опираясь на палку. Лучше мне не вспоминать едкий запах сырости в твоей квартире.

Можно сойти с ума, мама, от сложностей жизни! Чем больше я живу на свете, тем сильнее увязаю в них. Единственное спасение, которому ты же меня и научила, — это не переставать удивляться тому, что происходит вокруг. До тех пор, пока я изумляюсь, я, быть может, остаюсь человеком. В людской мерзости самое страшное не мерзость, а привычка окружающих к ней.

Никому больше не интересно слушать меня, мама. Женщины, слушавшие меня с интересом, делали это и с другими. Друзья нынче озабоченные; они и сами ищут человека, который мог бы постичь их печаль. А для тебя я был единственный. Спасибо тебе за то, что ты меня не воспитывала. Ты просто была, и этого мне хватит на всю мою жизнь.

В семнадцать лет я ослеп и оглох от любви. Мне и сейчас трудно представить себе, что я от нее освободился. В этом ознобе меня трепало пятнадцать лет кряду, вплоть до войны 41-го года. Время омывало меня весь этот срок, мне казалось, что я стою в нем по щиколотки.

Точные ощущения сильной любви невозможно восстановить в памяти, как невозможно запомнить взрыв, чувство полета во сне, высокую температуру.

Что бы я ни делал за эти пятнадцать лет, я делал либо для нее, либо против нее. Я потерял возможность совершать нейтральные поступки. Любовь стала моей профессией.

С Катей Головановой мы познакомились по объявлению. В объявлении был указан адрес Белявского, но Саши не было дома в положенные часы, и Катя внезапно появилась у меня на Черноглазovской.

На мое горе, она вошла в нашу квартиру не вовремя:

в гостях у нас сидел Воробейчик. Его безумие наплывало на него волнами. И нынче он был на гребне своего сумасшествия. Обычно спокойный и деликатный, он нервно слонялся сейчас в своих потертых кальсонах по нашей столовой, завязки волочились за ним по полу.

В подвале было сумеречно, и Катя не сразу разглядела его жалкую внешность.

Таких красивых девушек я еще не встречал.

Воробейчик пошел прямо на нее, протянул ей свою липкую, невытую руку и отрывисто представился:

— Родзянко.

Она вежливо ответила:

— Катя Голованова.

Я дотлевал от ужаса в углу на диване.

— Позвольте в краткой и беспристрастной диссертации,— Воробейчик начал свою лучшую бредовую речь,— изложить вам дух и направление современной идеализации. Пауперизм, происшедший...

— Соломон Нахманович,— прервал я его,— члены Учредительного собрания просят сделать перерыв на молитву.

Эта фраза была для него священной. Он отошел к восточной стене и, покрыв голову одной рукой, стал бормотать слова субботней молитвы.

Теперь я мог подняться с дивана и подойти к Кате. Меня разозлило, что она стала свидетельницей моего позора. Узнав, что ей нужны два студента согласно объявлению, я грубо сказал:

— Это вранье.

Она порылась в кармане своего пиджачка и вынула бумажку.

— Вот адрес. Кажется, я списала правильно.

— Адрес правильный,— сказал я.— А в объявлении — вранье. Я не студент.

— Но вы даете уроки? — вежливо спросила Катя.

— Даю.

— Мне нужен учитель физики. У меня задолженность по этому предмету.— Она протянула мне руку.— Меня зовут Катя. Можно, я сяду?

Она села, а я стоял перед ней в белых носках. Воробейчик молился на восток, то повышая голос до крика, то лопоча страстным шепотом.

— Он больной? — тихо спросила Катя.

— Немножко,— ответил я.

— Вы не волнуйтесь,— сказала Катя.— Мой отец врач. Я привыкла. Правда, папа бактериолог, но у нас дома бывают всякие доктора. Вам нравится медицина?

— Не очень.

— Пожалуйста, не отказывайте мне,— сказала Катя.— Я буду внимательной ученицей. Если вы мне откажете, мама найдет какого-нибудь старого кретина и я возненавижу физику навсегда.

— Где вы учитесь? — спросил я.

— На медицинском. На первом курсе.

Я не имел права брать этот урок. Задолженность Кати по физике намного превышала мои знания. Узнав, что это меня смущает, она упрямо мотнула головой.

— Глупости. Все равно вы знаете больше, чем я. И потом, есть же книги...

Она оставила мне свой адрес.

Назавтра я пошел к ней в первый раз.

Катя жила в здании Харьковского медицинского общества. Подымаясь в ее квартиру, я затерялся на широкой парадной лестнице. Толстые стенные зеркала повторяли мое изображение: справа и слева от меня, вровень со мной, нахально подымался по мраморным ступеням худой, лопухий юноша, в латаной толстовке до колен. Мне боязно было смотреть на него. Но я был горд тем, что его занесло на эту лестницу.

Служебный день в здании закончился, просторные гулкие коридоры запутали меня. Резкий тошнотворный запах бил в нос: здесь готовили сыворотку для всей

Украины. Из-за высоких, как ворота, дверей доносились порой странные пронзительные крики и писк; это кричали обезьяны и жаловались на свою судьбу морские свинки.

Я набрел наконец на дверь с медной дощечкой: «Профессор Федор Иванович Голованов».

Катина мать встретила меня нелюбезно — я не мог ей понравиться. И не потому, что на мне были обноски, — я вопиюще не соответствовал вкусам жены петербургского профессора. Страдая оттого, что Федор Иванович ушел из Военно-медицинской академии и принял пост директора харьковского санбакинститута, Анна Гавриловна чувствовала себя в нашем городе униженной.

Ей не нравилось все: и речушка Лбпань вместо державной Невы, и хохлацкое произношение, и щербатый булыжник вместо торцов Невского проспекта, и ужасающая купецкая архитектура взамен Растрелли, Росси и Воронихина. Вдобавок ко всему этому — еврейский мальчишка-репетитор, которого привела в дом ее сумасбродная дочь.

Анна Гавриловна не стала со мной церемониться. Она тотчас дала мне понять, что я — ничтожество. Выяснилось под ее леденящим взглядом, что я не умею стоять, сидеть и передвигаться по комнате. Я громко пил чай. Я держал за столом вилку, как убийца. Я делал ударения, от которых Анну Гавриловну пошатывало. К чести ее надо сказать, она не скрывала своего отвращения ко мне. Она даже долго не могла выговорить мое длинное имя — Боря и вместо этого называла меня коротко — молодой человек.

Странно — я не обижался на нее. Недоброжелательство, выраженное в такой открытой форме, забавляло меня. Злилась Катя. Когда Анна Гавриловна особенно цепко впивалась в мой загривок, Катя кричала:

— Перестань! Сию же минуту перестань!

Наши занятия по физике шли успешно. Институтская программа нередко ставила меня в тупик, но вдвсем мы легко одолевали мое невежество. Деньги, которые Анна Гавриловна, с оскорбительной церемонностью, вручала мне за урок, мы с Катей прогуливали. Мне было неприятно получать плату за счастье общения с Катей, я хотел отказаться от денег, но она возмутилась: — Вы сошли с ума! Это ваша работа. Почему вы должны делать ее бесплатно?

Не помню, когда я впервые объяснился ей в любви. За пятнадцать лет я делал это столько раз, что все мои объяснения слились в одно.

Это было и на холмах Технологического сада — весь город темнел внизу в сумерках, и, когда я произнес свои слова, вспыхнул у наших ног Харьков, словно я подпалил его силой своего чувства. Это было и на площади Розы Люксембург, и на улице Карла Либкнехта, в воюючих горбатых переулках, в подворотнях и парадных подъездах, в битком набитых трамваях, на подножках пригородных поездов. Это было в зиму, в осень, летом, весной. В солнце, в мороз, в слякоть. Это было и в тот день, когда она вышла замуж за Болеслава Тышкевича — старшего оперуполномоченного ОГПУ. И в тот день, когда она с ним разошлась. И в ту минуту, когда я узнал, что у нее второй муж. И тогда, когда я женился. И всегда, когда мы лежали с ней в постели.

Из всех человеческих чувств, пожалуй, труднее всего анализировать любовь. Разложенная на свои мельчайшие частицы, она мертвеет. Расчлененная, она не складывается воедино.

Мне потому и трудно рассказать о Кате, что свойства ее характера не дадут представления о том чуде, которое она собой являла для меня. Это не значит, что я ее сочинял. Я даже не был пристрастен к ней: когда мне указывали на ее пороки, я их не отрицал. Я только упрямо твердил:

— Все равно, вы ее не знаете.

Вероятно, я имел в виду, что любимая женщина состоит не только из черт своего характера. Между этими чертами есть какие-то неисследованные миры, видимые только влюбленному.

Так я и жил, словно идя по бесконечно длинному туннелю, в конце которого светилась Катя. И когда эта жизнь стала мне невозможна, я переехал в Ленинград. Шел тысяча девятьсот двадцать девятый год от рождения Христова и двадцатый год со дня моего рождения.

Мама уложила в мой чемодан две простыни, три смены белья, пару брюк и одну стираную толстовку.

Накануне своего отъезда я пришел к Кате. Она не знала, что я уезжаю. Это известие я берю до последней секунды, несколько не надеясь, что оно хоть как-нибудь изменит мою судьбу. Да и на что я мог рассчитывать? Мне только хотелось увидеть ужас в Катиних глазах, когда она услышит, что завтра меня здесь не будет.

Мы вышли из ее дома и пошли, как всегда, бесцельно, не разбирая дороги.

Через тридцать лет я приехал в Харьков без всякого дела. Обычно свидание со своей юностью трогательно. Дома и дворы кажутся меньше. Все видится иначе, нежели прежде. Со мной этого не произошло.

Бродя по городу, я пытался вызвать, как духов, давние воспоминания. Но улицы и дома были немые со мной. Даже запахи и звуки — эти стойкие вехи человеческой памяти — утратили свою мощь.

Я ходил по рядовому областному центру — столица моей биографии исчезла. Быть может, это объясняется тем, что меня к тому времени завалило обломками. Мне было не выбраться из-под них навстречу прошлому. Оказалось, что я не повзрослел, не вырос, не поста-

рел — я был иной. Моя юность оказалась некомплектной, она принадлежала кому-то другому. Мне кажется, что многие нынешние старики испытывают то же чувство. Их жизнь так же некомплектна. Брюки не подходят к пиджаку — они разного цвета и фасона.

Мы ходили с Катей допоздна, и только прощаясь, у порога ее дома, я сказал:

— Завтра я уезжаю в Ленинград.

— Зачем? — спросила Катя.

— Да просто так.

— А когда вы вернетесь?

— Никогда.

— Не говорите чепухи, — сказала Катя. — Вы не можете уехать навсегда.

— Тем не менее, — сказал я.

— Вы не смеете бросать меня. Я без вас пропаду.

— Вот уж нет, — сказал я. — Нисколько не пропадете.

— А еще врал, что любите меня.

— Ни капельки.

— Что ни капельки?

— Ни капельки я не врал.

Она заплакала.

— Если вы завтра уедете, я сделаю что-нибудь ужасное.

Я был счастлив — она плакала. Вероятно, это было заметно по моему лицу.

— Вы бесчувственная скотина, — сказала Катя. — У меня нет никого ближе вас.

Я уехал на другой день, послав ей с вокзала прощальную телеграмму. Когда телеграфистка считала слова, я встал перед окошком так, чтобы не было видно моего лица.

— Вы не ошиблись? — спросила телеграфистка. — Тут есть повторения. Можно сократить.

— Не надо,— сказал я.

Это случалось со мной постоянно: связисты всегда испытывали желание отредактировать мои телеграммы Кате. Связисты были правы: то, что я писал ей, надолго выбивало их из рабочего состояния.

Я непременно приеду к вам в Самарканд, дорогая Зинаида Борисовна. Еще раз спасибо за приглашение. Письмо от Сергея Павловича я получил и тотчас ответил ему. Он пишет мне, что переслал вам фронтовые дневники Саши. Пожалуйста, сохраните их у себя до моего приезда.

Что касается вашей просьбы, Зинаида Борисовна, то винюсь: я не в силах ее выполнить. Если бы это необходимо было для вас, то, конечно же, я написал бы всем тем приятелям моего детства, которых вы перечислили в своем последнем письме. Но, насколько я понял, вы считаете, что это необходимо для меня. А я не ощущаю этой необходимости.

Мне поздно заводить новые дружбы и возобновлять старые. В том и в другом случае я вынужден распахиваться заново и заново же оценивать то, что раскрывается мне. В моем возрасте лепишься к друзьям, которые уже знают, как я поступлю и что подумаю. Людей дряхлят разочарования.

Нет, Зинаида Борисовна, прерванная юношеская дружба редко склеивается заново. Даже реже, по-моему, нежели складывается новая. Хотя бы потому, что от прежней дружбы всегда ждешь больше, чем она в силах дать.

В прошлом году я ездил в Ростов. Институтская аудитория, в которой я читал свою лекцию, была полупуста. Донская июльская жара загнала в прохладное здание случайных людей. Моя лекция, по-видимому, мало их интересовала. Настроение слушателей передава-

лось и мне — я поспешно и вяло закруглился. Вопросов ко мне не было.

Однако, направившись к выходу, я увидел, что в дверях меня ждет какая-то старуха. Когда я поравнялся с ней, она тихо спросила:

— Вы из Харькова?

Плохо соображая от жары и усталости, я ответил:

— Из Ленинграда.

Она посмотрела на меня, смущенно и печально улыбаясь. Улыбку я узнал. Так умела улыбаться только Валя Снегирева, моя бывшая жена, когда я ей врал. Мы прожили с ней неполный год, почти сорок лет назад.

Сейчас передо мной в дверях стояла бесформенная старая женщина с авоськой в руках. И я понимал, что перед ней стоит вспотевший от усталости, поношенный старик. Чувство вины, которое я всегда по отношению к ней испытывал, вонзилось в меня тотчас. Я схватил ее за руку и стал бессвязно лепетать. Я сказал ей, что она ни капельки не изменилась.

— Ты опять оправдываешься, — рассмеялась Валя.

Мы вышли на раскаленный добела бульвар. Даже голубое небо выгорело от жары.

— Отведи меня к себе попить чаю, — попросил я.

— Не могу, — сказала Валя. — Муж сегодня взял отгул, он выходной.

Увидев мое удивленное лицо, она робко добавила:

— Он не может слышать твоего имени.

— Валечка, — сказал я. — Валюша. Прошло сорок лет.

— Ну и что, — сказала Валя. — Я слишком много рассказывала о тебе.

Боже ты мой, что можно было рассказывать обо мне! В двадцать два года я женился на ней походя. Она это знала. Мы прожили вместе десять месяцев, и каждый день этого срока был для нее мукой. С фанати-

ческой жестокостью я пытал ее своей любовью к Кате. Мне почему-то казалось, что так честнее. Я слишком поздно заметил, чего это ей стоит.

Сейчас нас выбросило на ростовский бульвар, под акации. Притихшие пенсионеры доживали рядом на скамьях. Они безучастно посматривали на нас, мы — на них, не в силах представить себе, какие страсти сшибались у каждого из нас за спиной. И по аллеям бродили молодые люди, о которых мы небрежно и презрительно думали, что судьбы их проще и легче.

— Как же ты жила? — спросил я Валю.

— Жила, — сказала Валя. — Должно рассказывать.

— У тебя есть дети?

— Двое. Оба женаты. Они тоже знают о тебе.

— И тоже не могут слышать моего имени?

— Нет, — сказала Валя. — Им было бы интересно с тобой познакомиться. — Она виновато улыбнулась. — Они ведь не представляют себе, что их мать могла любить кого-нибудь, кроме их отца.

— А если б увидели меня, то представили бы?

Она кивнула не раздумывая.

— Ты же мое калечество, — сказала Валя.

Я сошелся с ней пьяный, на вечеринке, приехав к родителям в отпуск в Харьков. Замыкавший ссорами с Катей, я старался заткнуть ту рану, из которой хлестала моя любовь. Мне казалось, что надо заткнуть ее на скорую руку, как попало. Тут же, под утро, я объявил своим товарищам, что женюсь на Вале. Тосик Зунпи отвел меня в сторону и сказал извиняющимся голосом:

— По-моему, ты сволочь.

— От талмудиста слышу, — сказал я. — Она все знает.

Он поднялся на цыпочки, взял меня своими слабыми руками за плечи и придвинул к себе.

— Зачем ты это делаешь?

— Я хочу начать новую жизнь, Тосик. Имею я право?

— Оботрись,— сказал Тосик брезгливо.— У тебя вся морда в помаде.

Узнав, что я собираюсь жениться, моя мать пригласила Валю к обеду. Отец был в отъезде. Братья два года назад уехали в Ленинград. На обед было приготовлено самое вкусное блюдо — начиненные мукой и жиром коровьи кишки. Мы сидели за просторным столом втроем, мать подкладывала в Валину тарелку самые румяные куски.

— Слава богу, удачно получилось,— сказала мама.— На базаре они не всегда бывают.— Она посмотрела на меня.— А теперь ты принесешь из колонки ведро воды, а мы вдвоем немножко поговорим.

Задержавшись в кухне, я услышал, как она ласково обратилась к моей невесте:

— Послушайте меня, Валечка: не надо выходить за него замуж. Я знаю своего сына — он вас бросит.

— Разве он плохой? — спросила Валя.

— Он очень хороший,— сказала мама.— Но с ним целая трагедия. Мне неловко выдавать его тайну...

— Я знаю,— сказала Валя.— Это все уже в прошлом.

— Он сам вам так сказал?

— Нет, он не говорил, но я чувствую...

— ...А где твоя мама? — спросила меня Валя на ростовском бульваре.

— Умерла.

В Ленинграде я поселился в Саперном переулке, в квартире бывшего журналиста из санкт-петербургских «Биржевых ведомостей».

Сдавая мне темную комнату прислуги рядом с кухней, он прежде всего пригласил меня в уборную и показал, как надо спускать воду в унитаза.

— Прошу вас повторить при мне,— сказал хозяин.

Его усатая жена предупредила меня, что я не должен пользоваться парадным ходом и ванной.

— Это не значит,— сказала она,— что вам не следует ходить в баню.

В квартире было тихо, как в погребке. Из хозяйских комнат не доносилось ни звука. Обутое в войлочные туфли, супруги бесшумно бродили по квартире, неотвратимо появляясь за моей спиной.

Я зажигал свет в кухне — они его гасили.

Я открывал кран над раковиной — они его прикрывали.

Я разжигал примус — они его укрощали.

Перед сном до меня доносился скрежет запоров, звяканье цепей и разноголосое щелканье замков. На ночь хозяева закрывались внутри квартиры и от меня. Мне казалось, им не скучно жить в этом лютом одиночестве: подозрительность и недоверие к людям отнимают у человека много времени и сил. Конвоируемый этими чувствами, он занят круглые сутки. Доверчивому человеку хуже: одиночество непереносимо для него.

В первые три месяца я не видел Ленинграда.

Разложив в пустых папиросных коробках деньги, привезенные из дома, я судорожно готовился к экзаменам в институт. Всю свою жалкую наличность я размещал в магазинах на девяносто равных порций — по рублю в день. Аккуратно сложенные, эти рубли соблазнили меня донельзя. И чтобы выстоять, я ограничил свои прогулки тоскливыми маршрутами: скучная, как труба, Бассейная улица, обрубки переулков рядом с моим Саперным, безликая Знаменская — вот и все, что я себе позволял.

Документы были поданы во 2-й медицинский.

На этот раз я срезался на первом же экзамене по литературе. «Железный поток» Серафимовича — тема сочинения, доставшаяся мне по билету, сгубила меня.

Я написал, что это скучный роман, в котором нет ни одного запоминающегося героя. Расчесанный собственным свободомыслием, я наивно трепал своими молочными зубами произведение, считавшееся классическим. Тройка, поставленная за это сочинение, не позволила мне набрать проходной балл.

Легкомыслие юности благословенно — оно порождает бесстрашные поступки, о которых потом принято говорить, что они закономерны. И в них действительно есть святая закономерность легкомыслия.

Мои деньги были на излете. В последней папиросной коробке лежали восемь рублевых бумажек — восемь дней жизни. Разменяв их в ларьках на мелочь и уложив ее столбиками по пятьдесят копеек, я удвоил свой капитал.

Мысль о возвращении домой, в Харьков, даже не приходила мне в голову. Я был в том состоянии непоколебимого физиологического безрассудства, которое повергает в ярость пожилых людей.

— На что вы рассчитываете? — спрашивает старик у юноши.

Юноша не может ответить, ибо он ни на что не рассчитывает и одновременно рассчитывает на все. На то, что он найдет на улице бумажник. На то, что внезапно распахнется дверь его комнаты, войдет запыхавшийся человек и скажет: у нас есть для вас прекрасная работа, убедительная просьба не отказываться. В расчеты юноши входят утреннее солнце, полдень, вечер, ночь. И личное бессмертие.

Забрав документы из института, я почувствовал облегчение. Четыре года подряд я делал все, что мог. С меня хватит, сказал я себе. Живут же люди и без высшего образования!

Теперь у меня оказалась пропасть свободного времени. Можно было наконец осмотреть Ленинград. Осмотр

надо начинать с вышки Исаакиевского собора — это мне было известно.

Взобравшись на вышку, я не мнил, как Растиньяк над Парижем, что подо мной лежит город, который я должен покорить. Найдется же, думал я, в этой равнодушной панораме крохотное местечко и для меня.

Не может не найтись!

Я жил уже всухомятку, доедая посылку, присланную родителями. Мои жалкие объявления давно висели на специальных досках, в окружении таких же голодных репетиторских воплей.

Последние три рубля я просадил во Владимирском клубе — в игорном доме растратчиков и нэпманов. Это произошло с такой волшебной быстротой, что я даже не успел ощутить горечь проигрыша.

Крупье прохрипел: «Можно ставить, есть прием» — я воровато, из-за чужих тел, просунул три рублевые бумажки на край стола, услышал в полной тишине, пропитанной духами, потом и тревогой, какое-то жужжание — и все было покончено.

Мне не удалось даже увидеть лиц игроков: густой частокол их спин и затылков заслонял от меня стол, и по этому частоколу через равные промежутки времени пробегала судорога волнения.

Поднявшись на цыпочки, я рассмотрел на прощанье плавающий в папиросном дыму эмалированный пробор крупье. Он сидел на возвышении; в большой комнате было полутемно, и только голову этого афериста окружал электрический нимб святого.

Зал рулетки помещался в конце клуба. Идя к выходу, я прешел сквозь несколько комнат, таких же душных и затемненных. Освещены были лишь длинные столы, покрытые зеленым сукном. Здесь играли в коммерческие игры — в баккара и шмендефер. Незнакомые

друг другу люди — мужчины и женщины — сидели в креслах вокруг стола. Играли они молча, как призраки. Ощущение нереальности того, что здесь происходило, сохранилось у меня до сих пор. Я и сам себе казался недостоверным в тот вечер.

Денег на трамвай у меня не осталось. Я шел по Невскому, с угла Владимирского к Московскому вокзалу. Оттого что я вышел из игорного дома, Невский предстал передо мной в ином свете — в мареве страстей и порока.

У дверей ресторанов дежурили на облучках лихачи-извозчики. Их жеребцы, покрытые голубыми сетками, сучили нервными ногами.

Проститутки, которых я раньше не слишком замечал, заговаривали со мной, словно полагая, что игроку они могут понадобиться. Они прохаживались на углах и у освещенных витрин магазинов, одетые в свой боевой наряд и раскрашенные, как индейцы. Чем ближе я подходил к Московскому вокзалу, тем сиротливее и наглее они выглядели. У Пушкинской, неподалеку от бань, это были уже немолодые потаскухи, с красными мордами, от них за версту воняло водкой, табаком и банными венниками.

Весь Невский, казалось мне в тот вечер, проигрывал, продавался и покупал.

Утром я пошел на Биржу труда.

Я бывал уже здесь не раз, но всегда уходил в тоске: толпа разливалась у входа. Зал Биржи был перегорожен клетушками, там сидели служащие. Безработные гудели в очередях. Хвосты этих очередей, утолщаясь, вплетались в беспорядочное месиво на Кронверкском.

В то утро я был полон решимости. Сперва надо было встать на учет у окошка. Именно это мне никак не удавалось сделать. Я не знал, кто же я такой. Каждое окошко ведало определенной профессией. Я считал себя работником умственного труда, но на руках у меня бы-

ла всего одна бумажка, удостоверяющая, что я действительно когда-то родился и продолжаю существовать.

Тут же в зале мне пришлось внутренне переквалифицироваться. На мое счастье, в этот день пришло требование с Никольского рынка: аптекарский склад, расположенный на рынке, запрашивал чернорабочих.

С месяц я таскал мешки на этом складе — из подвала их надо было нести по зыбкой доске, круто поднятой через люк, во второй этаж. Я не знал, чем наполнены эти проклятые мешки, но они были огромного размера и от них разило лекарствами.

Нанюхавшись за день, я не мог есть. Обессиленный постом, я не мог их таскать по доске. Получался замкнутый круг: для того чтобы жить, я должен был работать на этом складе. Работая на складе, я не мог жить.

Взбираться по крутой, колеблющейся доске с огромным мешком на спине становилось все труднее. Последние два-три шага были особенно невыносимы.

Груз раздавливал меня. Я останавливался замертво. Зеленые и красные звезды вспыхивали у моих глаз.

— Задумался, интеллигент! — беззлобно кричал мне снизу кладовщик.

И тогда я вспоминал Катю.

Она возникала передо мной в горловине люка.

— Вы все можете, — говорила она мне. — Я вас жду наверху.

На подгибающихся ногах я шел к ней.

Религия моей любви к ней не раз выручала меня.

— Вы все можете, — слышался ее голос, когда я уже ничего не мог.

— Вы ничего не боитесь, — говорила Катя, если я бывал перепуган насмерть.

— Я люблю вас, — доносился до меня ее шепот в то мгновение, когда над моей головой смыкалось одиночество.

Вспоминая свое дальнейшее прошлое, сложнее всего восстанавливать в памяти не факты — они набегают непроизвольно; мучительно уточняются мысли того времени, тогдашнее отношение к окружающей действительности.

Труднее всего, вспоминая молодость, обтереть свои ноги у ее порога: войти в нее голым от сегодняшнего опыта и сегодняшних мыслей.

Когда, надрываясь, я делаю над собой это нечеловеческое усилие, то моим глазам открывается мир, в котором отсутствует закон тяготения. Тому голому юноше на той дальней планете ходить было легко, как полубогу: он делал мимолетное движение и тотчас отрывался от земли. Он ступал по земле веселыми ногами. Решения, от которых, быть может, зависела его дальнейшая судьба, он принимал мгновенно, не раздумывая.

Если что-нибудь оказывалось ему непонятным, он считал это несуществующим.

Непогрешимость его суждений вырубала перед ним просеку, гладкую, как взлетная полоса.

Я не знаю, в какой степени именно этот юноша характерен для того времени. Да и так ли уж важно знать это?

О чем я думал в те годы? Чем жил?

Сопричастностью ко всему, что делается в мире. Для моей юности не существовало расстояний. Все, что волновало меня, происходило рядом.

Рядом бастовали горняки Англии, за стеной простиралась Гренада, за углом строили Магнитку и Днепрогэс, под моими окнами бродили Маяковский и Бабель, Пастернак и Багрицкий.

В моей юности не было игр. Футбол и хоккей еще не изобрели для нас. Даже шахмат не было в нашем мире.

Собираясь, мы ни во что не играли. Мы разговаривали.

Я вмешивался в ход событий и в судьбы людей. Все,

что делалось вокруг, зависело и от меня. Мировые проблемы жаждали моего решения. Я был щедр — меня хватало на земной шар.

Мои суждения обладали одной сказочной основой: люди хотят справедливости и ненавидят, когда их угнетают. Человеческая подлость была для меня категорией классово́й.

Я верил в то, что говорил. И говорил то, во что верил.

На этот раз отдел работников умственного труда Биржи направил меня учителем в школу ФЗУ. Школа помещалась в Александро-Невской лавре, в здании, где прежде жили монахи.

Дважды в день мне приходилось шагать вдоль знаменитого кладбища, мимо могил.

Я не испытывал при этом никакого трепета.

Все, что касалось старого уклада жизни и смерти, представлялось мне канувшим в учебники. Я жил в торопливом и голодном любопытстве к завтрашнему дню: вечером зачеркивалось то, что происходило утром. Я не понимал еще, что человек, лишенный прошлого, похож на однодневное насекомое.

Школа ФЗУ имени Тимирязева выпускала автомонтеров. Фабзайчата — так называли тогда этих учеников — были настолько пестры по своей подготовке, что мою математику мне приходилось кромсать на ничтожные кусочки, которые можно было глотать не разжевывая.

В те годы был изобретен специальный термин для этого метода — пропедевтический. Я совестился спросить, что обозначает это слово, и до сих пор так и не удосужился выяснить его подлинный смысл.

Однако суть его состояла в том, что мысль, требующая научного доказательства, внушалась полуцирковым способом.

На урок геометрии я приходил к своим фабзайчатам, груженный обрезками фанеры. Эти обрезки — наглядные пособия — подвешивались на стене у доски, я дергал их, как фокусник, за ниточки, и получалось, что большой фанерный квадрат, громоздившийся на гипотенузе, распадался на два меньших квадрата, расположенных на катетах.

Проделывал я это с необыкновенной ловкостью, но поначалу мне чудилось, что в углу моего класса беззвучно рыдает старый грек Пифагор.

Сколько раз, уже много позднее, мне пытались внушать все тем же пропедевтическим методом истины, несравненно более спорные, чем бессмертная Пифагорова теорема!

В ФЗУ я работал недолго. Вряд ли кто-нибудь из моих учеников запомнил меня: ничему серьезному я научить их не мог.

Но они-то, эти бесшабашные мальчики и девочки, обучили меня одному: желанию быть понятым. Когдаходишь в класс, где за партами сидят сорок оголодавших от невежества ребят, разевающих на тебя свои шумные галочки рта, ты не можешь позволить себе подлой роскоши быть непонятым!

В ФЗУ мне уплатили первую зарплату — шестьсот рублей. Это было в два-три раза больше, чем я проживал до сих пор в месячный срок.

Старик шофер, преподававший ребятам автомобильную езду в моих группах, получал в кассе деньги вслед за мной. Увидев мое глупое от счастья лицо, когда я рассовывал бумажки по карманам, шофер сказал:

— Есть к вам разговор, товарищ преподаватель.

Я подождал его у входа, полагая, что разговор пойдет о наших учениках: бывало, что мы с ним помогали друг другу. Старика ребята любили; он ездил еще на

первых автомобилях в России, был гонщиком, служил шофером у кого-то из великих князей. С князем они не поладили: выпивши у царя в Зимнем дворце, князь пытался сесть за баранку в состоянии алкогольного опьянения. Степан Иванович этого баловства терпеть не мог. Сперва он уговаривал князя по-хорошему, а потом, не сдержавшись, обложил его матерными словами. Князь очень расстроился, тоже психанули, и произошла между ними непоправимая размолвка.

— И уже того уважения,— рассказывал Степан Иванович,— у нас не стало. И я подал на расчет. А тут как раз и Февральская революция.

— И больше вы его не встречали? — спрашивали ребята.

— Врать не буду, не встречал.

Глядя на Степана Ивановича, я не сомневался в правдивости его рассказа. Он был человек самостоятельный — есть такое слово в народе. Что же касается великого князя, то, черт его знает, разные, вероятно, случались великие князья. Написал же один из них: «Умер, бедняга, в больнице военной» — тоже нетипично для семьи Романовых.

Дождавшись Степана Ивановича у входа, я пошел с ним через Лавру на Старо-Невский.

— Выпьем пивка? — предложил старик.

Мы зашли в «культурную» пивную, — так она официально называлась. Старик заказал пару пива — здесь подзвали его с моченым горохом и густо посоленными крохотными сушками.

Пиво я не любил, но из уважения к Степану Ивановичу потягивал его медленно и солидно.

— Глупостей много,— сказал вдруг старик.— Почему именно «культурная» пивная? Значит, если я здесь нарежусь, то я кто? Та же буду свинья. Это знаете кто придумал? Деревенский мужик. Он прикатил в город, и ему охота срочно откреститься от своей темноты. Вот

он и пошел называть по-новому: культурная парикмахерская, культурный сортир. Прислонил серьезное слово к дерьму — и рад.

Я ответил что-то в том духе, что тяга к образованию, к культуре — явление положительное. Степан Иванович вежливо кивал, но слушал без всякого интереса. На середине какой-то фразы он внезапно перебил меня:

— Покуда не женились и деньжата завелись, надо вам построить костюм.

Я невольно взглянул на свою потертую толстовочку.

— Если желаете,— сказал Степан Иванович,— можно сходить к одному портному. Он раньше фраки шил. А нынче работает в спецмастерской. На горбунов шьет и на дипломатов.

Попасть в эту мастерскую было сложно, но старик шофер помог мне. На руках у меня оказался ордер, а знаменитый портной был предупрежден о моем существовании. Насколько я понял, Степан Иванович дружил с ним с давней поры. По какому разряду я был зачислен в клиенты — как горбун или как дипломат, меня не волновало.

Я хорошо запомнил этого мастера не потому, что он построил мой первый костюм: он поразил мое воображение.

Когда я вошел в мастерскую, Яков Захарович пил чай.

Поодаль, на широких столах, скрестив под собой ноги, сидели брючники.

Яков Захарович пил свой чай с лимоном за отдельным маленьким столиком. Седой, стройный и элегантный, со светлым платочком в верхнем карманчике отлично сшитого бархатного пиджака, он поднялся мне навстречу, небрежно принял из моих рук ордер и отложил его на столик не глядя.

— С вашего разрешения, я допью чай,— сказал Яков Захарович.

Он протянул мне журнал мод.

— Ознакомьтесь, — сказал Яков Захарович. — Я буду очень огорчен, если вы отсюда что-нибудь выберете.

В двадцать лет у меня не было четкого представления о модах, поэтому я листал журнал без всякого воодушевления. Возможность ничего не выбрать устранила меня.

— Приступим, — сказал Яков Захарович, подымаясь и разминая свои длинные, тонкие пальцы, как музыкант перед роялем. — Попрошу вас пройтись до окна и затем — на меня.

Как заговоренный, я дошел до окна.

— Держитесь свободней, — мягко попросил Яков Захарович.

Я приблизился к нему, как он велел.

Он положил свои легкие руки мне на плечи и едва ощутимым нажатием пальцев как бы извлек из моей фигуры одному ему слышимую мелодию будущего пиджака.

Это не было шарлатанством. Я стоял перед художником. В эти краткие минуты я был его любимой темой.

— Лидия Николаевна, — окликнул кого-то Яков Захарович, — попрошу вас записать размеры.

И, осторожно бродя пальцами по моему телу, он тихим голосом диктовал, не подряд, а с паузами, во время которых по его лицу проносились тени волнения и мыслей.

— Правое плечо — восемнадцать сантиметров, — диктовал Яков Захарович. — Левое — семнадцать. Правая лопатка на полсантиметра выше левой.

Заметив, вероятно, мою растерянность, он сказал:

— Не пугайтесь: каждый человек своеобразен. И только настоящий мастер может разгадать эту тайну.

Лучшего костюма, чем сшил мне Яков Захарович, у меня не было в жизни. Даже через двенадцать лет, блокадной зимой сорок первого года, я получил за этот

костюм на Кузнечном рынке баснословную цену — три килограмма дуранды.

И все-таки Яков Захарович запал мне в душу не этим. Он первый отнесся ко мне как к своеобразной, ни на кого не похожей личности.

Все обрушилось под откос, как только я встал на ноги. Профессор Голованов с семьей возвратился из Харькова в Ленинград.

Больше года мы не виделись с Катей. За это время я получил от нее два письма, из которых можно было понять, что она чувствует, но нельзя было сообразить, что она делает. Я и сам писал ей такие же письма: они были вне времени.

Я понял из ее письма, что она рассталась со старшим оперуполномоченным ОГПУ Тышкевичем и вышла замуж за артиста Астахова. Катя упоминала об этом мельком, как о само собой разумеющемся поступке.

С Болеславом Тышкевичем она сошлась еще в то время, когда я жил в Харькове.

Он был старше нас лет на десять, этот загадочный блондин с неподвижно-породистым лицом интеллигентного аскета. Впрочем, даже глядя на него, я выдумывал его наружность. Человек, профессией которого являлась каждодневная борьба с контрреволюцией, не укладывался для меня в рамки своей определенной внешности. Его лицо, даже когда я смотрел на него, было размыто легендой.

В это лицо Катя выстрелила из нагана.

..Гуляя с ней, застигнутые ливнем, мы постучались к нему, — он жил подле университетского сада. Увидев, что мы промокли, Тышкевич дал нам свою одежду. Мне достался плащ, а Катя надела его галифе, гимнастерку и высокие сапоги. Оба мы, и Тышкевич и я, смотрели на нее влюбленными глазами.

Она прохаживалась по комнате, грохоча сапогами не по росту. Подле дивана на тумбочке лежал наган, патроны были рассыпаны рядом. Катя взяла наган и, зажмурившись, прицелилась в Тышкевича.

— Страшно? — спросила она.

— Нисколько. Он не заряжен.

— А говорят, что с оружием нельзя шутить, — сказала Катя.

— Говорят, — ответил Тышкевич.

— И вам нисколько-нисколько не страшно?

Он пожал плечами, не сводя с нее околдованного взгляда.

— Ладно, — сказала Катя. — Я только скомандую, как в книжках.

И она скомандовала:

— По врагам революции — огонь!

Комната взорвалась от выстрела. Тышкевич упал. Но тут же, приподнявшись на колени и придерживая окровавленное лицо, он сказал:

— Запомните: я чистил револьвер... Положите его около меня.

«Скорая помощь» увезла Тышкевича через десять минут. Пуля пробила ему щеки навылет, не зацепив кости. В протоколе было записано, что ранение произошло в результате неосторожного обращения владельца с оружием.

Этот выстрел решил судьбу их отношений. Катя ухаживала за Тышкевичем, покуда он болел. Она вкладывала в это столько своей вины и восхищения его мужеством, что уже ничего другого не оставалось, как наградить Болеслава самым дорогим, что у нее было, — собой.

Их брак привел родителей Кати в ужас. Чекист у самовара, за чайным столом, в доме петербургского профессора — этого Анна Гавриловна вынести не могла. Она прокляла бы дочь, если бы не знала, что Кате на-

плевать на ее проклятие. Федор Иванович ужасался вслед за своей женой — он все, кроме своей работы, делал вслед за Анной Гавриловной, — но борьба с заразными болезнями занимала его глубже, нежели то, что творилось дома у самовара.

— Я требую, чтоб ты поговорил с ней, Федор, — тербила его Анна Гавриловна.

— Непременно, — кивал он.

— Катенька, — ловил он свою дочь в коридоре медицинского института, — нам бы надо с тобой обсудить...

Поднявшись на цыпочки, она целовала его в щеку.

— Я сидела на твоей лекции, ты у меня просто прелесть, папочка!

— Тебе правда понравилось?

— Ужасно! И всем нашим девочкам — тоже.

Вспомнив свою тягостную отцовскую обязанность, Федор Иванович бормотал:

— Дело в том...

— Дело в том, что мама просила тебя поговорить со мной. Ее не устраивает Тышкевич. А меня не устраивает, что ее не устраивает. Я могу не бывать у вас дома. А ты ко мне будешь приходить на тайные свидания, хорошо, папа?

Растерявшись, он отвечал:

— Хорошо.

Дома Анна Гавриловна спрашивала у него:

— Ты поговорил с ней?

— Поговорил.

— Ну и как она реагировала?

— Обещала подумать.

Этот брак был обречен с первого дня. Он был основан на Катинем восторге. Когда же восторг протерся и залоснился на сгибах каждодневного общения, то внешне оказалось, что Тышкевич вполне ординарная личность. Его многозначительная молчаливость объяснялась тем, что ему нечего сказать.

У всех у нас был в то время один способ, при помощи которого мы оценивали человека,— стихи. Никто из нас, кроме Саши Белявского, не писал стихов, но страсть к ним представлялась нам непреложной.

Когда мы громко выли Блока и Есенина, Маяковского и Багрицкого, у Болеслава Тышкевича глохло лицо. Он смотрел на нас вежливо-мертвыми глазами. И этого Катя не могла ему простить.

Я хорошо понимаю, насколько легковесно было судить о людях по этому поэтическому принципу. Но как быть, если даже сейчас мне все еще продолжает чудиться, что человек, расцветающий от строчек: «опять, как в годы золотые, три стертых треплются шлен, и вязнут спицы расписные в расхлябанные колени»,— что человек этот догадывается о чем-то, о чем догадываюсь и я. Это как бы пароль для прохода назад, в мое поколение.

По велению случая в огромном городе Катя оказалась моей близкой соседкой — Головановы поселились в Озерном переулке. А я-то целый год ходил мимо этого переулка запросто, даже не подозревая, какой смысл он приобретет для меня, когда сюда в угловой дом переедет Катя.

Все близлежащие улицы — безлика, прежде Знаменская, унылая, как труба, Бассейная,— все трамвайные маршруты впадали теперь в Озерной переулок и столбенели у дома на углу.

Этот дом на углу еще долго умирал для меня, постепенно и по частям. Сперва отсохли и отвалились окна, затем омертвело парадное, и только балкон держался на расшатанных кронштейнах моих воспоминаний. Он и сейчас еще, облупившийся и навсегда пустой, висит как ни в чем не бывало.

Нового Катиного мужа, артиста Астахова, я прежде не знал. Вероятно, Катя что-то рассказывала ему обо

мне — он встретил меня как старого и доброго знакомого.

Маленький, быстрый, круглый, без двух главных зубов в передней части рта, Игорь Аркадьевич Астахов мало походил на артиста. В доме Головановых он приживался так же трудно, как Тышкевич. Ко всему прочему, Астахов почти ничего не зарабатывал. Что-то у него не складывалось с артистической работой, она была у него случайной, то в одном временном театре, то в другом, — срывы не обескураживали его. Он носился с какими-то новыми театральными идеями, в которых я ничего не смыслил.

Ко мне Астахов был полон дружелюбия. Получалось даже как-то так, что я заслуживаю его особого доверия именно потому, что люблю его жену. Порой мне казалось, что Астахов умышленно связывает меня своим доверием. Опутанный им, я чувствовал себя подлецом. Когда они ссорились, я чаще всего принимал сторону Астахова. В этом не было никакой логики, кроме той, что оба мы были заморожены Катей.

По-моему, она никогда не понимала, каких мучений мне стоила эта близость к их семье. Раздираемый ревностью, я выискивал в Астахове недостатки и не находил их. Я пытался утешить себя чудовищным Катиним характером, заботливо перебирал ее пороки, бормоча их вслух для большей убедительности, — все это отлетало от одного прикосновения к ней.

Когда становилось совсем невмоготу, я исчезал. Но она не позволяла мне исчезать. Приходил Астахов:

— Куда вы девались? — спрашивал он.

— Работы много.

— Брехня, — смеялся Астахов. — Не валяйте дурака. Идите пить чай. Катя ждет нас.

— Я не могу, у меня — тетради...

Он садился со мной на кровать, не снимая пальто. Его круглое, доброе лицо светилось участием.

— Она вас чем-нибудь обидела?

— Ничем.

— Я же свой человек,— говорил Астахов, заглядывая в мои глаза.— Мне вы можете рассказать.

— Так ведь нечего рассказывать. Просто я занят: надо проверить тридцать контрольных.

Астахов вздыхал.

— Вы мне оба ужасно надоели. Она там сидит и плачет, что вы не идете, а вы здесь сидите и бубните, что у вас тетради. И самое смешное — почему-то я должен разбираться в ваших отношениях!.. Вставайте. Пошли!

И я вставал и шел. По дороге, держа мой локоть, Астахов убеждал меня:

— Не сердитесь на нее. Она к вам замечательно относится.

Катя так радовалась моему приходу, что я обмирал от счастья. Я пил с ними чай, останавливая время,— кроме этого стола, за которым она сидела сейчас, мне ничего на свете не надо было. Даже присутствие Астахова не слишком меня угнетало. Я научился уговаривать себя словами Кати:

— Когда вы наконец поймете, что вы существуете отдельно от всех! Вам этого мало?

Она говорила это яростно, с такой силой убежденности, что я обмякал и сдавался. Но стоило мне расстаться с ней, как мутные волны ревности били меня об стены домов. Тот же чайный стол, за которым я только что был счастлив, тот же Астахов, милым шуткам которого я только что смеялся, Катя, та же Катя, все та же Катя, принадлежавшая другому, рвали меня на куски. Я кружил по Озерному переулку, таясь в тени домов, светилась на весь земной шар три угловых окошка, хлопала входная парадная дверь на тугой пружине, люди входили и выходили из этого дома, не представляя себе, в какой дом они входят, висел в небе балкон,

меченный моей мукой. Он был единственный от горизонта до горизонта. Сперва гасло одно окно, потом второе — это еще можно было вынести. Третье окно, в спальне, гремело в меня светом, и, когда свет мерк в нем, я подбирал себя, замертво, с земли и уползал к себе на Саперный.

Профессор Голованов умер в тридцатом году, и спустя неделю после его похорон я переехал в Озерной переулок. Анна Гавриловна попросила меня об этом — она опасалась, что у них отнимут лишнюю площадь.

Жизнь у Головановых была мне в тягость. Несчастье, соединившее нас, обрело со временем буднюю форму, я оказался лишним внутри него.

Горе Анны Гавриловны стало стойким делом ее существования, она жила для того, чтобы помнить Федора Ивановича и наращивать память о нем все новыми и новыми подробностями. Это горе не было показным, но оно строго отбирало для себя только тех людей, которые были причастны к нему и полезны ему. Они нужны были горю, как топливо огню. Все, что не относилось к утрате, оборачивалось для Анны Гавриловны неприличием.

Режим печали вдовы стал так деспотичен, что даже Катя не выдерживала его. Она болела сердцем по отцу, но хотела жить дальше, не задерживаясь в том месте, где он погиб.

Астахов и я чувствовали себя в этом доме виноватыми. У Игоря Аркадьевича было дело — он мог открыто любить Катю, на это Анна Гавриловна мало оскорблялась. Что же касается меня, то мое постоянное присутствие ограждало ее от нахальства управхоза, но одновременно я напоминал Анне Гавриловне, до какого же страшного уровня дошла ее жизнь.

У меня хватило бы терпения и сил вынести это — я

жалел Анну Гавриловну,— добивало меня мое бесправное состояние рядом с Катей.

На моих глазах, ежедневно и поминутно, Астахов грабил меня, обкрадывал до нитки.

Вечера мы проводили вместе. У меня было свое место за их столом. Все было у меня в этом доме: висело мое полотенце в ванной, мое пальто на вешалке в прихожей, мои домашние туфли стояли под моей кроватью. И ничего здесь мне не принадлежало. Единственной собственностью была моя непроходящая боль.

Лежа ночью в постели, я вслушивался в чужое безмолвие. Из-за стены доносилось похрапывание Астахова — он смел храпеть рядом с Катей. Он все смел, лежа рядом с ней. Когда храп внезапно замирал, жизнь останавливалась во мне. Я накрывал свою голову подушкой и, контуженный тишиной, принимался шепотом выводить алгебраические формулы. Сквозь пух подушек, сквозь стройность выводов меня выволакивало на поверхность мое больное воображение.

Утром, по воскресеньям, мы завтракали вместе.

Катя спрашивала:

— С кем вы разговариваете по ночам?

— Ни с кем.

— Не врите, господин учитель,— подмигивал Астахов.— Вчера мы слышали, как вы трепались на какую-то тему.

— Это со сна,— сказала Катя.— Что вам снилось?

— Наверное, урок.

— У вас был странный голос,— сказала Катя.— Я даже хотела постучать вам в стенку, но Игорь не разрешил.

— Голос как голос,— сказал Астахов.— Чего ты к нему привязалась?

Жить так дальше я не мог. Питанный бессонницей, я приходил на свои уроки в школу. Здесь, в классе, на виду у ребят, я опоминался. Ощущение своей необходи-

мости ставило меня на ноги. Это свойство учительской работы не раз приходило мне на помощь. Класс, парты, лица учеников, обращенные ко мне, ограниченность срока пяти минут, произвольное чувство самоуважения, вызванное немедленной необходимостью совершить важный поступок,— все это как бы брало меня за шиворот и со звоном встряхивало. Я давал урок.

За моей спиной, локоть к локтю, стояли добрые, проверенные веками наставники: Шапошников, Вальцев, Киселев и Рыбкин. Рядом с точностью истин, которые они проповедовали, моя боль становилась приблизительно. Я совестился Шапошникова и Вальцева, Киселева и Рыбкина. В сущности, я был еще полуграмотным юнцом — подвиг составителей учебников вызывал мое безмерное уважение.

Та нищая математика, которую я знал, продолжает и сейчас восхищать меня. Рушатся миры, дичают целые народы, эпохи предают себя, а параллельные линии продолжают пересекаться только в бесконечности. И сумма углов треугольника по-прежнему равна двум прямым...

И вот я оказался на Урале, в городе Свердловске,— в тридцать первом году он еще помнил себя Екатеринбургом.

Все случилось внезапно.

На доске приказов, прибитой в коридоре школы Тимирязева, кто-то повесил объявление, что обком профсоюза учителей вербует добровольцев для работы в учебных заведениях Урала.

Мне было решительно все равно, куда ехать и кого учить. Я должен был исчезнуть. Я еще не догадывался тогда, что человек лишен этой возможности, ибо, куда бы он ни исчез, главный груз его жизни малой скоростью следует за ним.

На этот раз я знал, что Катя не станет оплакивать

мой отъезд. Ей было не до этого. Экзаменационная сессия, частые размолвки с матерью, неустроенность Астахова уводили ее в сторону от меня.

Узнав, что я завербовался, она сказала:

— Ну что ж, может, вы и правы.

Злоба свела мне рот. Я ответил:

— Подробности письмом.

— Господи, до чего вы мерзкий тип! Ну почему вы злитесь?

— Не обращайтесь внимания. Чисто нервное.

— Я вас ненавижу,— сказала Катя.

— Не имеет решающего значения,— ответил я.

Поезд уходил в шесть вечера. С утра, пока дом спал, я попытался уложиться.

Большая корзина стояла на двух стульях, а вокруг, на полу, на кровати, на подоконниках, были разбросаны мои вещи. Я попробовал укладывать их подряд, как попало, но, когда корзина была заполнена до краев, в комнате оставалась половина баракла. Хотелось все бросить и ехать вот так, в чем стоишь. Эта квартира dokonала меня.

— Кавалер де Грие,— сказал я себе.— Дерьмо собачье.

Корзина не закрывалась. Я сел на ее скрипящую крышку и с трудом накинул петли.

Свердловское горно определило меня в Урало-Сибирский коммунистический университет, в комвуз. Отныне я стал именоваться ассистентом кафедры математики. Уроки мои отныне именовались лекциями.

Эти солидные названия — университет, кафедра, лекция — тешили мое зазеленевшее тщеславие; кажется, я всерьез считал себя научным работником.

Меня захлестнул педагогический восторг. Этому восторгу способствовало то, что в комвузе я мог до

дна, без остатка, тратить все, что знал. В работу, как в прорву, шли любые сведения, почерпнутые мной в жизни. Их было не так уж много, и я возвращался после занятий с площади Народной Мести к себе домой опустошенный и обессиленный.

Уровень знаний студентов комвуза был так невысок, что даже мое самодельное образование было покрыто для них снеговой шапкой труднодостигаемой вершины. Секретари райкомов партии, сельских и заводских партийных ячеек, председатели сельсоветов и райисполкомов — эти немолодые люди сидели передо мной в бывшем особняке миллионера Демидова и старались не проронить ни одного слова из того скудного запаса знаний, которым я расточительно с ними делился.

В деревнях и селах прошло детство моих комвузовцев. Они обучались грамоте у сельских дьячков, в церковноприходских школах, в трехклассных городских училищах. Это было так давно, что один из моих студентов в анкете, в графе «образование», раздраженно написал: учился при царе Горохе. Бездонную пропасть между их огромным жизненным опытом и их малограмотностью заполнить было трудно. Комвуз перебрасывал через эту пропасть мостки. Балансируя, по ним можно было ходить.

Мне было проще, нежели другим преподавателям. Мне не приходилось присаживаться перед моими студентами на корточки, я стоял перед ними в рост. Их благоговейное отношение к арифметике не казалось мне наивным. Постигнутое деление десятичных дробей приводило их в восхищение, которое я разделял вместе с ними. Для меня было счастьем, что я могу их чему-то научить.

Способ, при помощи которого я это делал, был изобретен мной в одиночку. Комвузовцы не воспринимали абстрактных категорий. А я хотел быть понятным во что бы то ни стало. Проявляя немислимую изворотливость,

я пытался находить любому математическому понятию употребление в повседневной действительности.

— А где это применяется в жизни, на практике? — каждый день спрашивали меня студенты.

Вопрос этот не возмущал меня. В ту пору я считал его совершенно естественным. Мне представлялось непреложным, что даже политические события могут быть рассмотрены в аспекте математики. Я сочинял задачи на производственные темы, на оборонные, на колхозные.

Я был убежден, что математика — наука классовая. Спрос на эту точку зрения был велик, я искренно разделял ее и проповедовал. Глаза моих студентов загорались пламенем, когда я рассказывал им, что есть математика кулаков, капиталистов и математика рабочих в союзе с беднейшим крестьянством.

В «Анти-Дюринге» и «Диалектике природы» я искал три-четыре примера, сгодившихся для обоснования моей позиции. Фридрих Энгельс здесь ни при чем.

Сейчас, оборачиваясь назад, на то время, я с особенной тщательностью пытаюсь соблюсти непотревоженным мое тогдашнее мироощущение.

Втуз-городок строился километрах в пяти от Свердловска.

Здесь, в чистом поле, в степи, наскоро ставили громадные неуклюжие корпуса. Улиц между ними еще не было, казалось, что раскинулся тут под просторным небом каменный цыганский табор. Шестиэтажные дома пестрели разноцветными заплатами: низ был выложен из красного кирпича, а дальше шло в дело все, что попадалось под руку, — серый, белый и желтый камень.

Не было дверных и оконных петель и ручек, рамы намертво забивались гвоздем-соткой, двери висели на кожаных обрезках, не достигая пола; половые доски,

настланные из свежесрубленной сосны, высыхая, стонали и задирались дыбом. Уральские непокорные ветры со свистом врывались под подоконники и осыпали штукатурку на пол. Ветер сновал по длинному полутемному коридору — он освещался только двумя окнами в торцах.

В недостроенные корпуса втуз-городка, в пыль, в грохот, в строительное безумие въезжали студенты. Над их головами возводились этажи, под их ногами настилался пол, ржавая вода в трубах водопровода подымалась только до третьего этажа. Во всю длину узких умывальных комнат протянулись железные корыта, над ними висели рукомойники с подсосками. От вони аммиака слезились глаза и першило в глотке.

Я был счастлив. В пятом этаже комвузовского корпуса мне дали комнату. Окно во всю стену, застекленное мелкими шибками, искажающими божий свет, выходило на дальнее озеро Шарташ. Туман с Шарташа сочился в щели, оседая за ночь на моем приютском байковом одеяле.

Я был очень счастлив. У меня было любимое дело, не дававшее мне опомниться. Вокруг меня жили люди, которым я был остро необходим, и в благодарность за это я любил их. Это были люди, владевшие чем-то, в чем я невнятно разбирался. Их усилия, воля и ум представлялись мне государственными. Я видел в них аскетов, жертвующих своим благополучием ради блага народа.

Поливаемые злыми уральскими дождями, засыпаемые снегом, по щиколотку в глине, по колено в сугробах, заметенные колючей пылью, они ранним утром шли из нашего корпуса по пять километров в один конец до площади Народной Мести, в комвуз. Темень стояла над землей, когда тем же путем они возвращались во втуз-городок. Пустяковая стипендия кормила их впроголодь.

Городские магазины были пусты. Порожные консервы

ные банки стеной высились за спинами одичавших в одиночестве продавцов. Из этих же банок вздымались крепостные башни в витринах. И висели аншлаги: «Бу-тафсрия».

Про сою и маргарин писали в газетах, что они полезней мяса и масла. Ни сои, ни маргарина в продаже не было. Ученые доказывают на крысах, что обильная еда — вредна; полезно воздержание в пище. В тот год Свердловск жил полезно.

Никому из нас в комвузовском корпусе не приходило в голову, что можно жить иначе. Мы хлебали свои пустые щи в студенческой столовой. пили теплый мутный чай б/с — без сахара — и, упираясь головой в облака, дышали разреженным воздухом будущего.

Такого чувства своей правоты, какое было у меня тогда, я больше уже не припомню. Немедленная полезность преподавательской работы удваивала мое рвение. Комвузовцы начинали с нуля, и поэтому уровень их осведомленности зримо вспухал на глазах.

Уже гораздо позднее для меня прояснилась одна общая черта их мышления. Когда люди в тридцать — сорок лет узнают то, что положено знать детям и что дети запоминают походя, не затрачивая на это решающих сил своего сознания, это у немолодых, отягощенных жизненным опытом людей происходит драматично: запоздалое познание элементарных сведений плотно застревает в их мозгу, делая их неповоротливыми и невосприимчивыми к последующему познанию на более высоком уровне. Они трудно отказываются от того, что было достигнуто с таким адовым усилием. И они слишком почтительно относятся к тем упрощенным сведениям, которые были усвоены ими в неудобном для этого пожилом возрасте...

Комната во втуз-городке была дана нам на двоих: со мной поселился преподаватель математики Арсений Георгиевич Посмыщ.

Посмыш был глуп. И у него была отвратительная манера писать в воздухе пальцем, как на доске: разговаривая, он водил средним пальцем правой руки подле лица своего собеседника. Этим путем Посмыш внушал свои сиротские мысли в письменной и в устной форме. Косясь на кончик его пальца, я укачивался.

При всем том его тонкое, красивое, значительное лицо было подпоясано ироническими губами. Откуда, из какого несправедливого сочетания генов прибудилось к Посмышу и это тонкое лицо, и эти иронические, умные губы скептика! Быть может, он обездолил своей случайной наружностью какого-нибудь мудреца, всю жизнь мучающегося с чужой для него восторженно-глупой физиономией Посмыша.

Я знаю, что был нехорош с ним. Сейчас мне совестно, что я так раздраженно думал о нем тогда. Посмыш преподавал математику лучше, чем я. Он любил ее и знал в совершенстве. Но меня замучила совместная жизнь с ним, его острая жажда общения.

В толстой клеенчатой тетради он вел дневник. В своем дневнике он не опускался до мелких житейских записей. Здесь были мысли. Выдержки из книг великих мыслителей, обнаженные, как провода высокого напряжения,— они производили в мозгу Посмыша короткое замыкание и перегорали, не освещая его сознания. Они били его своим током и уходили в землю.

Широкие поля клеенчатой тетради были усеяны замечаниями Посмыша:

«Нотабене!»

«Совершенно согласен».

«Спорно».

«Применить на практике».

«Обдумать на досуге».

Я прожил с ним три месяца в одной комнате: Его благоразумие, педантичность и даже доброжелательство раздражали меня.

По утрам он спрашивал:

— Надеюсь, сон освежил тебя?

А перед сном он писал своим длинным средним пальцем по воздуху:

— Разреши пожелать тебе приятных сновидений.

Он спал оскорбительно для меня крепко и просыпался улыбаясь.

Вероятно, я завидовал его душевному покою. Иногда мне хотелось разозлить его, но это никак не удавалось. В ответ на мою грубость он говорил:

— Юпитер, ты сердишься, значит, ты не прав.

Мне кажется, он жалел меня. Мне кажется, он искренне жалел всех, кто был не похож на него. Это была жалость непонимания. Он любил говорить мне:

— Я бы на твоём месте..

— Не будешь ты на моём месте! — огрызнулся я.

Посмыш был старше меня на десять лет. И я точно знал, что он не будет на моём месте. Да и не такое уж это было завидное место.

Когда Валя Снегирева приехала ко мне из Харькова, Арсений Георгиевич надел свой выходной костюм. Он волновался больше, нежели я. За месяц до Валиного приезда я сообщил ему, что женился.

— Поздравляю тебя от всей души, — сказал Посмыш. — И надеюсь, что цепи Гименея не помешают нашей закадычной дружбе.

Без всякой моей просьбы он тотчас пошел к коменданту дома и попросил у него место для себя в другой комнате.

— Если тебе нужны деньги на обзаведенье, — предложил Посмыш, — то мой кошелек к твоим услугам.

Взволнованный, он пришел к нам в первый же вечер; не переступая порога комнаты, протянул Вале букет.

— Желаю вам и вашему супругу, — сказал Посмыш, — полного счастья в личной жизни и творческих успехов в труде.

В те времена еще не была придумана эта форма поздравления. Но Посмыш обладал поразительной способностью угадывать даже грядущие пошлости.

Он был добр ко мне. И в особенности — к Вале. Не замечая запухших от слез Валиных глаз, Посмыш восхищался всем, что она делала: крепко заваренным чаем, занавесками на окнах, шкафом, который она купила. Он ходил с Валею в кино и, приводя ее домой, игриво говорил мне:

— Надеюсь, ты не ревнуешь?

Он читал ей вслух записи из своей клеенчатой тетради. Продолжая восхищаться нашим семейным очагом, он не видел ни моего, ни Валиного растущего одиночества.

Саша Белявский рассказал вам правду, Зинаида Борисовна: я поступил с Валею непорядочно. Это я сейчас так думаю — тогда я так не думал.

Нынче я так же, как, вероятно, и вы, говорю молодым людям, что на смену первоначальной страсти приходит нечто большее — дружба, взаимная ответственность. Но дай мне бог, Зинаида Борисовна, испытать хоть один раз наново ту ярость вражды, ту полную безответственность, которыми раскалена молодая любовь. Дай мне бог снова метаться в этом пламени...

В Свердловске Валя окончила музыкальный техникум — сюда она перевелась на последний курс из Харькова. По окончании она получила направление в детдом. Работа музыкального воспитателя не заинтересовала ее. При тех отношениях, которые у нас сложились, вряд ли какая-нибудь работа могла бы ее увлечь.

Мы не ссорились. Мне кажется, я был внимателен к ней. За несколько дней до ее приезда я с трудом отыскал женщину, которая обещала мне три раза в неделю приносить нам молоко. По тем временам это

стоило больших денег. Молоко доставлялось аккуратно. Давясь от слез, Валя пила это чертово молоко. Чем виноватей я чувствовал себя перед Валею, тем усердней я заботился о ней. Есть и такая форма подлости.

Вечером, когда мы ложились в постель, у Вали всегда были холодные ноги. В светлые ночи я видел, что она спит, приоткрыв рот. Если бы я любил ее, мне казалось бы все это трогательным. Из каких постыдных мелочей состоит отчуждение, испытываемое к женщине, с которой спишь!

Мы не ссорились. Ссора возможна тогда, когда ее причина произносима. У нас не было возможности произнести ее.

Я жил, хмелея и валясь с ног от запойной работы — по десять-двенадцать лекционных часов в день. Преподавание в параллельных группах оболванило меня: четырежды на дню я талдычил одно и то же. К вечеру лица моих студентов неразлично размывались передо мной от усталости, и мне чудилось, что я с утра объясняю одно и то же одному и тому же человеку. На обратном пути к дому во втуз-городок я продолжал механически производить в уме привычные действия: складывал и умножал номера домов и трамваев. И был счастлив, если получалось круглое число.

Осенью аудитории комвуза внезапно опустели: студентов, словно по тревоге, вымело на хлебозаготовки. Возвращаясь, они еще долгое время приходили в себя.

В свободное от лекций время я составлял задачник для комвуза. Эта работа была поручена мне секцией научных работников нашего университета. Поручением я гордился. Я был уверен в успехе и ждал орденов своей кафедры. В бурных волнах тщеславия я заплывал так далеко, что мне уже мерещилась ученая степень.

На заседании нашей кафедры, утверждавшем мой задачник, случайно присутствовал ректор. Я никогда не встречал его ранее. Из слухов, бродивших по комвузу,

мне было известно, что ректор — старый большевик — прислан к нам в Свердловск из Москвы.

За длинным столом расположились преподаватели. Среди них, наискосок от меня, затерялась щупленькая фигура ректора. Помню, что меня поразила его большая лохматая голова. Он сидел, склонив ее к столу.

Я бойко рассказывал кафедре принцип, на котором будет построен мой задачник. Весь материал его пронизан современностью. Рост политического сознания студентов приобретет крепкую математическую базу. Для примера я привел задачи на самые актуальные темы.

Ректор тихим голосом произнес:

— Все это удивительно вульгарно и пошлово.

В наступившем замешательстве кафедры я заносчиво спросил:

— Значит, вы считаете, что математика должна быть оторвана от действительности?

— Это дурацкий вопрос, — сказал ректор.

Что-то хрустнуло во мне от оскорбления и обиды. Я опустил на стул, обведя растерянными глазами своих товарищей по работе. Они молчали, не глядя на меня. И только Посмыш прислал мне через стол торопливую записку: «Морально я с тобой!»

В тот же вечер я написал заявление на имя заведующей кафедрой с просьбой освободить меня от работы. Прочитав его, она вздохнула:

— Ректор допустил бестактность.

— Грубость, — сказал я. — Хамство.

— Не следует так болезненно реагировать, — сказала завкафедрой. — У ректора крупные неприятности... Я оставлю ваше заявление у себя, но вы подумайте.

Шли годы, в течение которых мне так и не удавалось подумать. Я долго носил в душе оскорбление, нанесенное ректором. Жалость к этому старикку и пронзительный стыд за себя охватили меня гораздо позднее.

— Письма Кати приходили в Свердловск на мой домашний адрес. Они были редки. Я написал ей, что женился, но Катя сообщила мне, что считает мой брак недействительным.

Она никогда не писала мне в спокойном состоянии. Дрожь ее писем передавалась и мне, как только я брал полученный конверт в руки. У меня не хватало терпения разорвать его аккуратно. И я никогда не мог охватить содержание ее письма с первого же захода. Давясь ее словами, как голодный человек хлебом, я глотал их громадными ломтями, сперва различая только их приближительный звук: они звучали во мне голосом Кати.

...В блокадную ленинградскую зиму сорок второго года ко мне приходили ее письма из Ташкента. Они шли долго — месяцами. Грузовики с почтой проваливались под ладожский лед. Чернила были размыты водой. Отдельные слова доносились до меня, как крик. Иногда на обратной стороне конверта чудом уцелевала фраза:

«Товарищи почтовые работники! Товарищи военные цензоры! Пожалуйста, сделайте так, чтобы это письмо дошло до моего мужа — я не могу без него жить».

Это я виноват. Я отправил ее из Ленинграда в первый вечер войны. Моя обида на то, что она согласилась уехать, и ее досада на то, что я не уезжаю вместе с ней, скрестились в тот вечер на вокзале. Мы еще не понимали размеров беды, наползающей на нас. Никто еще этого не понимал. Каждая отдельная боль была как наркот, она еще не позволяла осмыслить ее всеобщность.

Многолюдный вокзал затих, как на похоронах. Уходила последняя «Красная стрела». В этот первый день войны все сразу стало последним.

Последняя Катя стояла на ступеньках вагона... Сколько лет прошло, покуда я вылюбил ее из себя до дна.

Не будет больше Батилимана... Сюда, в Крым, я привез Катю, уехав из Свердловского комвуза на каникулы. Астахов отпустил ее со мной — он доверял нам.

Я сказал директору батилиманского санатория, что мы муж и жена и что нам нужна отдельная комната.

— Это свинство, — рассердилась Катя. — Я сейчас же пойду к нему и скажу, что вы наврали.

Директор куда-то девался, его не было до вечера, а потом стемнело, и маленький домик, в котором нам дали отдельную комнату, утонул в облаке, стекшем с горы.

Я просидел всю ночь, не раздеваясь, в плетеном кресле, нераспакованный чемодан стоял в углу. В комнате были две койки, на одной из них спала Катя; иногда она просыпалась и бормотала:

— Поделом вам... Не нужно было врать.

Так продолжалось семь суток. Утром мы спустились к морю, в пустынную бухту. Все это уже было когда-то. Я уже спускался по этой морщинистой скале, цепляясь когтями за этот сухой кустарник. Мне уже тогда не было дела до всего мира — море и скалы были слишком необъятны и вечны, чтобы я мог постигать пустяки размером в одно тысячелетие.

Обожженные солнцем, мы лежали на плоских горячих камнях, морская соль брызгами оседала на нашей коже. Мы сотворили эту землю и еще не успели населить ее человечеством.

На восьмую ночь Катя позвала меня к себе. Время взорвалось и перестало существовать. Исчезло пространство. Не было ничего до этого, и не будет ничего после этого. Было сейчас только это. Оглушенный, задохшийся, я погибал здесь и заново рождался.

Сперва в комнате стояла теплая мгла, пропитанная нагретой пылью, она была разбросана по полу от блох. Потом в распахнутое окно нацедился рассвет, его задувало в комнату легким предутренним ветром. Мгла,

как дым, поднялась к потолку, поклубилась в углах и исчезла внезапно. Это время суток, мимо которого я жил до сих пор, обладало незнакомым мне запахом и цветом; казалось, что у этого времени есть даже звук, тоненький, чуть различимый.

— Теперь я пропала,— сказала Катя.

— Дай бы бог,— сказал я.— Пропади, пожалуйста, пропадом.

— Я всегда знала, что этим кончится. А ты?

— Ни черта я не знал. Разве я смел знать? Если бы я точно знал, мне бы не выдержать столько лет.

— Подумаешь, три года,— сказала Катя.— Если человек любит по-настоящему, он может ждать всю жизнь.

— А потом? — спросил я.

В комнате стало совсем светло. От бессонной ночи мы были удивительно легкие. Большой комар с длинными голыми ногами, похожий на балерину, сел на Катину руку.

— Не убивай его,— попросила Катя.— Знаешь, что странно? Все, что казалось важным, сейчас кажется не имеющим значения. А пустяки, на которые я раньше не обращала никакого внимания, внезапно стали громадными. У тебя тоже так?

— Конечно,— сказал я.— У меня открылось второе зрение и второй слух.

— Смешно, что когда-то ты учил меня физике. Я до сих пор помню закон Гей-Люссака.

— Хороший парень этот Гей-Люссак,— сказал я.

— А разве это не два парня?— спросила Катя.— Я думала, что был Гей и был Люссак.

— Ты спутала с Бойлем и Мариоттом.

— Они были женаты?— спросила Катя.

— Бойль любил жену Мариотта. Он просто с ума сходил по ней. В сущности, свой знаменитый закон создал один Мариотт. А Бойля он присобачил из жалости.

— Это ты сейчас придумал,— сказала Катя.— Сочини что-нибудь еще, а я полежу с закрытыми глазами. Она прикрыла глаза, и я сочинил:

— Давай останемся здесь навсегда.

— В Батилимане?— сонным голосом спросила Катя.

— Я устроюсь тут затейником, а зимой, когда все разъедутся, меня переведут в истопники.

— Здесь нет печей,— сказала Катя.

— Я построю печи. Ты даже не представляешь себе, чего я могу достигнуть.

— А дрова?

— Я выращу лес.

— Сосновый?

— Какой захочешь.

Через двадцать дней, когда окончился срок наших путевок, она уехала в Киев к мужу: Астахов бедствовал где-то там на гастролях.

Я проводил ее до Харькова. Мне надо было ехать дальше, в Свердловск, но у меня не осталось денег на билет. Просить их у отца я не хотел. В институте переливания крови мне сказали, что за пятьсот граммов донору платят триста рублей. В те времена еще не умели как следует консервировать кровь и переливали ее непосредственно от человека к человеку.

На мое счастье, какой-то псих на Сабуровой даче разбил в этот день кулаком стекло и порезал себе вену. Нас положили в операционной на соседние столы. Мои пол-литра крови, полной батилиманского безумства, перелили этому психу. Мне заплатили триста рублей и дали донорский паек: полкило сахарного песка и килограмм крупы.

Жив ли ты, милый псих? Ты меня здорово выручил. И прости, пожалуйста, за ту бурду, которую перекачали тебе из моих вен.

Я купил билет до Свердловска, но по дороге, в Москве, сошел с поезда и, очутившись на Сухаревке, открыл

свой чемодан и встал в ряд с продавцами толкучего рынка. Расторговав все, что было в моем чемодане, я взял билет в Киев.

— Зачем вы приехали?— спросила меня Катя.— Игорь все знает, я рассказала ему, он простил меня.

Мы стояли на Владимирской горке, на узком мостике, над обрывом. Далеко внизу, у самой днепровской воды, бродил спиной к нам Астахов. Я различал его коротенькое, ненавистное мне сейчас туловище.

— Представляю себе,— сказал я,— как вы валялись у него в ногах, вымаливая прощение.

— Но я люблю его,— сказала Катя.

— Какого же черта вы спали со мной в Батилимане?

— Не мучайте меня,— попросила Катя.— Бывает же такое несчастье, что любят двоих.

— Бывает!— заорал я.— У шлюх, будьте вы прокляты, все бывает!

Она не побежала за мной, когда я мчался вниз с этого мостика, не окликнула меня, не заплакала в голос.

Оглянувшись, я увидел, как она медленно спускалась к Днепру. Навстречу ей шел Астахов; неуверенное, жалкое счастье перекосило его лицо.

Говорят, личность человека формируется в младенчестве; внешняя среда способна только развивать или гасить закодированные в генах черты его характера.

Не берусь судить. Вероятно, бывает по-разному. Со мной было вот как.

Софья Львовна, учительница русского языка в той школе, где я учился до пятого класса, вызвала мою мать.

— Скажите, пожалуйста,— спросила Софья Львовна,— ваш мальчик живет дома в нормальных условиях?

— По-моему, в нормальных,— ответила моя мать.

— Вы не замечали за ним никаких странностей?

— Ничего такого особенного,— сказала мама.— Он не очень любит мыть ноги перед сном, но я его ставляю.

— Вы его бьете?

— В буквальном смысле — нет. Случается, конечно, ущипнуть ребенка... Он что-нибудь натворил в классе?

— Видите ли,— сказала Софья Львовна,— ваш сын пишет очень грустные сочинения. В прошлый раз всему классу была задана тема «Как я провел лето»...

— Это лето мы провели в Покотиловке,— сказала мама.— С продуктами было неважно.

— Он не жалуется на питание,— сказала Софья Львовна.— Он вообще ни на что не жалуется. Он веселый мальчик. Но его сочинения носят какой-то грустный характер, необычный для этого возраста.

Мама хотела выручить меня. Она сказала:

— Может быть, у него глисты? Я постараюсь проследить.

Глистов у меня не было. Почему я заполнял ученические тетрадки печальными выдумками — неизвестно.

Воспоминания неуправляемы. Притаившись до времени, они живут в человеке навалом, вразброс и внезапно обрушиваются на него вне всякой последовательности и вне всякой связи с тем, что окружает его сегодня.

...Рослый узбек шел впереди меня. Он шел легко, широким шагом, несмотря на тяжелый багаж: мягкий тюк с Катиными вещами узбек нес на своей крепкой бритой голове, а длинный тяжелый чемодан он перекладывал в пути из руки в руку.

Узбек оглядывался на меня, улыбаясь во все свое большое лицо. Адрес я ему сказал еще на перроне — улица Энгельса, пятнадцать,— и теперь он уверенно вел меня по теплым ташкентским улицам.

В этот ночной час город уже остудился от жары. Сквозь кислый смрад эвакуопунктов, теплушек и вокзалов, стойко забивший мои ноздри, пробивался сейчас легкий, летучий запах отдыхающей зелени.

Мне казалось, что я не иду, а плыву в этом внезапном покое.

Никаких усилий не требовалось от моего усталого тела, оно не испытывало враждебного сопротивления среды. Я шел, одураченный тишиной, темным простодушным небом, в котором позванивали незнакомые мне веселые звезды.

Отпустив узбека у дома номер пятнадцать, я присел на крыльце и перемотал тряпье, которым были обмотаны мои распухшие ноги. Они были обуты в просторные галоши, подвязанные бечевкой.

Дом спал. По его одноэтажному фасаду чернели пять окон. Я пытался угадать, которое Катино. Странно — торопливость не колотила меня. Я мог бы и дольше сидеть на этом крыльце, окруженный сладким неправдоподобием. Блокадный голод вышиб из меня терпение.

На мой стук дверь открыла Люся. Эту толстуху зовут Люсей, — Катя писала мне о ней.

Она сказала:

— Ой, вы приехали! А Катя ушла ужинать...

Что-то заметалось на ее толстом сонном лице. Мы внесли мой багаж в дом.

Люся не зажгла свет в той комнате, куда мы вошли, но по запаху я понял, что это Катина комната. Все, что происходило в эту ночь, добиралось до меня медленно, застревая и разжижаясь по пути. Быть может, мое истощенное тело оборонялось именно так: оно подбирало для себя посылные эмоции.

Уличный фонарь слабо освещал комнату, я осторожно рассматривал ее. Попадались на глаза отдельные Катины вещи — какое-то платье на гвоздике, истоптан-

ные домашние туфли, теплый клетчатый платок. Но это была ничья комната, как бывает ничья земля.

Возле аккуратно застланной постели, на тумбочке, стояла в рамке чья-то фотография. Люся, толстуха, заслоняла ее своим испуганным задом.

Я сидел на коротком диване, не снимая пальто.

— Может, вы хотите умыться с дороги, я вам солью,— сказала Люся.

Я снял пальто и попросил вынести его во двор — в нем могли быть пвездные вши.

На фотографии был изображен по пояс мужчина в чистой белой рубашке, с галстуком. Он держал в зубах не самокрутку, а папиросу.

Умывался я в сенях над тазом. Люся сливала мне из кувшина. Она смотрела на черную воду, стекавшую с моих рук и лица. Мне хотелось помыться до пояса, но я знал, что нижняя фуфайка присохла к лопнувшим на моей спине чирьям дистрофика,— в этих местах ее надо было отмачивать теплой водой.

А Кати все не было. Я не испытывал беспокойства по этому поводу — волновалась Люся. И от волнения, мне непонятного, она говорила не останавливаясь. Я не очень вслушивался в смысл того, что она произносила. Когда мы вернулись из сеней в комнату, фотографии на тумбочке уже не было: вероятно, Люся успела убрать ее.

Это тоже было мне безразлично. Я ничего не додумывал до конца. От додумывания до конца можно умереть. Нельзя думать назад и нельзя думать вперед — вот к чему я приучил себя в блокадном Ленинграде.

А Катя все не шла. В соседней комнате время от времени били часы.

— Ой,— сказала Люся,— уже двенадцать. Я пойду к ней навстречу.

Мы пошли вдвоем, я увязался за Люсей. Кажется, ей не хотелось идти со мной, но мне было наплевать.

Катю мы встретили по дороге, она шла домой. Толстуха первая заметила ее. Заметив, она побежала ей навстречу и быстро залопотала что-то, чего я не мог разобрать, да и не пытался. У меня все еще было ощущение, что я остался в Ленинграде, а здесь идет по ташкентской улице кто-то другой, до которого мне не так уж много дела. Я был спокоен за него — метроном не тикал, снаряды не рвались, часа два назад он умял в вагоне буханку хлеба.

Приостановившись, Катя дослушала толстуху. А я шел. Я приближался к ним в рост, не пригибаясь.

— Здравствуйте,— сказал я, дойдя до них.

— Кто вы такой?— спросила Катя.

— Ты с ума сошла,— сказала толстуха.— Это же Боря.

Мы пошли рядом.

«Вот и все,— вяло думал я.— Оказывается, не так уж сложно».

Огромность того, что сейчас произошло, была не по мне. Это свалилось рядом со мной, я видел, что оно рухнуло, но именно потому, что оно обвалилось бессмысленно и сразу, я не ощутил сотрясения. В общем-то, меня стукнуло крепко — я не помню, как мы дошли до дому.

Люся исчезла. Катя включила электрическую спираль, вставила ее в кувшин с водой, но, когда вода вскипела, мы не стали пить чай.

Я спросил у нее:

— Это тот человек, что стоял у вас на тумбочке?

— Да,— сказала Катя.

— Давно?

— Полгода.

— Почему же вы не написали мне?

— Я сопротивлялась этому,— сказала Катя.— Я думала, что это пройдет.

— Здорово же вас забрало, если вы даже не узнали меня.

— Не потому, — сказала Катя. — Он уехал неделю назад совсем. В Варшаву. Он поляк... Боже ты мой, если б вы знали, как мне было плохо. Я совсем не умею жить одна...

— Все не умеют, — сказал я.

— Я была совсем одна. Я была такая одна...

— И он вас пожалел?

— Он меня ужасно жалел.

Я спросил:

— И часто он тебя жалел?

Это верно, Зинаида Борисовна, — время от времени я занимался литературным баловством. Иногда это даже носило характер хулиганства. С Сашей Белявским мы отправили в «Харьковский пролетарий» маленький рассказик Чехова, заменив в нем только дореволюционные должности героев современными. Даже фамилии их оставались нетронутыми. В «почтовом ящике» газеты нам ответил заведующий литературным отделом. Разобрав недостатки рукописи и отклонив ее, он просил нас учиться у классиков — Чехова и Тургенева.

Саша писал стихи — вы это знаете. В ту пору почти все мои друзья сочиняли стихи. Время, что ли, было такое? Меня эта страсть не коснулась. Когда во мне возникало желание выговориться стихами, я кричал чужие строчки, — этого вполне хватало. Громко читая их, я как бы сам переселялся в эти строчки и гордился тем, что живу в них, что мне удалось так превосходно высказаться.

Я не ждал и не требовал от стихов, чтобы они объяснили мне окружающую действительность. Я даже влюблялся в стихи, не до конца мне понятные. Поэтическое бормотанье волновало меня, как знахарство, как магия. Не помню я деления поэзии на лирическую и гражданскую. На смелую и трусливую. Мне и моим друзьям не

нужно было разъяснять в рифму преимущества нового социального строя. И оборонять его от нас тоже не надо было. Вероятно, мы испытывали потребность, чтобы стихи — если уж они что-нибудь должны объяснить — объяснили нам нас же самих.

Мы были хорошими читателями. Нам и в голову не приходило, что мы можем подсказать поэту, о чем и как он должен писать. Хороший поэт для меня и сейчас колдун. На каких травах настояны его стихи — тайна для меня; если бы я в нее проник, колдовство бы исчезло.

До моего уха доносились глухие раскаты боя между литературными направлениями, невнятица их названий катилась мимо: я любил поэтов и враждовавших между собой. Гораздо позднее я узнал их тогдашние теоретические декларации, и, как правило, эти декларации только снижали мое преклонение перед кумирами. Мне кажется, читатель нередко испытывает разочарование при близком знакомстве с любимым поэтом. Гениальные стихи всегда лучше, чище и оглушительней самого гения, ибо в стихах выражены самые высокие его свойства.

Имею ли я право рассуждать об этом, Зинаида Борисовна? Получилось так, что ваши письма о Саше Белявском пустили в ход какой-то механизм внутри меня, и теперь он тикает вне зависимости от моей воли. Я потерял контроль над ним. Прошлое беспорядочно мечется во мне. Казалось бы, при этом я должен с лунатической легкостью излагать события своей жизни. Почему же мне так трудно пишется?

Литература не стала моей профессией. Я — любитель. Мое сочинительство возникло случайно.

Живя в военном лагере и обучая курсантов военного училища математике, я люто скучал вечерами. Отлучаться в город не разрешалось. Возможно, от скуки я сочинил тоненькую рукопись. Она была напечатана, но это нисколько не изменило моих жизненных намерений.

Профессия учителя по-прежнему увлекала меня, хотя я продолжал чувствовать себя в ней все менее уверенно. Тщеславие литератора не пустило во мне серьезных корней, — я исписался тотчас, в первой же рукописи. И моя жизнь как бы утратила свою целенаправленность: не став литератором, я постепенно переставал быть учителем.

Как всегда бывает, я понимаю это сейчас гораздо полнее и глубже, нежели понимал в те времена. Беспокойство, одолевшее меня тогда, привело лишь к одному — еще сильнее я затосковал по Кате.

Хронология мешает мне: она путается в ногах, пытаюсь создать порядок там, где он обременителен. В жизни человека есть события, точно привязанные ко времени. Но случается и так: был год, были месяц и число, было некоторое царство-государство.

Катя ушла от Игоря Астахова и приехала ко мне. Она потом много раз уходила от него и приезжала ко мне, но в тот день это случилось в первый раз.

Поезд пришел ночью. Я увидел ее в окошке вагона, ползущего вдоль перрона. Она поскребла по стеклу, улыбнулась мне, и я пошел рядом.

Вещей у нее было немного — два чемодана. Я всегда смотрел ей в руки еще в ту секунду, как она появлялась в тамбуре: по количеству чемоданов я догадывался, надолго ли Катя ушла от Астахова.

В тот первый раз мы поехали с вокзала в гостиницу. Нам негде было жить.

Я вконец запутался. Вернее, я так никогда и не распутывался. В том, как складывалась жизнь Кати, Астахова и моя, никто из нас не был волен. Отказаться от того, что выпадало на мою долю, я был не в силах. Мне было мало этого, но без этого я ничего для себя не значил. Без этого меня не было совсем.

С вокзала мы поехали по Невскому. Квартиры для Кати у меня не было, но я создал для нее сейчас этот пустой, рассветающий город — я очень на него рассчитывал. Четыре коня, которых я поставил на Анничковом мосту, повернули к нам свои длинные добрые морды. Знакомые голые парни сдерживали их. Кони рвались из рук парней к Кате.

Оттого что Невский был пуст, я населял его своим беспорядочным воображением. Два полководца — Кутузов и Барклай — ждали нас у Казанского собора, спустив свои бронзовые плащи. У «Астории» гарцевал Николай Первый.

По Катиному московскому паспорту мы сняли самый дешевый номер. Его окна выходили во двор гостиницы и упирались в стену.

И опять провалилось время и не было никаких мыслей, кроме одной, безумной — удержать это бессмысленное существование. От неполноты счастья, поминутно ощутимой, я терял голову. Не веря в то, что это продлится, я бросал все ради того, чтобы оно длилось. Изменялись пропорции окружающего меня мира. Огсекалось ненужное сейчас, сегодня, сию минуту. Я слышал и видел только напролом — к Кате.

...Был год, были месяц и число, было некоторое царство-государство, Мне не вспомнить, когда же это было...

В письменном столе, в правой тумбе, еще долго лежали конверты, надписанные ее рукой. Они продолжали приходить ко мне уже в то время, когда мы разошлись. Последнее ее письмо я получил в конце войны. Соседка по лестнице, чудом пережившая блокаду, вручила мне конверт в сорок пятом году. Я не стал читать это письмо. Оно было мертвое. Оно было чужое, написанное как бы не мне и не Катей. Переписывались два

незнакомых мне человека, я не имел права вникать в их отношения.

Раза три в год, приводя в порядок стол, я натыкался на эти нераспечатанные конверты. Они торчали во мне, как невытащенные осколки, заросшие диким мясом. Боли уже не было, но в этом месте утратилась гибкость суставов, я вроде бы не сгибался в этом месте.

Война и блокада явились рубежом — все, что происходило потом, уже без Кати, всплывает в памяти странно, по первому моему зову.

...Я позвонил Зинаиде Борисовне из Душанбе и сообщил ей номер поезда и номер вагона.

По правде говоря, я сильно волновался в предвидении этой встречи. Мы переписывались лет пять. Письма были нечастые, — все темы в них давно исчерпались. Но само существование Зинаиды Борисовны взболтнуло во мне мое прошлое. Возможно, это произошло бы и независимо от нее, по законам моего пенсионного возраста, однако наличие человека, знающего подробности твоей жизни, создает для тебя собеседника. Мне было к кому обращаться.

И, обращаясь к ней, я заботливо составлял ее облик в своей душе. Рассказать себе словами, какая она, я бы не мог, да и не пытался. Это не имело для меня никакого значения. Парило в моем растревоженном воображении нечто родственное мне по духу, не облаченное в плоть. Оно составилось из крупинок моей жизни и жизни моих давних друзей.

Письма Зинаиды Борисовны не давали особой пищи для фантазии. Она ничего не писала о себе. Мои рассеянно-вежливые вопросы по этому поводу она оставляла без ответа. Я знал только, что она работает в Самаркандском университете на какой-то кафедре.

Сейчас я понимаю — ее письма порой удивляли ме-

ня. Но это удивление отпечаталось нынче как бы задним числом. Когда я получал ее письма, они меня не удивляли. Читая их, я не задавал себе вопросов, я давал только ответы. Мне не важна была Зинаида Борисовна — кто она? откуда она? какая она? — был для меня в Самарканде некий катализатор, без которого не вошли бы в соприкосновение причудливые тени прошлого.

Прилетев московским самолетом в Душанбе, я в тот же день позвонил ей в Самарканд. Разговор был короткий. Короче, чем я ожидал. Может, это случилось потому, что, привыкнув к интонации переписки, я растерялся, услышав незнакомый голос. Быть может, мне почудилось, что он, этот голос, непременно будет уже знаком, а он был совершенно чужой. Голос, не населенный никакими ассоциациями. Повесив трубку, я подумал, что Зинаида Борисовна испытывает то же чувство.

Когда медленный душанбинский поезд, полупустой и пыльный, подходил к самаркандскому вокзалу, на перроне никого не было. Я стоял в тамбуре за спиной проводницы, у самых ступенек вагона, и не сразу заметил женщину, идущую неподалеку вдоль поезда. Она смотрела на меня, но я сперва не обратил на нее внимания — я подумал, что это кто-нибудь из вокзальных служащих. В длинном черном пальто, сильно поношенном, застегнутом только на две верхние пуговицы у горла и неопрятно распахнутом на животе, в больших мужских башмаках, эта женщина шла уже вровень с моим вагоном. Выскивая глазами Зинаиду Борисовну, обещавшую встретить меня, я никого не увидел у поезда. А женщина эта шла и шла, она взялась даже рукой за поручень вагона. Я посмотрел на нее внимательней, она улыбнулась мне всем своим некрасивым лицом. Не пойму почему, но мне не хотелось, чтобы она оказалась Зинаидой Борисовной. Я запомнил Сашу Белявского молодым, щеголеватым парнем, изысканно интеллигентным, и мне было не под силу соединить его даже мыс-

ленно с этой женщиной; улыбаясь сейчас, она была особенно непривлекательна. Ее уродовала не старость, а запущенность. Что-то было не только в ее одежде, но даже в лице неряшливое. Нелепая, глупая шляпка, слишком маленькая для ее крупной головы, сидела боком на нечесаных волосах. Грубо выдвинутый вперед рот, — в нем не доставало зубов. Все это я отметил мгновенно, кляня себя за придирчивость.

У вагона мы познакомились.

Зинаида Борисовна полагала, что я остановлюсь у нее, но я запросился в гостиницу. Мой отказ огорчил ее.

— Я очень много жду от нашей встречи, — сказала Зинаида Борисовна. — Ведь вы были самым близким другом Саши.

Она проводила меня до гостиницы и подождала, пока куда я получил номер. Задержаться дольше она не смогла, ее отпустили с работы на полтора часа.

— У вас лекция? — спросил я.

Она ответила:

— Лекций у меня не бывает. Я работаю лаборантом на кафедре. Вам надо непременно прийти к нам в университет. Возможно, вы обменяетесь опытом.

Я пробормотал что-то в ответ. Мне показалось еще на вокзале, что она не очень вслушивается в то, что я говорю.

— Вы мало изменились, — сказала Зинаида Борисовна. — Таким я вас и представляла себе по рассказам Саши... Значит, вечером вы у меня.

Весь день я слонялся по Самарканду.

Равнодушный к старинному зодчеству, я бродил по каменным плитам дворов древних мечетей, задерживался подле усыпальниц. Холодное восхищение охватывало меня. Постигнуть величие этих сооружений я не мог. Я никому не навязываю своей позиции, но, очутившись в Самарканде, я почувствовал, что слишком устал от кровавой истории человечества. Величие, достигнутое

такой ценой, претило мне. Рубили головы строителям, травили их ядом, засекали плетью, побивали камнями — и воздвигали себе памятники немислимой красоты. Владыки осточертели мне, даже если они обладали непревзойденным художественным вкусом. Я знаю, что должен был восхищаться работой безвестных мастеров, но и это не получалось у меня искренно. Сквозь всю эту красоту я видел сейчас талант к покорности и рабству. Однообразие человеческой жестокости, уходящее в глубь веков, доколачивало меня здесь, в Самарканде.

Ничто не придумано заново. Все было.

Вечером я пошел к Зинаиде Борисовне. Она жила на одной из тех улиц, что не претерпели никаких изменений за последние пятьдесят лет. Безликие одноэтажные дома опускались вниз под гору. Кроме антенн телевизоров, ничто не напоминало середину двадцатого века. Да и много ли значат эти антенны? Я давно заблудился в десятилетиях. Вымарывая их из своей натруженной памяти, я жил сейчас не подряд, а обрывками, они не складывались в одну жизнь.

— Я переписала для вас Сашины стихи, — сказала Зинаида Борисовна. — Они в этой тетради. А здесь его фотографии. В большом конверте — письма ко мне. Пока я буду накрывать на стол, вы посмотрите.

Я сел в старенькое плюшевое кресло у кафельной печки. Зинаида Борисовна направилась в сени, где у нее шумел на табурете примус. Но по дороге к сеням она внезапно опустилась на круглый стул у раскрытого пианино и застучала пальцами по клавишам.

— Вам, конечно, знаком этот фокстрот? — спросила она, обернувшись. — Помните слова: «Джон Грей был всех милей, Кетти была прекрасна...» Мы танцевали его с Сашей в Феодосии.

И, не дождавись моего ответа, она вышла из комнаты.

Я стал рассматривать то, что она разложила передо

мной на маленьком столе. Этого было не так уж много — гораздо меньше, чем можно было предположить.

Сашины стихи я знал, они все были датированы еще тем временем, когда мы встречались в Харькове. И штук пять фотокарточек были того же периода, может быть, лишь чуточку более поздние. Тоненький пакет с письмами я не рискнул рассматривать подробно; приоткрыв его, я увидел в нем четыре конверта, надписанных четким Сашиним почерком. Обратный адрес на всех был харьковский. Когда я неловко повернул этот пакет, на стол выпал листок письма; оно начиналось словами: «Дорогая Зина, ты напрасно упрекаешь меня...»

Дальше читать я не стал. В комнату вошла Зинаида Борисовна. Она спросила:

— Вас, вероятно, удивляет, что Саша так мало писал мне?

Она внимательно посмотрела на меня.

— Напрасно вы не прочитали его письма.

Мы сели пить чай. Ощущение неловкости и разочарования теснило меня все более. Однако Зинаида Борисовна не замечала этого. В ее тоне, когда разговор шел о Саше, было что-то хозяйское, словно она одна имела основание владеть памятью о нем.

А я не мог себе этого представить. Чем подробнее она раскрывалась передо мной, тем насильственнее угадывалась ее общность с Сашей.

— В каком году вы с ним познакомились?

— В тридцать четвертом. Саша был в аспирантуре и на каникулы приехал в Феодосию. А я жила в Феодосии. Да он, вероятно, рассказывал вам об этом...

— Мы редко виделись, — сказал я.

— А писать он не любил. — Она засмеялась. — Все друзья жаловались. Даже Лидочка Колотилова...

— Это кто? — спросил я.

— Боже ты мой! — сказала Зинаида Борисовна. — Вы не помните Лидочку Колотилува?! Она жила рядом

с вами. На Садовой, угол Черноглазовской. Вот так идет Черноглазовская, а вот так — Садовая. Ваши окна выходили на ее калитку... Погодите, сейчас покажу вам ее фотокарточку.

На фотографии Лидочка Колотилова оказалась маленькой сухонькой старушкой. Я понял, что она маленюкая: она стояла в каком-то скверике, держась рукой за спинку скамейки и не сильно над ней возвышаясь.

— Узнали? — спросила Зинаида Борисовна.

— Нет, — сказал я.

— Станный вы человек, Саша всех помнил.

Я хотел сказать ей, что Саша погиб четверть века назад и что неизвестно, кто бы остался в его памяти, живи он сегодня, — но не решился.

— А давно вы видели эту Колотилу в последний раз? — спросил я.

— Я вообще никогда не видела ее, — сказала Зинаида Борисовна. — Но это не имеет никакого значения, ведь мы регулярно переписываемся.

— А в Харькове, — спросил я, — когда вы жили в Харькове...

— Я никогда там не жила, — ответила Зинаида Борисовна. — Я же вам говорила, мы познакомились с Сашей в Феодосии. Он, вероятно, рассказывал вам...

В ее голосе послышалась досада на мою бестолковость. Чего-то я действительно не мог взять в толк. И это начинало меня раздражать, хотя я отлично представлял себе, что раздраженне мое неприлично.

— Простите меня, Зинаида Борисовна. Мне кажется, вы преувеличиваете мою с Сашей близость. К сожалению, еще задолго до войны мы виделись нечасто.

Она удивленно посмотрела на меня.

— Юность сохраняется в человеке навсегда.

— Если бы! — сказал я. — У меня-то она сильно захламлена.

— А я живу только ею.

Незнакомая, пожилая и некрасивая женщина сидела со мной за чайным столом. Только сейчас я увидел, как необычно все, что нас окружает. В этой комнате все вещи были случайными и словно выхваченными из минувшей действительности. При взгляде на них тотчас всплывали их прежние наименования: шифоньер, оттоманка, гардероб, фортепьяно. И даже в то время, когда они так назывались, они, вероятно, были уже старомодными. Я не люблю нынешнюю новую мебель — она для меня слишком неодушевленная, магазинная, не обладающая личным характером. Однако в этой комнате существовала другая крайность: вещи растеряли своих владельцев, жизнь выцедилась из них по капле, они стояли мертвые, не соединимые друг с другом.

— Вам проще,— сказал я.— Вы виделись с Сашей вплоть до его ухода на войну.

— Нет,— сказала Зинаида Борисовна.— После Феодосии мы не встречались ни разу.

Понимая всю глубину своей бестактности, я спросил:

— Сколько же это у вас продолжалось?

— Почему «продолжалось»? Это продолжается и сейчас. У меня никого не было, кроме Саши. Когда он погиб, его друзья стали мне близкими людьми.

— Кого же из них вы видели? — спросил я.

— Никого. Вы — первый.

Я не мог себе вообразить этой жизни. Я спросил:

— Откуда же вам столько известно обо всех нас?

— Я писала письма. Мне отвечали.

— Но почему,— спросил я,— почему вы ни разу не приехали в наш Харьков до войны?

— Не получилось,— сказала Зинаида Борисовна.— Саша не хотел.

Удивительно было, что в ее голосе не вздрагивало, не прослушивалось и ноты сокрушенности. Она отвечала мне победительно, словно именно так и должны были сложиться ее отношения с Сашей.

По всем человеческим законам ее следовало жалеть. Логически я это понимал, но, обычно легко жалостливый, я не мог сейчас наскрести в своей душе ни крупицы сочувствия к ней. Она мне не нравилась. Я не мог себе представить ее иной, нежели видел сейчас. Это было несправедливо до жестокости, но меня заколодило за этим столом. Я не мог пропустить ее в свое прошлое.

— Вы не думайте, что это был просто курортный роман,— сказала Зинаида Борисовна.— Саша читал мне свои стихи, мы много беседовали на разные темы. Если бы не война, все могло бы сложиться иначе... Хотите, я вам сыграю то, что мы любили?

И, не заручившись моим согласием, она перенесла свое грузное тело на круглый стул у пианино.

— Садитесь поближе,— попросила Зинаида Борисовна.— Я должна видеть выражение вашего лица.

Она заиграла и запела. Не знаю, что можно было вычитать на моем окаменевшем лице.

Она била пальцами по клавишам, пианино гудело под ее тяжелыми руками. И поверх этого гуда раздавалось ее неумелое пение.

И в самый пожар моего стыда за нее я внезапно подумал: кому-нибудь и я смешон. И еще я подумал: разве это так уж смешно, когда нелюбимая тобой женщина через двадцать лет после того, как ты ее бросил и тебя уже давным-давно нет на земле, собрала вокруг себя все, что от тебя осталось?

И впервые я посмотрел на Зинаиду Борисовну с восхищением и жалостью. А она, раскрыв свой большой рот, изнемогая, докрикивала: «Отвори потихоньку калитку!..» И я отворил, и впустил ее к Саше.

И еще прошли годы. Сто, двести лет. Я ничего не забыл. Человеческая память обладает охранительным свойством: забывается лишь то, что заслуживает забвения. Выгорая от времени и корбясь по углам, воспо-

минания выцветают, как давние любительские фотографии. Выцветают подробности...

У меня не сохранилось ни одного Катиного снимка. Мы не дарили их друг другу на память — страсть запечатлеть себя на глянцевой бумаге еще не стала в то время тотальной. В нашей юности люди фотографировались редко.

Пожалуй, это и хорошо, что у меня не сохранилось ни одного Катиного снимка: расстояние от него до меня все возрастало бы. Мне было бы все невозможней представлять себя, сегодняшнего, рядом. Без ее фотокарточки мне проще вообразить и себя молодым: мы вдвоем существуем только в моем воспоминании. Мы равны. Мы не старели бок о бок. Мне не надо делать никакого усилия, чтобы увидеть ее прекрасной. Время не разрушило ее.

Она наделила меня могуществом мага: стоит мне чуточку поколдовать над своей памятью, и Катя снова и снова — сколько раз прикажу — идет мне навстречу. Харьков ли это, Ленинград, Батилиман — не имеет значения. Она идет мне навстречу по неопознанной земле, по планете. Я не могу припомнить, во что она одета, я не помню ни одного ее платья, мне не нужны подробности. Грохочет гром, светит солнце, льет дождь, метет метель — и все это вместе, разом, — мне наплевать, что так не бывает. Когда я вижу ее, идущую навстречу, я забываю даже век, в котором это происходило. Мне важно только одно — чтобы она дошла до меня.

Я позабыл цвет ее глаз и волос. В моей памяти не сохранилось даже словесного портрета. Если бы мне описали черты ее лица, я не опознал бы их. Она была для меня неделима. Вся, какая есть. Такая — что я готов был бежать от нее на край света. Такая — что я готов был ползти за ней на край света.

История моей любви к ней стала надолго историей моей жизни.

ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?

Киноповесть



Оживленная улица вечернего города. Сперва она едва различима в голубоватых сумерках, но вот, разом, вспыхнули фонари, и в фасадах новых домов поочередно, то тут то там, словно перемигиваясь и подавая сигналы друг другу, освещаются окна. От этого внезапного яркого сияния улица становится весело-нарядной: пришел тот час, когда люди торопятся в театры, в кино, в гости.

На перекрестке сгрудилась толпа, нетерпеливо ожидая красный глаз светофора.

Издалека, сперва едва слышно, доносится какой-то длинный неприятный вой. Он нарастает со стремительной скоростью. По осевой линии улицы мчится машина «скорой помощи». Она проносится на красный свет, и тревожный вой сирены еще долго стоит в ушах прохожих.

В кабине шофера рядом с водителем сидит врач. Лицо его хмуро-сосредоточенно.

В пустом кузове — молоденькая санитарка Надя Лузина. Явно нервничая, она поглядывает в окно машины, пересаживается на ходу с места на место, придерживая рукой чемоданчик с медицинскими инструментами; она кладет его к себе на колени, когда машину сильно встряхивает.

Врач, обернувшись, посматривает на нее, затем произносит:

— Только попрошу вас, хоть на этот раз, вести себя как следует.

— Хорошо, — кивает Надя.

Врач бормочет, обращаясь к шоферу:

— А кого-нибудь другого вместо нее мы не могли взять?..

Вой сирены заглушает ответ шофера.

«Скорая помощь» подъезжает к толпе, беспокойно собравшейся в центре проезжей части. Врач быстро вышел из кабины. Надя уже тоже оказалась здесь — она протягивает врачу чемоданчик с инструментами.

Проталкиваясь сквозь толпу, врач спешит к месту происшествия. Надя идет вслед за ним — и внезапно останавливается, услышав возгласы окружающих:

— А живой он?

— Да какое — живой! Кровищи там!..

— Ах ты господи! Чем же это его?

— Грузовиком сшибло...

— Пьяный, что ли?

— Да нет, приличный такой мужчина, шел с авоськой, нес макароны...

Из центра толпы раздаются по цепочке голоса:

— Носилки!

— Врач требует носилки!

Бегом Надя возвращается к машине. Выйдя из кабины, шофер распахивает заднюю дверцу. Надя вскочила внутрь, вытащила носилки, передала их шоферу, а сама засуетилась в кузове, словно именно здесь она сейчас нужнее всего.

Сквозь расступившуюся толпу, как по коридору, идут к машине врач с шофером, поддерживая носилки, на которых лежит человек, покрытый сверху пальто.

Уже с закрытыми дверцами машина трогается с

места, медленно пробираясь сквозь толпу окруживших ее людей.

Рядом с шофером в кабине пусто. В кузове склонился над раненым врач. Не глядя на носилки, Надя держит на своих коленях раскрытый медицинский чемоданчик и подает врачу шприцы, ампулы, вату, бинты.

У раненого мужчины забинтованы голова и нога. Обнажив его руку, врач делает ему инъекцию. Устало откидывается на спинку сиденья и вытирает тыльной стороной ладони пот со своего лба.

Хмуро, исподлобья, посмотрел на Надю. Она съезживается под его взглядом.

— Я же вас, кажется, предупреждал. Опять испугались крови?

Отвернувшись и укладывая инструменты в чемодан, Надя плачет.

Раненый открыл глаза, он видит плачущую Надю и слышит раздраженный голос врача:

— На кой черт вы пошли на медицинский? Из вас никогда не получится врач!

— Зачем вы ее ругаете? — шепчет раненый. — Она же меня жалеет.

Машина «скорой помощи» мчится по вечерней улице города.

Ночь. Сквозь открытые двери больничных палат сочится в коридор притушенный свет.

В дальнем конце коридора Надя Лузина моет пол. Она делает это истово, то сгибаясь в три погибели, то становясь на колени, чтобы обтереть плитусы. Волосы выбились из-под ее белой косынки. Усталым движением руки она поправляет их.

Блестит надраенный пол. Над дверью одной из палат мигает сигнальная лампочка.

За освещенным столиком дежурной медсестры, стоящим в центре коридора, пусто.

Мигает лампочка вызова. Разогнувшись на мгновение и оглядывая вымытый пол, Надя заметила сигнал. Она быстро вытерла руки о полотенце, заткнутое за пояс халата, и побежала к дверям палаты.

Здесь несколько косок. На ближайшей из них, у самых дверей, лежит девочка, ей лет шесть. Нога ее в гипсе. Девочка не спит.

— А почему же вы пол в коридоре мыли? Разве доктора моют полы? — спрашивает девочка.

Надя не успевает ответить — с отдаленной койки раздается стон. Быстро подложив под загипсованную ногу девочки свернутое одеяло, Надя торопится к другой больной.

Напив ее из поильника, Надя уже у следующей постели — здесь надо забрать и унести судно. Бесшумно движется санитарка Надя Лузина от койки к койке.

И снова она вернулась к девочке у двери.

— Опять не спишь? — шепотом спрашивает Надя.

— Ноге больно...

— А ты про нее не думай. Забудь про нее. Думай про что-нибудь хорошее.

Она садится к девочке на постель и кладет ее больную ногу себе на колено.

— Давай вместе думать, — говорит Надя. — Например, про собак... У меня была одна знакомая собака, она сама ходила в булочную за хлебом. Возьмет авоську в зубы и идет...

— А деньги? — спрашивает девочка.

— Деньги у нее в карманчике на ошейнике...

Надя очень устала, ей хочется спать, глаза ее слипаются. Привалившись боком к спинке кровати и держа ногу девочки на коленях, она продолжает говорить, постепенно задремывая:

— Возьмет полкруглого, возьмет батон или городскую... Колбаски сто граммов, сыра...

— А разве в булочной продают колбасу? — улыбается девочка.

Но Надя уже не слышит. Она спит.

И девочка, глядя на нее, тоже закрывает глаза.

Ординаторская больницы. Как обычно, это не очень уютная комната. Над столом горит электрическая лампа без абажура. Сквозь светящееся окно пробивается рас-свет.

Сидит за столом утомленный после ночного дежурства немолодой врач. Подле него лежат стопкой папки с историями болезней. Он делает в них записи; кажется, не будет конца этой работе — стопка уменьшается медленно.

Рядом с его локтем появляется стакан чая.

— Попейте горяченького, я крепкого заварила,— раздается женский голос.

— Спасибо,— рассеянно говорит врач.

Он отхлебывает чай, грея о стакан озябшие руки.

— Каши хотите, я могу из столовой принести?

— Благодарю вас, не надо.

Он поднял голову, щуря глаза от света лампочки над столом.

Надя снимает халат санитарки, вешает его на гвоздик. Придерживаясь за стенку, стоя, переобувается — сняла больничные шлепанцы и надела свои стоптанные туфли. Собрала с края стола толстую тетрадь и книги, укладывает их в старенький дерматиновый портфель.

Врач посмотрел на часы.

— Прямо на лекцию? — спрашивает он.

— Ага.

— Заснете небось после бессонной ночи?

— Ой, что вы? Это я на санитарии и гигиене сплю. А сегодня у нас терапия, Да и подремала я немножечко.

Она надевает пальто.

— Еще три годика — и все! Буду свободна, как птица...

Придвинув к себе снова стопку папок, пожилой врач ворчит:

— Врач и птица — это совершенно разные профессии. Кому из санитарок вы сегодня сдали дежурство? — без всякого перехода, все так же не подымая головы, спрашивает он.

— Зинаиде Степановне.

— Внушили бы вы ей, Надя, что больным не следует разбалтывать их диагнозы. Неужели эта дура не понимает, что тяжелобольных это травмирует?

— Хорошо, — говорит Надя. — Я ей скажу... Петр Иванович, можно вас спросить?

Он кивнул.

— Ну, а если человек очень болен? И если он очень просит: доктор, скажите мне правду, я должен успеть сделать распоряжения, я хочу знать, сколько времени у меня осталось...

Пожилой врач отвечает тихим, внезапно осевшим голосом:

— На прошлой неделе умер мой друг. Медик. Он умолял меня не скрывать от него точный диагноз. И я не скрыл, ответил ему — рак печени. Он сказал мне: спасибо за правду, но ты меня убил...

Все это пожилой врач произносит медленно, не отрывая глаз от папок с историями болезней и даже делая в них короткие записи.

Надя стоит с портфелем в руках и не решается уйти.

— Вы сегодня устали, да? — тихо спрашивает она.

— Немного.

Ей жаль его. Она хотела бы сказать ему что-нибудь приятное.

— А две ваши пациентки из третьей палаты в понедельник идут на выписку...

Врач пишет, возможно, он даже не слышит Надю. Тишина.

На столе, подле локтя доктора, появляется тарелка дымящейся каши.

Комната девушек в общежитии студентов-медиков. Три койки, три тумбочки, в центре — большой стол. Надя Лузина гладит на столе мужской пиджак; скоблит ногтем пятна, брызжет на него водой, отпаривает электрическим утюгом.

На другом конце стола, разложив перед собой тетради, занимаются две Надины однокурсницы.

— Обнаружение симптома Пастернацкого, — говорит Тоня ровным ученическим голосом, — позволяет нам диагностировать заболевание почечных лоханок...

— А точнее? Какое заболевание? — слышен нетерпеливый мужской голос. — Как оно называется?

— Называется пиелит.

— Ну, вот и отлично.

Теперь мы видим, что это произнес Сережа Кумысников. Он сидит без пиджака, в рубаше, поверх которой накинута Надина вязаная кофта.

— На троечку, девчонки, вполне потянете. А много ли нашему брату надо!..

— Тебе, Кумысников, хорошо говорить, — поет Женя. — У тебя стипендию не отнимут. Ты талантливый...

— Я-то? Нисколько. Просто я точно знаю, чего хочу... У Рахманинова как-то спросили: в чем, по-вашему, заключается искусство виртуоза-исполнителя? Рахманинов ответил: в том, чтобы не задевать пальцами соседние клавиши.

Листая тетрадь, Тоня расселянно спрашивает:

— Рахманинов — татарин?

— Русский, Тонечка, — спокойно отвечает Сергей. — В наше время врач не может быть универсалом. Надо сразу облюбовать свою область и не мазать по соседним клавишам. Меня интересует хирургия легкого. А все эти грыжи, аппендициты — это банальные случаи...

Женя спрашивает:

— А если у человека все-таки грыжа?

— Найдутся сотни хирургов, которые преотлично сделают ему операцию.

— Значит, ты делишь врачей на чернорабочих и гениев?

— Нисколько. Я делю людей только по одному принципу: хочешь или не хочешь добиться, умеешь или не умеешь делать.

Тоня, скуластенькая, губастенькая, краснощекая девушка, возившаяся со своими тетрадами, мечтательно потянулась.

— Мало ли чего я хочу... Девчата, я хочу быть принцессой!

— Принцесса, Тонечка, — вежливо говорит Сергей, — знала бы, между прочим, что Рахманинов — великий русский композитор. Следовательно, профессия принцессы тебе противопоказана.

— Слушай, Кумысников, — говорит Тоня, — а что б ты сделал, если б был всемогущим царем?

— В феврале семнадцатого года отрекся бы от престола и в октябре устроил Октябрьскую революцию.

— А потом?

— А потом поступил бы на медицинский и стал работать в области хирургии легкого... Надя, ты скоро? Мы же в кино опоздаем.

— Сейчас, последний рукав остался...

— Десять коров на меня приходилось, — негромко говорит Тоня. — Три раза в сутки донть. Верите, девоч-

ки, я и ночью, во сне, пальцами вот так делала. Доила. От этой работы аж до плеча ломит руки... Вот ты, Кумысников, ругаешь меня: того я не знаю, этого... А откуда мне знать? Наша деревня — сто пятьдесят километров от железной дороги. Я в начальную школу пятнадцать километров туда-назад бегала...

— Ломоносов знал, — говорит Кумысников. — А тоже был из деревни. Архангельская область. Село Холмогоры. Пешком, между прочим, пришел в Санкт-Петербург.

— И прописали его? — прищурясь, спрашивает Тоня. — И из колхоза отпустили?..

— Ну, завелась наша Тонька! — Женя обняла ее.

— Ты, Кумысников, в санитарках не служил? За больными не таскал горшки, как мы вот с Надькой? Навоз за скотиной не убирал? Тебе сколько лет?

— Ну, двадцать два.

— А мне двадцать семь. И я баба, а ты мужик.

— Тонечка, — миролюбиво говорит Сергей, — но кто-нибудь же должен у нас доить коров!

— У тебя все — кто-нибудь: грыжу ушить — кто-нибудь, за скотом ходить — кто-нибудь...

Сергей улыбнулся.

— А между прочим, удрала-то из деревни ведь ты, а не я. — Он дружелюбно коснулся ее плеча. — Не сердись, Антонина. Просто у нас по-разному сложились биографии. Кстати, когда наш стройотряд возводил в совхозе коровник, я клал фундамент не хуже других. Ты даже сказала: Кумысников — молоток!

— Да ну тебя! — успокоилась внезапно Тоня. — Бери свою Надьку и уматывай. И лучше ее попытай: знает она, чего хочет?

— Знаю, кажется, — смущенно говорит Надя. — Может, это звучит наивно: я хочу научиться лечить людей. Столько горя я видела у себя в детдоме! — Еще более смешавшись от своей ненужной откровенности, она по-

мальчишески тряхнула головой.— Вот только жутко хотелось бы выяснить, есть ли у меня для этого призвание, а то буду зря ишачить, а пользы — шиш...

Сергей надевает пиджак, поданный ему Надей.

— Обнаружить заранее, есть ли у парня или девчонки призвание, нельзя. Это все болтовня.

— Ну почему же болтовня? Ведь можно же поговорить с ними, задать им вопросы...

— А ты уверена, что человек всегда отвечает то, что думает?

— Уверена. Если он, конечно, честный.

— Ладно. Возьмем только честных. Интересно, с помощью каких вопросов ты бы пыталась выяснить наличие призвания? Это ведь загадочная штука — человеческое призвание!.. Максима Горького, например, юношей приняли в оперный хор, а Федора Шаляпина — нет. Про Вальтера Скотта профессор университета сказали «Он глуп и останется глупым всегда»... А с нами, будущими медиками, еще сложнее. Вот, скажем, я, Сережа Кумысников, подал заявление в институт. А ты, заслуженный профессор Лузина, вызвала меня для собеседования. Спрашивай, задавай вопросы. Я буду отвечать.

Надя молчит. Спрашивает Тоня:

— А правда, Кумысников, почему ты пошел на медфак?

— Видите ли, профессор, я с детства люблю медицину.

Теперь спрашивает Надя:

— А что это значит — любить медицину?

— Это значит, что меня интересует раскрытие тайн природы именно в данной области; борьба с болезнями, продление человеческой жизни...

— Это ты, Сережка, говоришь про науку, а я спрашиваю, почему ты хочешь стать врачом?

— Профессор,— говорит Кумысников,— я знаю, каких слов вы от меня ждете. Но я их не произнесу, ибо они широко известны. А все то, что широко известно, становится банальным...

До сих пор Женя молчала, уткнувшись в свои тетради. Сейчас она подняла голову и насмешливо посмотрела на Кумысникова.

— Боже ты мой, Сереженька, как тебе трудно живется! Все время надо стараться быть непохожим на других!..

По ночной пустынной улице идут Надя с Сергеем. Он обнял ее за плечи.

— Ты хороший парень, Надька!

Она неприметно вздохнула.

— Ребята мне часто это говорят...

— Понимаешь, с тобой как-то просто. Я еще в школе всегда чувствовал себя неловко с девочками, вроде я вечно виноват перед ними.

— Ну в чем, например?

— Например, я не замечал, что у них новое платье. Иногда получалось парадоксально: те, у кого я все-таки замечал новое платье, обижались на меня за то, что мне неинтересно разговаривать с ними. А те, с кем мне было интересно разговаривать, сердились, что я не замечаю, как они выглядят... И вечно мне нужно было оправдываться...

— Просто ты еще никого не любил, Сережа.

— Ого! Еще как любил!.. В девятом классе я влюбился в нашу биологичку. И ужасно мучился.

— А она догадывалась об этом?

— Ты с ума сошла! Я выискивал редкие книги в библиотеках, штудировал их и ставил ее в тупик своими вопросами. Однажды она даже разрыдалась на уроке...

— А зачем ты это делал?

— Не знаю... я часто поступаю не так, как хочу:

— И потом жалеешь?

— Иногда... Ты не думай, что я циник, Надька. Тебе я могу сказать: неохота быть сентиментальным слабаком. Помнишь, мы в школе учили про Рахметова. Он спал на гвоздях, нам казалось это смешным и даже глупым. У настоящего человека должна быть одна мечта — огромная, на пределе его возможностей. Такая, к которой он упрямо идет всю свою жизнь.

Любуясь им, Надя спрашивает:

— Но он доходит до нее?

— Непременно. И это не имеет ничего общего с карьеризмом: у карьериста мелкая цель, а не мечта, и средства у него мелкие и мерзкие.

— А у меня, Сережка, нету одной огромной мечты. Уж я думала, думала, ничего не могу придумать. Все какое-то крохотное, как в детском магазине.

Он снова дружески обнял ее.

— Мечту, Наденька, не придумывают. Она должна быть растворена в крови, она должна доставлять человеку и муки и наслаждение. Ты знаешь, что, по-моему, движет гениальным ученым? Совсе не желание раскрыть тайны природы. Это все бодяга для интервью. На самом-то деле гений испытывает неслыханное наслаждение от своей работы — он без этого не может жить, это форма его существования...

— Сказать тебе? — Надя подымает на него глаза. — Вот сейчас у меня мечта, чтобы мы долго-долго шли по этой улице. Чтобы она нигде не кончалась. Это мелко, Сережа?

— Ну, почему же... Это тоже жизнь, только другая ее область.

— А один человек может жить сразу в двух областях?

— Черт его знает... Наверное, может. Если чем-нибудь жертвует.

— А ты бы мог?

— Не знаю. Не пробовал...
Обнявшись, они идут по улице.

Снова комната девушек в студенческом общежитии. Ночь. Слабый свет уличного фонаря в окне. Лежат на своих постелях Тоня и Женя. Надя только что вошла, она медленно раздевается, снимает пальто, туфли, шапочку.

— И приеду я к себе в деревню Федоровку доктором,— говорит Тоня.— Нарочно пять лет не ездила на каникулы. Чтоб потом все удивились. Думаешь, я там у себя не могла выйти замуж? Ко мне крепко сватались! С домом, с хозяйством. Но я очень, девочки, самолюбивая. Деньги мне — тьфу... Главное, чтоб уважали.

Женя не слушает ее. Женя говорит о своем:

— Интересно, почему ночью кажется — все исполнится? А утром проснешься — и понимаешь: дура ты, дура... Надька, ну как? Хорошее кино?

— Ничего.— Голос Нади бесцветен.

— Переживательное? — спрашивает Тоня.

— Тонька! — смеется Женя.— Ты по-русски когда-нибудь научишься говорить?

— А что, опять не так? Ну и ладно. Еще посмотрим, кто из нас раньше станет заврайздравом. У нас в районе знаешь как люди нужны?

Женя внимательно смотрит на Надю.

— Ты что такая?

— Обыкновенная я...

— У нее все в порядочке,— говорит Тоня.— Раз Сережка Кумысников за нее взялся, он ее до ума доведет. Будь спок! В случае, на свадьбе водки не хватит, я брагу сварю...

Из-за занавески у двери, куда скрылась Надя, не слышно ни звука. Женя вскакивает с постели, бежит туда в закуток.

В закутке, прислонившись лицом к шкафу, стоит Надя.

— Он обидел тебя? Обидел? — Женя обнимает ее.

— Нет...

— Ну что, Надюша? Ну что, скажи?..

— Он... говорит... что я... хороший парень...

Рыдает.

Двор. Надя рассматривает номера квартир в подъезде. Со своим чемоданчиком побежала вверх по лестнице. В том, как она движется, уже чувствуется некоторая уверенность и сноровка.

Еще по одной лестнице поднимается Надя. И еще по одной.

В следующем доме ей повезло — она оказалась в лифте. Устало прислоняется к стенке кабины. На лице ее блаженная улыбка. Доехав до нужного этажа и уже открыв дверь лифта, Надя вдруг прикрывает ее и нажимает кнопку спуска. Ей захотелось прокатиться. Доехав до первого этажа, она снова нажимает кнопку.

Надя вышла из лифта. Остановившись у шикарной двустворчатой двери (такие двери были в барских старых домах), она поправила привычным жестом прическу и даже посмотрелась в карманное зеркальце. Нахмурившись, попыталась построить солидное выражение лица. Не выдержав, подмигнула своему изображению и показала ему язык.

Надавила кнопку звонка. Еще раз одернула на себе легонькое пальто.

Из-за двери — густой женский голос:

— Кто?

— Я из поликлиники.

Дверь распахивается. В хорошо обставленной, просторной прихожей с огромным зеркалом в раме красного дерева стоит полнотелая седая дама. Она окидывает Надю удивленным взглядом.

— Мы вызывали доктора, — на последнем слове дама делает заметное интонационное ударение. — Врача, — повторяет она.

— Я пришла, — отвечает Надя.

— Попрошу вас снять пальто и вымыть руки.

Надя робко пристраивает свое пальто на шикарнейшей вешалке.

Дама приоткрывает дверь в одну из комнат и произносит тихо, но явственно:

— Алексей, из поликлиники пришла какая-то девочка, утверждает, что она врач.

Затем дама указывает Наде рукой в глубь коридора:

— Ванная — вторая дверь налево. Мыло — на магните. Полотенце для рук — голубенькое. Уборная — рядом. Вода спускается ножной педалью справа от унитаза.

Надя моет руки в роскошной ванной комнате. Не сразу она находит мыло: мыльницы нет, оно висит на магните. Надя дважды открепляет его от магнита и снова прикрепляет: здесь вообще множество удобных мелочей, их интересно рассматривать.

Но вот Надя уже в спальне.

На огромной двуспальной постели, под необъятным пуховым одеялом, лежит маленький щуплый мужчина в пижаме. Он, очевидно, пристраивал марки в альбом, а сейчас отложил его в сторону.

Седающая дама удобно устроилась в мягком кресле.

Надя сидит на низком ковровом пуфе. Сидеть ей на этом пружинистом пуфе здорово неудобно — ее покачивает из стороны в сторону. Держа свой старенький портфель на коленях, она простреливается сейчас навзлет двумя парами строгих глаз.

Наде хотелось бы поскорей осмотреть больного, но с ней ведут светскую беседу.

— Вы, вероятно, недавно кончали, милочка? — спрашивает дама.

— Я учусь на шестом курсе.

— Колоссально! — произносит мужчина без всякого выражения.

— И вас уже самостоятельно направляют к пациентам? — любезно допытывается дама.

— Если встречается что-нибудь сложное, я консультируюсь со специалистами, — незастенчиво отвечает Надя. — У нас в поликлинике очень хорошие специалисты.

Роясь в портфеле, она вынимает карточку больного. На пол падает стетоскоп, рассыпаются учебники. Наклонившись, Надя подбирает все это.

— Не хотите ли, доктор, чашечку кофе с бутербродом? — спрашивает дама.

— Ой, что вы, спасибо, я сыта...

Надя обернулась к больному.

— На что мы жалуемся? — Тон ее чрезмерно, по-студенчески профессионален; она придвигается вместе с этим проклятым пуфом к постели.

Однако больной не успевает ответить. Вместо него отвечает жена:

— Видите ли, деточка, Алексея Петровича пользует профессор Любимов. Мы верим ему как богу!.. Я думаю, что вам не стоит трагить свое золотое время на осмотр...

— Значит, вы не вызывали врача из поликлиники? — удивленно спрашивает Надя.

— Вызывали. — Дама очаровательно улыбается. — Алексею Петровичу необходим бюллетень. Надеюсь, вам уже доверяют выписку больничных листов?

— Доверяют, — растерянно кивает Надя.

— Вот и чудненько.

Поднявшись, дама подошла к своему туалету, сдвинула с его края флаконы и баночки.

— Здесь вам будет удобно. Три дня нас вполне устроят.

Невольно поднявшись вслед за ней, Надя приблизилась к туалетному столику. Дама придвинула ей кресло,

Из большого хрустального бокала дама вынула авто-ручку.

— Прошу вас. Это перо я привезла из Парижа. Бо-же ты мой, какая это была сказочная поездка!..

Ошеломленная стремительным, напористым шебе-таньем дамы, Надя опустила в кресло; не в силах ото-рвать взгляда от нее — как кролик от удава, — Надя на ощупь вынимает из своего портфеля бланк бюллетеня.

— Да, забыла вам сказать диагноз профессора Лю-бимова — колит. Кажется, деточка, это следует писать по-латыни... Вероятно, вы уже проходили колит?

Парижским пером Надя заполняет бюллетень. Дама нависла над ее плечом.

Выйдя из квартиры и уже спустившись на несколько ступенек по этой шикарной лестнице, Надя вдруг взбе-жала обратно к запертым двустворчатым дверям — ли-цо у нее раздосадованно-решительное, — она протянула было руку к звонку и все-таки не позвонила. Ударив кулаком по дверному плинтусу, в злости на себя прику-сив губу, она медленно пошла вниз.

Мчится по улице бойкий «москвичок» неотложки. За баранкой — грузный, сонный шофер. Рядом с ним Надя Лузина. На коленях ее докторский чемоданчик. Надя раскладывает на чемоданчике карточки вызовов.

Шофер покосился на нее.

— Сколько осталось?

— Пять.

— Обедать пора.

— Семен Петрович, миленький, хотите, я вам дам бублик? Очень вкусный бублик. С маком.

Сует ему надкусанный бублик.

Мчится дальше «москвичок».

И вот уже у постели больного сидит Надя; доктор-ский чемоданчик подле ее ног. Больной неподвижен, на

его бледном лице пот. Он лежит в пиджаке, башмаки торопливо сняты, они брошены как попало. Галстук на шее сдвинут; воротник расстегнут. Глаза больного закрыты. Ему лет за шестьдесят, а может, это только сейчас кажется так.

Высокая худая женщина растерянно стоит в ногах больного мужа: через ее плечо перекинута кухонное полотенце, концом которого она трет и трет уже давно сухую тарелку.

Женщина смотрит на Надю с такой надеждой и верой, что Наде даже как-то не по себе. Вид больного ей не нравится. К осмотру она еще не приступила, только вынула из кармана халата стетоскоп.

— Когда это случилось? — спрашивает Надя.

Взволнованная женщина отвечает подробно:

— Я стояла на кухне, мыла посуду, и вдруг — звонок... У Кости, конечно, есть свои ключи, а по вторникам у них в школе педсовет, значит, раньше пяти я его и не ждала домой...

— Варя, это доктору неинтересно, — раздается тихий голос больного.

— Открываю дверь — представляете себе! — Костю вносят двое незнакомых молодых людей!..

— Не вносят, Варя... Они меня только поддерживали. Я бы и сам дошел...

Надя наклоняется к нему:

— Что вы почувствовали, когда вам стало плохо?

— Замутило. Закружилась голова. И в глазах за двоилось... Мне и один-то наш завуч осточертел до смерти, а тут смотрю на него — двое...

— А сейчас? — Она вынула из чемодана прибор для измерения давления.

— Немножко получше.

Нажимая грушу прибора, Надя следит за шкалой, и по ее лицу видно, что давление высокое.

— Вероятно, понервничали на уроке?

Он отрицательно качает головой.

— На уроках я спокоен...

— С детьми трудно,— говорит Надя, особо не задумываясь, лишь бы отвлечь больного от его тягостного состояния.

— С детьми легко. Со взрослыми трудно... Особенно если они кретины... Варя, положи тарелку, она уже сухая...

— В больницу я его не отдам,— выпаливает она. Надя вынула из кармана карточку больного.

— Все будет хорошо, Константин Иванович. У вас немножко подскочило давление. Главное сейчас — покой. Абсолютный покой.

— Покой и воля...— прошептал больной.

— Что? — наклонилась к его губам Надя.

— «На свете счастья нет, но есть покой и воля»,— ясно произнес он.

Надя растерянно смотрит на него: может, он бредит?

— Это стихи Пушкина,— неожиданно громким голосом говорит больной учитель; сознание его действительно то и дело смещается.— Прошу выучить их к следующему уроку.

— Хорошо,— кивает Надя.— Я выучу.

По улицам шныряет «москвичок» неотложки. Кажется, что даже он изнемог. Рядом с шофером — Надя. На ее докторском чемоданчике всего одна карточка.

Шофер покосился на эту карточку.

— Глафира? — спрашивает он.

— Глафира Васильевна,— кивает Надя.

— От баба! — кричит шофер.— Дня не проходит, чтоб не трезвонила в неотложку...

«Москвичок» въезжает во двор старого дома. Когда Надя вышла из машины, шофер высунулся в дверцу и крикнул вслед:

— Вколите ей два кубика, и все!..

Оплывшая старуха открывает Наде дверь. Поверх ночной рубахи накинут на плечи старухи мятый ситцевый халат. Она дышит астматически, со свистом. Вслед за ней идет Надя по длинному коридору коммунальной квартиры.

Комната метров десять. Неприбранное постельное белье на железной кровати. По стенам приколоты репродукции из «Огонька». Есть шкаф, есть даже телевизор, но все это такое же осевшее и разваливающееся, как и сама Глафира Васильевна. В углу на тряпках лежит толстый, неповоротливый фокстерьер. Он тоже похож на свою хозяйку.

Войдя в комнату, старуха тотчас опускается на стул у стола и, скинув с левого плеча халат, обнажает исколотую инъекциями руку.

Тем временем Надя вынимает из чемоданчика шприц, ампулу, вату. Старуха бдительно следит за всеми этими приготовлениями.

— Эфедринчику, золотце, не жалей. Сделай два кубика,— и без всякого перехода добавляет:— Забежал вчера Федька, посидел пять минут, развернулся и пошел. Сунул в коридоре десятку и просит: только не сказывайте, мама, моей Люське. Я ему говорю: Федя, а Федя...

Надя делает ей укол.

— И то удивляюсь, с чего это он забежал спрове-
дать меня? Не ты ли, золотце, звонила ему?

Комната студенческого общежития. Вечер.

Женя накрывает на стол, доставая из шкафа самую разнообразную посуду.

Надя чистит картошку.

Женя. Жрать хочется сумасшедше!.. Между прочим, если тебе понадобится после ужина остаться с Се-

режей вдвоем, то я тактичненько исчезну. А Тонька дежурит в ночь...

Надя. Никому это не нужно.

Женя. Дура.

Надя (*не желая продолжать этот разговор*).
А наверное, старые врачи были талантливей, чем мы.

Женя. Здравсьте.

Надя. Сейчас приходит ко мне больной, я его отправляю на рентген, на электрокардиограмму, требую анализы, измеряю ему давление... А раньше? Приложит доктор свое ухо к груди, к спине, пощупает живот...

Женя. Кустарщина.

Надя. Уж лучше кустарщина, чем ремесленничество.

Женя (*смеется*). Ох, у меня сегодня был случай! Является на прием дядечка, крепонький такой, румянец от уха до уха. Закрывать бюллетень, выписываться на работу. Не с моего участка, с соседнего, а там врач в отпуске. Ну, мне как-то неудобно только расписаться, и все. Дай, думаю, я его для солидности послушаю. Слушаю легкие, и кажется мне, что у него пневмония. Чем больше слушаю, тем больше кажется. А он стоит, улыбается. Ему смешно, что я молоденькая и слишком над ним, здоровяком, хлопочу. Отправляю его на рентген. Приходит через полчаса, приносит заключение рентгенолога: пневмония правого легкого. Я чуть не бросилась целовать этого дядечку! Пневмония, говорю ему радостно, у вас пневмония!.. (*Смеется*.) Такая счастливая, что поставила правильный диагноз!.. Надька, довольно чистить, я помираю с голоду, беги варить на кухню.

Надя (*подымается, берет кастрюлю*). И совершенно мы слепые котята, Женечка!.. А ведь через неделю получаем диплом.

Женя. Подумаешь! И так работаем врачами... Стой. Я тебя причешу.

Она подбегает к Наде и пытается причесать ее.

Надя (*покорно подставив свою голову*). Знаешь, какое мое самое большое желание? Выспаться! За все шесть лет выспаться. Я вчера на ночном дежурстве подсчитала: у меня недосыпу пять тысяч двести тридцать два часа...

Женя. А еще говорят, что ты добрая. Патлы у тебя жесткие.

Надя. Я не добрая. Я растерянная.

Женя. И туфли мои надень. Быстренько.

Скинув свои туфли на высоких каблуках, она заставляет Надю тут же переобуться.

Женя. Жить надо так: придумывать себе праздники. Не общественные, а личные. Решаю с утра — сегодня у меня праздник. Знаешь, как это заразительно действует на окружающих?

Надя (*улыбнувшись*). Фантазерка ты.

Женя. И врунья. Врать, Наденька, интересно. Как будто два раза живешь: один раз по-настоящему, а второй — по-выдуманному. Имей в виду: сегодня день твоего рождения.

Надя. С ума сошла.

Женя. Ну, беги. Не забудь посолить.

Комната общежития уже окончательно прибрана. Стол накрыт.

Стук в дверь. Торопливо что-то жуя и надевая на ходу пальто, Женя впускает Сережу Кумысникова.

Кумысников. По какому случаю банкет?

Женя. У Нади день рождения.

Кумысников (*удивленно*). А мы ведь праздновали его зимой.

Женя. Значит, сегодня именины. Святая Надежда. Была такая.

Она подходит к Кумысникову, вынимает из верхнего карманчика его пиджака гребенку.

— Подаришь Наде. Садись. И веди себя соответственно дате.

— То есть?

— Мне обрыдли ваши разговоры о науке. И вообще, дай себе сегодня отпуск от своей образованности.— Повертевшись и охорашиваясь, останавливается перед ним.— Сережка, тебе когда-нибудь делали анализ крови?

— Делали.

— Ну и как?

— Нормально.

— Странно. По-моему, там у тебя вместо плазмы — бульон. Из кубиков. Шесть литров тощего бульона в системе кровеносных сосудов. Брр, какая скука!

Он смеется.

— Ты куда уходишь?

— Скоро приду. Надя на кухне, сейчас принесет картошку. Оставьте штучки три.

Ушла.

Кумысников прошелся по комнате, повертел в руках книжку, оставленную Надей на столе.

— А Женя где? — раздался голос за его спиной. С кастрюлей дымящейся картошки вошла Надя.

— Поздравляю тебя, Надюша. И прими этот символический подарок.

— Успела все-таки наврать, — смеется Надя.

Они садятся за стол, едят.

— Тебе нравится, как я причесана?

— Отлично.

— А ты заметил, что я в новых туфлях?

— Конечно заметил. Отличные туфли.

— Женькины. И прическа Женькина.

— Зачем ты мне все это рассказываешь?

— Чтоб ты не воображал.

Они едят. Сережа Кумысников — человек уверенный, но сейчас он несколько смущен Надиной прямоотой.

— Хочешь вина? — спрашивает Надя и, не дождав-шись ответа, вскакивает и достает из шкафа бутылку.— Портвейн. Женя велела, чтоб я устроила нам праздник. Выпьем. Ты догадался, что она нарочно оставила нас вдвоем?

— Я об этом не думал.— Он улыбнулся.— Ты уж слишком старательно повторяешь все, чему тебя научи-ла Женя.

Надя спросила:

— Сережа, тебе жалко больных, которых ты опери-руешь?

— Я пока еще не оперировал, а только ассистировал на операциях.

— Ну, все равно, жалко?

— В общем, конечно. Но я думаю, что настоящий, талантливый хирург руководствуется не столько жа-лостью, сколько желанием сделать грамотную, удачную операцию.

— Когда я впервые попала в анатомичку,— говорит Надя, она уже немножко опьянела,— я не спала потом всю ночь... Я думала: лежит передо мной на холодном мраморном столе труп неизвестного человека. Никому неизвестного. И никому ненужного, прожившего на-столько одинокую жизнь, что его даже некому похоро-нить.

— А на ком, по-твоему, надо учиться анатомии? — спрашивает Сергей.

— Не знаю. Ничегошеньки я не знаю... Расскажи мне что-нибудь.

— Из какой области?

— Почему люди боятся быть добрыми? Я никогда не слышала, чтобы, говоря о ком-нибудь, сказали просто: он добрый человек... Говорят — умный, говорят — му-жественный, талантливый, энергичный...

Кумысников пожал плечами.

— Доброта — абстрактное понятие. Важно ведь, на кого она распространяется.

— Боже мой, какой ты правильный человек, Сереженька! И все мне в тебе ужасно не нравится...

— Надька, ты пьяна, — серьезно говорит Кумысников. — Плетешь какую-то ерундовину.

Надя поднялась.

— Иди домой, Сережа. Спасибо, что навестил. Жене я скажу, что мы целовались, иначе она рассердится.

Кумысников делает шаг к ней.

— А я и вправду могу поцеловать тебя...

— Неохота, Сережа. Иди.

Он вышел.

Надя сперва начала убирать со стола, потом подошла к зеркалу, посмотрелась в него и сказала:

— До чего ж ты некрасивая, Надька!..

Огромная аудитория, раскинувшаяся высоким амфитеатром. Она так велика и так округлена, что ее не охватить одним взглядом. Где-то внизу, в центре аудитории, — кафедра, кажущаяся игрушечно-маленькой, если смотреть на нее сверху, из последних рядов, расположенных под потолком.

На этой кафедре едва различима тоненькая фигурка в белом докторском халате и белой шапочке.

Сотни юношей и девушек, празднично одетых и на свежо причесанных, до краев заполнили чашу аудитории. Сперва здесь стелется нестройный гул голосов — молодые люди еще только уселись на свои места.

Откуда-то снизу раздается в микрофон голос ректора:

— Вынести знамена!

И тотчас — тишина.

По ступенькам проходов аудитории, снизу вверх,

со знаменами в руках поднимаются девушки и юноши, одетые в форму строительных студенческих отрядов.

И тот же голос произносит:

— К принятию присяги приготовиться!

По всему гигантскому полукружью амфитеатра застучали откидные сиденья стульев — молодые люди встают. Они делают это не по-солдатски слитно, а неумело, вразнобой. Все взгляды устремлены вниз, к центру.

Очевидно, именно поэтому никто не замечает, что в дальнем ряду под потолком, у самой стены, так и не поднявшись, прикорнула Надя Лузина. Одетая в свою лучшую кофточку и юбку, непривычно завитая, она привалилась плечом к стене и сладко спит — сон сморил ее после очередного суточного дежурства.

А на кафедре, с побледневшим от волнения лицом, стоит в докторском халате и шапочке Сережа Кумысников. Он напряжен, скулы плотно сжаты, и, хотя глаза его направлены на застывших в молчании однокурсников, вряд ли он различает сейчас их лица. Голос его негромок, но в аудитории так пронзительно тихо, что его слышат все:

— Получая высокое звание врача и приступая к врачебной деятельности, я торжественно клянусь... — медленно произносит он.

— Клянусь! — это уже голос Тони, она стоит в том самом дальнем ряду под потолком, где за несколько стульев от нее спит Надя.

— Клянусь! — истово произносит Женя, вцепившись пальцами в кончики нового шарфика.

Держа руки по швам, как и положено мужчине во время присяги, Сережа Кумысников продолжает:

— Клянусь относиться к больному с любовью, вниманием и заботой. Стремиться по первому зову оказать ему необходимую помощь. Хранить врачебную тайну...

На стене, позади кафедры, два полотнища. На них написано:

Где есть любовь к людям, там будет и любовь
к врачебному искусству.

Гиппократ

Спешите делать добро.

Доктор Ф. Гааз

Все так же, привалившись плечом к стене, спит Надя. Краем глаза Тоня уже заметила это и пытается хоть как-нибудь, через соседей по стульям, разбудить по-другу.

— С ума сошла, Надька!— шепчет она.

Однако, взволнованные происходящим торжеством, соседи не слышат и не понимают Тониных знаков.

Голос Сергея. Все знания и силы посвятить охране здоровья человека, добросовестно трудиться там, где этого требуют интересы общества...

И наконец звучат заключительные слова — теперь уже гремит вся аудитория:

— Верность этой присяге клянусь пронести через всю свою жизнь!

Пожалуй, лишь мертвый не очнулся бы от подобного мощного хора,— Надя проснулась. Она вскочила на ноги, в ужасе от того, как это могло с ней произойти; торопливо озираясь, заметили ли окружающие ее позор, она успевает выпалить только одно слово:

— Клянусь!

Неподалеку от кафедры сидят в первом ряду два старика профессора: маленький тщедушный терапевт и могучий, с седой львиной гривой, анатом.

Могучий анатом склонился к тщедушному терапевту и кричит ему в ухо, перекрывая шум:

— Черт возьми, Витя! С каждым выпуском я становлюсь все сентиментальней: это зрелище волнует меня, словно не они, а я заканчиваю курс!..

Терапевт озабоченно посмотрел на него, вынул из верхнего кармана своего пиджака столбик таблеток валидола и протягивает ему одну.

— Положи под язык,— велит он.— И не глотай, по своему глупому обыкновению, а соси.

Снова тихо в аудитории. Стоит на кафедре маленький старик профессор, его голова едва возвышается над краем кафедры. Обведа взглядом замерший безбрежный амфитеатр, он начинает:

— Глубокоуважаемые коллеги!

Впервые знаменитый медик обращается к ним как равный к равным. И едва заметное шевеление пробежало по рядам.

Сережа Кумысников подправил поаккуратней и повыше галстук.

Тоня незаметным движением натянула на колени слишком короткую юбку.

Женя огладила рукой свою чрезмерно пышную прическу, приминая ее.

Надя Лузина сконфуженно сунула ногу обратно в туфлю — вероятно, новая обувь тесновата ей.

— Сегодня вы все стали дипломированными врачами,— говорит профессор.— Однако я хотел бы предостеречь вас: стать врачом легче, чем быть врачом. Нынешняя медицинская наука вооружила начинающего молодого доктора средствами, с помощью которых он может спасти жизнь человека даже тогда, когда был бы совершенно бессилён сам великий Боткин. Вместе с тем появляются врачи, так напряженно следящие за показаниями новейших медицинских приборов, что забывают лицо больного. Для них не существует личность, характер страдающего пациента, а вместо него на третьей койке слева лежит «митральный порок» или «острый гастрит». И больной начинает тосковать о добром докторе, который, ничего не говоря, просто посидит минуточку вече-

ром у его койки. Со времен Гиппократов между врачом и больным складывались доверительные отношения — духовное уединение вдвоем, охраняемое врачебной тайной. Я глубоко убежден, что каждому больному необходимо исповедаться врачу — ведь, сознательно или бессознательно, больной ждет от него не только совета, но и утешения. Бехтерев говорил, что если пациенту после беседы с доктором не становится легче, то медик этот должен оставить свою профессию...

Из аудитории шумно расходятся молодые врачи. На лестнице Сережа Кумысников поравнялся со стариком терапевтом. Вежливо остановил его:

— Извините, профессор... Вы сказали нам, что врач должен в клинике следить даже за подбором художественной литературы для больных.

— Говорил, — кивает профессор.

— Ну, а что бы вы порекомендовали для чтения самому молодому врачу?

Профессор задумчиво посмотрел на Кумысникова:

— Читайте, мой друг, «Дон-Кихота».

За наспех накрытым столом пируют трое.

Хозяина пиршества можно тотчас же угадать: он одет совсем по-домашнему — в пижамной куртке, на ногах шлепанцы. Это молодой человек вполне цивилизованной наружности. Воротник его белой рубахи под пижамной курткой повязан гастуком-бабочкой.

Молодого человека зовут Геней. Он — оркестрант, в просторечии именуемый лабухом. Друзья его, собравшиеся тут, тоже лабухи. Это ясно потому, что в углу подле стола сложены музыкальные инструменты в футлярах.

Все, что стоит на столе, уже выпито. Гости не сильно пьяны, но возбуждены в достаточной степени.

— Выпьем, братцы, за хорошую халтуру!— кричит один из них, беря в руки бутылку. Она пуста, но сгоряча гость не замечает этого и пробует налить из нее в рюмку.— Подумать только, что бы делали люди, если б на свете не существовало халтуры! Жаль, нет у нас такой статистики, а то установили бы: половина России живет на халтуру... Генка, сообрази у деда еще на килограмм!..

Молодой человек подымается и идет в дальний угол комнаты. Здесь, за ширмой, лежит на диване старик.

Геннадий появился за ширмой.

— Дед, будь человеком, дай десятку. Честное слово, отдам... Вчера зажмурился работник райпита, нас пригласили играть на похоронах... Дед, ты слышишь меня? Я же знаю, тебе утром пенсию принесли.

— На водку не дам,— тихо произносит старик.

Геннадий присел к нему на диван.

— Ребята ко мне пришли, дед...

— Каждый день ходят.

— Ну и что? Крепкий коллектив... Дед, а дед, вспомни, как ты сам был молодым. Нам охота погулять... Хочешь, я тебе за лекарством сбегаю?

— Пожалел бы ты меня, Геннадий,— говорит старик.

— Это можно,— радостно соглашается внук. Он наклоняется и целует старика.— Хочешь, мы тебе сыграем?— вскакивает.— Знаменитое трио из ресторана «Дунай» исполнит по твоему персональному заказу популярное поурри!..

Он выбежал из-за ширмы.

Громко играет трио. Подвыпившие музыканты стараются вовсю.

Старик лежит на своем диване.

Открылась дверь, вошла Надя Лузина в белом халате с сумкой в руках. По тому, как она взглянула на музыкантов — на Геннадия в особенности, — видно, что эта картина знакома ей и опротивела до предела.

Не говоря ни слова, Надя прошла к больному старику.

Музыка смолкла. Один из оркестрантов шепчет Геннадию:

— Теперь не даст. Чувиха все испортила.

— Вы не знаете моего дела, ребята! — подмигивает Геннадий.

Он заглядывает за ширму.

— Пардон, доктор... Дедушка, ты хотел дать мне десять рублей на расходы по хозяйству.

Секундная пауза. Старик вынимает из-под подушки кошелек и протягивает внуку деньги.

Внук исчез.

Подле старика хлопочет Надя. Она поит его чаем. Кормит, вынув какой-то пакетик с едой из своей сумки.

Шум в комнате усилился. Голоса пьяных оркестрантов стали громче. Очевидно, кто-то из них уже смотался за водкой.

На Надином лице смущение: вроде бы она чувствует себя виноватой за то, что здесь происходит.

Стараясь отвлечь старика, она говорит громко и быстро:

— Микстуру будете принимать три раза в день. Это — отхаркивающее. На ночь — горчичники. Я выпишу вам еще растирание...

В этом закутке негде даже написать рецепт. Надя решительно подымается и выходит из-за ширмы в комнату.

— Пламенный привет работникам лучшего в мире здравоохранения!.. — кричит долговязый лабух, тот самый, что уговаривал Геннадия стрелкнуть деньги у старика. — Братцы, налейте доктору фужер...

Надя подходит к столу, сдвигает с его края посуду и пишет рецепт.

— Ноль внимания, фунт презрения,— выламывается ла́бух.— Задаю лекарю наводящий вопрос: сколько вы огребаете в месяц?

Надя поднимает на них умоляющие глаза.

— Ребята!.. Товарищи!.. — поправляется она.— У Алексея Сергеевича плеврит. У него температура. Ему семьдесят два года... Неужели вы не можете...

— Правильно. Можем,— говорит ла́бух.— «Чтобы тело и душа были молоды, были молоды!» — громко поет он.

Пьяно смеется Геннадий. Взяв скрипку, он играет эту фразу.

Надя вскочила, вырвала из его рук скрипку:

— Сволочь! Скотина...

Выбежала вон из комнаты.

В будке телефона-автомата стоит Надя. Пальто ее осталось в квартире старика. Она в халате, с непокрытой головой, задохнулась от бега. Старается овладеть своим голосом:

— Бюро госпитализации? Говорит врач Лузйна из восьмой поликлиники. Прошу вас выслать сантранспорт для госпитализации больного. Диагноз? — запнулась.— Крупозное воспаление легких. Возраст? — запнулась.— Шестьдесят пять лет...

Широкий, светлый коридор поликлиники.

У дверей врачебных кабинетов расположились на стульях люди, ожидающие приема; где — погуще, где — поуже.

К дверям, на которых приколота табличка «Терапевт Н. А. Луз и н а», выстроилась очередь человек в семь.

В этой очереди приметна вальяжная, когда-то, очевидно, красивая женщина лет пятидесяти. Она вяжет кофту. Это привычное для нее занятие нисколько не мешает ей разговаривать с соседями по очереди.

Справа от нее сидит молодой, худенький интеллигент с крайне мнительным лицом. В руках у него подрагивают штук пять бумажек-анализов. Он все время нервно заглядывает в них.

Слева от вальяжной особы сидит женщина лет на пять моложе. Она пытается читать книжку, но вальяжная особа отвлекает ее поминутно. Они познакомились только что, однако поток судорожной откровенности уже обрушивается на читающую женщину.

— Свободного времени абсолютно не остается,— громко говорит ей вальяжная особа.— Раз в месяц к гинекологу — это уже закон. Знаете, после климакса надо очень следить за собой. Я вообще считаю, лучше лишний раз сходить к врачу. Вы клизмы себе делаете?

Соседка испуганно и стыдливо оглядывается.

— Регулярно надо делать. Не нравятся мне ваши глаза, белки у вас желтоватого тона. Я бы на вашем месте проверила печень. По-моему, у вас холецистит...

Говоря все это и успевая вязать свою кофту, вальяжная особа не упускает из виду жизнь всего коридора. С медсестрами и врачами, проходящими мимо, она здоровается, называя их по имени-отчеству.

Ее внимание привлекает и худенький, мнительный интеллигент, сосед справа.

Она довольно бесцеремонно берет из его рук бумажки-анализы. Болтливая особа, очевидно, уже страдает возрастной дальновзоркостью, но ей не хочется вынимать при молодом человеке свои очки. Поэтому, читая, она далеко отставляет бумажку от глаз.

— Цвет соломенно-желтый, эритроцитов — ноль, цилиндры тоже не обнаружены. С почками у вас благополучно... Вам надо проверить РОЭ...

Из дверей кабинета Нади Лузиной выходит больная, очередь передвигается ближе. Теперь болтливая женщина оказывается у самого кабинета.

— Раз в год полезно лечь в клинику для полного обследования,— говорит она, снова оборачиваясь к соседке: — Это выгодно и в экономическом отношении.— Голос ее понижается: — Пенсия ведь идет... С прошлого своего подозрения на спазм мне удалось пошить демисезонное пальто...

Медсестра выглянула из кабинета:

— Следующий!

Болтливая пациентка поднялась.

Кабинет главврача поликлиники. Это тот самый Петр Иванович, которого мы видели в ординаторской. Замотанный и усталый, вертя в руках очки, он разговаривает по телефону:

— А что прикажете делать, если у меня на двенадцати участках работают семь врачей... Да нет, Лузина производит на меня впечатление грамотного доктора. Хорошо, я выясню...

Он вешает трубку. Надавил кнопку звонка. Приоткрылась дверь, появилась голова секретарши.

— Срочно доктора Лузину ко мне,— велит главврач.

Кабинет Нади Лузиной. Перед ее столом сидит болтливая пациентка. Она уже осмотрена. Застегивая последние пуговицы, развернула на столе журнал «Здоровье» — еще в коридоре она держала его трубочкой на коленях.

Надя делает запись в историю болезни. Женщина протягивает ей открытый журнал, указывая пальцем страницу,

— Я считаю, доктор, что мне необходим вот этот рецепт. Характер моего заболевания безусловно эндокринный...

— Я выписала вам все, что нахожу нужным,— обрывает ее Надя.

— Странно! Но если у меня субъективные ощущения...

В кабинете появляется медсестра.

— Надежда Алексеевна, вас срочно вызывает Петр Иванович.

Кабинет главврача.

Нахмуренный и раздраженный Петр Иванович стоит за своим столом, тяжело опершись на него кулаками.

Надя сидит. Она только что вошла.

— Кого вы вчера госпитализировали? — недобрым голосом спрашивает главврач.

— Больного Терехина, Петр Иванович. С улицы Олега Кошевого, дом...

— С каким диагнозом? — перебивает ее главврач.

— Крупозное воспаление легких,— запнувшись, говорит Надя.

— Я спрашиваю, что вы нашли у него в действительности?

Надя секунду молчит под грозным взглядом главврача.

— Петр Иванович, миленький...— прижимает она руки к груди.

— Надежда Алексеевна,— сухо прерывает ее главврач,— я вам уже неоднократно говорил, что эта студенческая манера обращения — «миленький», «ребята» и тому подобное — совершенно неуместна в служебных отношениях.

Он вышел из-за стола.

— Потрудитесь доложить, что именно вы нашли у больного Терехина?

Надя отвечает старательно, как на экзамене:

— У больного Терехина, с улицы Олега Кошевого, пятнадцать, квартира семь, я нашла плеврит.

— Экссудативный?

— Нет. Сухой.

— Сколько лет Терехину?

— Семьдесят два года... Петр Иванович, неужели его вернули домой? У него же немыслимые условия дома!

— Согласно положению, Надежда Алексеевна,— вам это отлично известно,— бытовые условия не учитываются при срочной госпитализации. Вы заведомо обманули сантранспорт, поставив Терехину гипердиагноз...

— Петр Иванович, но если бы вы зашли в эту квартиру, если б вы увидели этот кабак... Я же там много раз бывала...

Главврач стоит у окна, спиной к Наде.

— Врач обязан быть честным в любых обстоятельствах.

Надя взрывается:

— Ах, честным? Конечно, честным!.. В учебниках все написано про симптомы, про методы лечения, я это все проходила. Но знаете, чего там нет и чему нас не научили в институте? Как я должна смотреть в глаза больному, которому не могу помочь! Разве эти проклятые условия безразличны к состоянию больного? Как я могу лечить Терехина, если внук тиранит его?.. Аскорбинку ему выписать, да? Глюкозу ввести?.. А мне его жалко, понимаете, жалко!.. И наврала я от жалости... И пожалуйста, можете давать мне выговор!

Плача, она выбегает из кабинета.

Петр Иванович закурил. Подошел к телефону, набрал номер.

— Райздравотдел? Инспектора Сырцову... Анна Игнатьевна, жалобу бюро госпитализации, которую вы

мне переслали, я разобрал. Да, вызывал Лузину. Хорошо, поставлю на коллективе...

Повесив трубку и покурив, снова звонит.

— Больница Эрисмана? Справочное... Скажите, пожалуйста, больной Терехин из третьего отделения в какой палате находится? В шестой? Благодарю вас. А как его самочувствие?.. Благодарю вас.

Вечер. В переулке, расположенном против ярко освещенных окон ресторана «Дунай», остановились Надя и Сергей Кумысников.

— Значит, так,— говорит Надя.— Ты прохаживайся по этой стороне. Кури и прохаживайся. Больше ничего от тебя не требуется.

Она перебегает через дорогу и подходит к подъезду «Дуная». Несмотря на всю решительность, с которой Надя приближается к сановитому швейцару, вряд ли она точно представляет себе, как следует действовать в подобной ситуации. На зеркальных дверях ресторана табличка: «Свободных столиков нет».

Швейцар читает на пороге газету. Он преградил Наде путь, указав пальцем на табличку.

— Мне не нужен столик,— говорит Надя.— Вызовите, пожалуйста, музыканта Геннадия Терехина.

— Сестренка? — подмигивает швейцар.

Надя кивает, решив, что так дело пойдет быстрее.

— Чтой-то к нему все сестренки ходят? Вчера — двое. Пршлую субботу — трое. Большущая, видать, семья у нашего Генки! — Он еще раз подмигивает, критически оглядывая Надю с каблуков до макушки. Осмотр этот, видимо, не внушает швейцару должного почтения. Однако, заперев дверь на ключ, он исчезает в глубине «Дуная».

В переулке против ресторана стоят на тротуаре Надя и оркестрант Геннадий. По противоположной стороне, куря, прохаживается Кумысников.

Геннадий потный, красный от ресторанной духоты и выпитого без меры пива, разгоряченный своей оглушительно-веселой работой. Надя убеждает его в чем-то, но на его безмозгом лице гуляет слащавая, липкая улыбка.

Во второй и третий раз Надя пытается достучаться до его замусоренного сознания; она даже взяла его за локоть для большей убедительности.

— Я вас очень настоятельно прошу, товарищ Терехин! Алексей Сергеевич вернется домой через три дня. Он еще очень слаб. Вы обязаны создать ему нормальные условия...

— Об чем речь, зайчик, создадим! Для вас, малыш, я готов на все!

Он поднес ее руку к своим мокрым губам.

Мгновенно преображается Надя: застенчивого доктора Лузиной как не бывало. Что-то давно позабытое, детдомовское, внезапно проламывается в ее облике. Ухватив Геннадия за галстук, она наклоняет его к себе:

— Слушай, подонок! Если ты посмеешь еще хоть раз обидеть деда, то я приду со своими ребятами, и они изуродуют тебя, как бог черепаху!.. Понял, малявка?

Геннадий испуганно моргает.

— А ты отчаянная, Надька! — говорит Сергей. — Он же мог ударить тебя.

— Но ведь ты бы меня защитил, Сережа.

Лесистые берега реки. Вечер.

По реке, не широкой, но быстрой, плывет двухпарная байдарка. Гребут Надя Лузина и Сережа Кумысников. Работают они веслами слаженно.

Нос байдарки упирается в берег — здесь излучина, лес отступил от реки метров на десять, бережок песчаный.

Первой выскочила из лодки прямо в неглубокую воду Надя. Она взялась за нос байдарки и подтянула ее вместе с сидящим Сережей подальше, в песок.

— С ума сойти, какая красотища! — кричит Надя. — Сереженька, ты рад, что я вывезла тебя сюда?

Сергей вышел из лодки. Поднял Надю на руки, повертел вокруг себя.

— Молодчага, Надька! — Опустил ее на песок. — А ребята найдут нас здесь?

— Дай бог, не найдут, — смеется Надя. — Надоело мне город, устала до чертиков, все надоело! — Падают на песок, раскинув руки. — Лежать бы вот так, смотреть на небо...

Вынув из байдарки маленькую палатку, Сергей устанавливает ее неподалеку. Возясь с ней, он отмеряет шагами расстояние до колышков и переставляет их, если промежутки оказываются несимметричными.

— Облако похоже на слона, — говорит Надя. — Погляди, Сережа, правда?

— Правда, — отвечает Сергей.

— А ты даже не поглядел.

— Я верю тебе на слово, — улыбнулся Сергей. — Облака всегда на что-нибудь похожи. Зависит от воображения.

— Как жаль, — вздыхает Надя. — Мне хотелось бы, чтобы тебе казалось то же самое, что и мне.

— Я постараюсь, — обещает Сергей.

Он закончил установку палатки.

— Ну, вот и готово! Считай, что это наша первая общая жилплощадь. Все удобства! — Указал на реку: — Водопровод! — Указал на лес: — Санузел! — Указал на огромную луну, восходящую на горизонте: — Электричество!..

Надя продолжает лежать не оборачиваясь.

— «На свете счастья нет, но есть покой и воля». Разве это правильно, Сережа?

— Поэты всегда преувеличивают, Надюша. Они ведь люди настроения: не понравилось что-нибудь в личной жизни — тотчас стишок. А мы потом учим в школе, обобщаем... Вставай, Надька, будем разводить костер.

Горит костер, разложенный у палатки. Сидят подле него Надя и Сергей.

— А все-таки главных слов ты мне так и не сказал,— говорит Надя.

— А разве нужно?

— Очень.

— Ну, тогда считай, что я их сказал.

— Какие?

Сергей улыбнулся и погладил ее по голове.

— Ты начитанная, Надюша. Те, которые в книжках. Или те, которые поют в опере, в романах. Выбери сама. Я согласен на любые.

— Лишь бы не произносить их?— спрашивает Надя.

— А ты знаешь, сколько парней произносили их девушкам до меня?

— Ну и что?

— Неохота повторяться.

— А ты сочини что-нибудь новое. Или не надо. Скажи что попало. Я поверю.

Он обнял ее.

— А вам не кажется, доктор Лузина, что слова, в общем, мало чего стоят? По Павлову — это ведь не более чем вторая сигнальная система. Способность человека к абстрагированию.

— Не шути,— просит Надя.— Сейчас не надо шутить.

Он помешал в костре толстой веткой, пламя и искры взметнулись высоко.

— Ладно,— сказал Сергей.— Я не буду шутить. Дело действительно серьезное. Я прошу твоей руки и сердца... Ты согласна?

— Странно,— сказала Надя после паузы.

— Что странно?

— Зачем я тебе нужна, Сережа?

— Это глупый вопрос.

— Глупый,— кивает Надя.— Жутко глупый... Вот это мне и кажется странным. Почему я, в ответ на твое предложение, не бросилась тебе на шею? Ведь я должна была броситься... Тебя это не смущает?

Сергей пожал плечами.

— По-моему, в таких случаях не бывает однозначных поступков. Можно — так, можно — иначе, какая разница?

— Ого, еще какая!

— И вообще, я терпеть не могу заниматься психологией,— сдерживая легкое раздражение, говорит Сергей.— Есть ты, есть я, мы любим друг друга...

— Кто это сказал? — перебивает его Надя.

— Что именно?

— Что мы любим друг друга?

Он смотрит на нее:

— Иногда мне кажется, что ты воспитывалась не в детдоме, а в благонамеренной семье в девятнадцатом веке.

— Ты помнишь свое детство, Сережа?

— Конечно. Оно было симпатичным.

— А у меня его не было. Я все время ждала, чтобы оно поскорее кончилось... Я люблю тебя, Сережа.

Они помолчали. Он поцеловал ее.

— Извини,— говорит Сергей.— Извини, пожалуйста... ста...

Он поднялся.

— Тебе холодно?

— Немножко,— кивает Надя.

Он накинул свой пиджак на ее плечи.

— Мы будем жить хорошо, Надюша. Я уверен в этом. У нас не будет причин для серьезных ссор. Дело ведь не в том, что сегодня мы с тобой впервые ночуем вдвоем в этой палатке...

— Для меня — и в этом,— говорит Надя.

Возможно, он не расслышал ее слов.

— Дело в том, Надюша, что впереди у нас огромная, осмысленная совместная жизнь. И это несравненно важнее любых начальных признаний. Начальное чувство может пройти, даже наверное оно потом пройдет...

— Еще и не началось, а тебе уже известно, что оно пройдет? — тихо спрашивает Надя.

— Но пойми, взамен придет нечто большее — сродство душ, взаимное беспокойство друг за друга, человеческая верность...

Из леса внезапно раздается далекий крик:

— Сережка-а!.. Надька-а!.. Ау!.. Где вы?

— Не откликайся,— тихо и быстро говорит Сергей.

Но Надя вскочила на ноги и приложила руки рупором ко рту.

— Здесь! — кричит Надя.— Ребята, мы здесь!..

Дежурная комната «неотложки».

Медицинская сестра кипятит на электрической плитке маленькие металлические коробочки со шприцами.

Фельдшер Нина сидит за столом у телефона. Телефон звонит часто. Это ясно по тому, каким бесстрастным голосом Нина задает одни и те же вопросы:

— Что у вас случилось? Температура? Возраст? Адрес? Как пройти в квартиру? Кто звонит?

Плечом она прижимает трубку к уху и одновременно записывает все эти сведения.

Входят с улицы Надя Лузина и шофер.

Надя вынимает из своего докторского чемодана карточки вызовов и кладет на стол фельдшеру. Не присаживаясь, рассматривает новые карточки, только что заполненные Ниной.

— Все хроники, Надежда Алексеевна, — говорит Нина. — Совершенно обнахалились. Слишком у нас доступная медицинская помощь. У пенсионера где-нибудь зачесется, он требует врача...

— А это что? — спрашивает Надя, протягивая одну карточку. — Девятнадцать лет. Рвота. Температура тридцать девять.

— Переложил, наверно, с вечера. Теперь, Надежда Алексеевна, ужас как пьют. Себя не помнят. Дадите ему кофеинчику, камфары инъекцию... Зина, смени доктору шприцы. — И, не меняя интонации, добавляет: — На Лахтинской французские чулки выкинули...

Кабинет главврача поликлиники.

Сидят друг против друга, разделенные столом, главврач Петр Иванович и санитарка Таня. Сразу же бросается в глаза странная расстановка сил в этой беседе и даже противоестественное соотношение поз беседующих.

Санитарка Таня, пожилая курящая женщина, рябоватая, высокая и достаточно тощая, спокойно откинулась на стуле, мерно разглаживает платье на своих коленях.

Главврач же Петр Иванович привалился грудью к столу в направлении Тани и как бы старается заглянуть ей в глаза.

— Не понимаю, Танюша, чем мы вам не угодили. На доске Почета висит ваша фотография. Написано в стенгазете, что вы замечательная санитарка. Полторы став-

ки я вам дал. Вы же получаете больше, чем некоторые врачи...

— Вы мою работу, Петр Иванович, с врачом не равняйте. Я целый день на ногах, а он сидит на стуле, рецепты пишет...

— Позвольте, Танюша, но у него же высшее образование! — с видимым усилием подавляя вскипающее возмущение, восклицает главврач.

— У нас, Петр Иванович, в Советском Союзе все равные.

— Ну, хорошо... Ну, хорошо... — говорит главврач, кладя себе под язык таблетку валидола. — Конечно, в принципе мы все равны, это вы абсолютно правильно, Татьяна Васильевна, заметили...

— У меня брательник работает на бойне, рогатую скотину бьет, образование — четыре класса, а третьего дня получил почетную грамоту.

— Я понимаю, — прижимает руки к груди главврач. — Но вы-то прослужили у нас в поликлинике всего три месяца. И в паспорте вашем уже и места-то нет для штампов увольнения...

— Вы мне, Петр Иванович, моим паспортом в лицо не тычьте.

— Да и в другом месте вам больше денег не дадут.

— Не в деньгах счастье.

— А в чем же, в чем оно для вас? — уже почти драматически восклицает главврач.

— Я в Военно-медицинскую пойду. Там офицеры лежат. Дуська Гавриленко проработала полгода в глазном, выскочила за хорошего человека...

— Сколько же лет вашей Дуське? — зло спрашивает главврач.

— Мы с ней с одного года... Сержант лежал в глазном...

— Слепой, что ли?

— Немножко недосматривал...

— Хорошо, оставьте заявление, я подумаю.

— Да думать, Петр Иванович, нечего. Я с завтрава на работу не выйду.— Она поднялась.

— Только попробуйте. Мы вам напишем такую характеристику...

— Бумажки, Петр Иванович, для человека умственного труда важные. А нашего брата, санитарок, из заключения берут, и то рады... До свиданья, Петр Иванович. Не сердчайте на меня... Устала я одна жить... Каждый человек ищет свое счастье.

Она встала и пошла к дверям.

В дверях сталкивается с торопливо входящей Надей Лузиной.

— Петр Иванович, у меня умирает больной!..— почти с порога говорит Надя.

У постели молодого парня сидит главврач.

Надя поддерживает голову парня, обвисшую над тазом. На короткое время приступ, очевидно, прекращается. Надя укладывает голову больного на подушку. Лицо его белое и мокрое от пота. Глаза помутившиеся.

В ногах парня стоит его мать. Она обезумела от страха и горя. Она приговаривает дрожащими губами, без всякого выражения:

— Владик, не надо... Владичек, не надо... Владик, не надо...

Главврач обернулся. Резко сказал:

— Мамаша, вы нам мешаете. Выйдите отсюда.

Женщина покорно выходит.

Приступ рвоты повторяется еще и еще раз. У больного уже нет сил. Придерживая его повисшую голову над тазом, Надя смотрит на главврача испуганными, молящими глазами.

Когда спазмы на минуту прекращаются и Надя сно-

ва укладывает больного на подушку, главврач склоняется над ним. Щупает его лоб. Покачал головой.

— При гастрите, Надежда Алексеевна, не бывает такой высокой температуры... Открой, голубчик, рот,— обращается он к больному.

Повернув измученное лицо парня к свету, главврач заглядывает ему в рот, Кивает Наде, чтобы она посмотрела.

— Теперь понятно? — тихо спрашивает он.— И лечить его надо не от гастрита, а от фолликулярной ангины.— Голос Петра Ивановича понижается до шепота: — Как же можно, Надежда Алексеевна, осматривая больного, не заглянуть ему в горло?

Пылающее лицо парня на подушке. Он ничего не слышит.

По лестнице спускаются главврач и Надя.

— Не ревите,— велит главврач.

— Я дура, — всхлипывает Надя. — Безграмотная дура...

Она вдруг утыкается лицом в плечо Петра Ивановича и плачет уже вовсю.

Он растерянно гладит ее по голове.

— Симпатичный вы человек, Наденька, — неожиданно произносит он.— Вы просто устали... Я виноват: нагрузил вас, как ломовую лошадь. И, по моим наблюдениям, вы отвратительно и нерегулярно питаетесь. Обедали сегодня?

— Обедала.

— Что именно? Что было на первое и что на второе?

Надя вытирает слезы.

— Суп ела...

— Врете. Кефир, наверное, пили на ходу... Сколько у вас еще сегодня вызовов?

— Немного. Три.

Петр Иванович вздохнул.

— Ну, ладно. Три — это действительно немного... Если не считать, что десять вы уже сделали, и все это после приема в поликлинике...

Расставшись с главврачом, Надя идет вдоль длинного ряда новых домов — огромный, недавно отстроенный квартал простирается перед ней, разобраться в нем трудно.

Она вошла в один из дворов, здесь множество парадных подъездов. Устало движется мимо них, всматриваясь в номера квартир на табличках.

В центре двора благоустроенный палисадник — молоденькие деревца, цветы, дощатый стол, окруженный скамьями.

За этим столом человек пять мужчин шумно играют в «подкидного дурака». Выиграл, очевидно, пожилой мужик — лысый, долговязый, жилистый. Он медленно и аккуратно сложил колоду карт, сладострастно поглядывая на проигравшего молодого парня.

— Давай подставляй! — командует лысый.

Парень испуганно наклоняет свое лицо над столом.

Лысый изо всех сил бьет его колодой карт по носу. Парень дернулся в сторону. Слезы выступили у него на глазах.

— Не дергайся! — велит лысый.

Бьет еще раз. Люди за столом хохочут.

Лузина обходит подъезды, разглядывая номера квартир.

— Вы — доктор? — раздается громкий голос из палисадника.

Она оглянулась. Закончив экзекуцию, лысый поднялся из-за стола. Это он окликнул Лузину.

— Да, — отвечает она. — Я из поликлиники. Мне нужна квартира сто семьдесят шестая...

— А почему опоздали? — строго спрашивает лы-

сый.— Я вызывал утром. Помереть можно, покуда вы придете.

— У меня сегодня очень много вызовов,— говорит Лузина, в тоне ее слышится невольное оправдание.

— Порядка у вас нет! Развели бюрократизм! Вот напишу жалобу, снимут с вас стружку, будете знать!..

— Я прошу вас указать, в каком подъезде сто семьдесят шестая квартира? — сдерживая себя, спрашивает Лузина, обращаясь уже не к лысому хаму, а к окружающим его людям.

Однако отвечает ей он:

— Третий подъезд, восьмой этаж. Звоните по сильнее — моя старуха глуховата.

Лузина вошла в третий подъезд. Надавив кнопку лифта, ждет. Кабина не опускается. Приложив ухо к шахте и поняв, что лифт не работает, Лузина двинулась вверх по лестнице. Идет трудно, отдыхая на площадках.

Добравшись до восьмого этажа, Лузина видит, что дверь кабины присткрыта,— вот почему лифт не работал. Тщательно закрывает дверь кабины.

Отдышавшись, звонит в сто семьдесят шестую квартиру.

На пороге — женщина в фартуке, руки ее в мыльной пене.

— Я из поликлиники, врача вызывали?

Пройдя вслед за женщиной в квартиру, Лузина видит в открытой ванной комнате кучу стираного белья. Мыльная пена хлопьями на полу.

— Где больная?

— Я больная,— отвечает женщина, снимая фартук.

Снова двор с палисадником. Игра в «подкидного дурака» продолжается. Теперь проиграл, очевидно, лысый. Молодой парень, которого давеча лысый сек по носу, ухмыляясь, собирает карты в колоду.

— Давай подставляйся, дядя Федя! — командует он.

— Неужто бить будешь старика? — ноет лысый.

— А как же, дядя Федя, — законно!

Парень не успевает ударить. Из подъезда вышла Лузина, она приблизилась к играющим.

Подавляя гнев, обращается к лысому:

— У вашей жены нормальная температура. У нее обыкновенный насморк. Как вам не совестно вызывать по таким пустякам врача?

— Ах, совестно! — кричит лысый. — Сама опоздала, и сама еще нахально попрекает!.. Граждане, вы свидетели, как она нас обслуживает!

Уже не в силах сдержать себя, Надя зло отвечает:

— Обслуживают вас в парикмахерской, в магазине, в сапожной мастерской... А врач — лечит больных людей. Понимаете — лечит!

— Подумаешь, цаца какая! — кричит лысый. — А что, сапожник не человек? Такая же личность, как и не вы. У нас все равные... Вам зарплату платют, чтоб ходили. Вот пожалуй вашему министру, пускай подымает воспитательную работу в полуклиниках... Говорите свою фамилию, я сей минут запишу!..

Надя пошла к воротам, недослушав его. Он хотел было догнать ее, но парень цепко ухватил его за рукав.

— Подставляйся, дядя Федор!

И, не дождавшись, покуда лысый выставит вперед свою нахальную морду, парень ловко и сильно, крепкой молодой рукой, в которой каменно зажата колода карт, лупит лысого по носу. И раз, и второй, и третий.

Окружающие хохочут.

Уже ранний вечер. Стемнело. В окнах домов появляются огни. Все по той же длинной широкой улице, теперь запруженной людьми, возвращающимися с работы, идет Надя Лузина.

Подле двери булочной стоит хлебный фургон. Грузчик пронесит ящики со сдобными плюшками. И, очевидно, аромат сдобы так соблазнителен, а голод так силен, что Надя входит в дверь булочной. Устало опершись о барьер, она движется с очередью.

— Давай, давай, тетка! Заснула, что ли? — торопит ее мальчишка, стоящий позади. Он не видит ее лица.

— Да она хвативши! Верно, тетенька? — хохочет второй.

Взяв три плюшки и положив их в свою большую сумку, Надя снова идет по вечерней улице.

На тротуаре торгуют с тележки молоком. Надя берет бутылку молока. Пройдя шагов десять, заглядывает в пустой подъезд. Вошла, оглянулась и торопливо отпивает молоко, закусывая булочкой.

Зарядил мелкий, частый дождь. Толпа прохожих убыстряет темп. В этой толпе, то исчезая в ней, то снова выныривая, шагает участковый врач Надя Лузина. Дождь усиливается. Прохожие забегают в подворотни переждать непогоду. Тротуар постепенно пустеет. Надя подняла воротник своего пальто, достала из сумки непромокаемую косынку, прикрыла голову.

Она переходит широченную улицу, выбирая места посуше. Визжат тормоза автомобилей. Надя бежит по лужам, в этом месте нет перехода.

И вот наконец нужный подъезд во дворе. Она быстро вошла, запыхавшись, прислонилась к стене, сбросила косынку и поправила свою спутавшуюся несложную прическу.

Надя медленно подымается по лестнице.

Пожилая женщина-дворник сметает во дворе жил-массива мусор, нанесенный потоками дождя, в канализационный люк. Заглянула мимоходом в подъезд.

На подоконнике лестничной площадки кто-то сидит; сидит нехорошо, боком, упершись лбом в стекло большого окна.

Дворничиха кричит снизу:

— А ну марш отсюда! Сейчас дружинников кликну!..

Однако, поднявшись на несколько ступенек, она роет свою метлу.

— Боже ж ты мой, Надежда Алексеевна!..

— Ничего-ничего, тетя Лиза... Я только минуточку посижу, сейчас пройдет...

На кушетке в комнате дворничихи полулежит Надя. Смущенная не столько своим состоянием, сколько тем, что причиняет невольные хлопоты посторонним людям, она уже порывалась несколько раз подняться и уйти домой, но властный, категорический тон дворничихи обезволивает ее и всякий раз снова пригвождает к кушетке.

Суетясь подле плиты в маленькой кухоньке, дворничиха поминутно заглядывает в комнату.

— Сказано лежать, значит, лежи. Куда ты такая пойдешь — на тебе вон лица нет. Посмотрись в зеркало — ни кровиночки. Ухайдакалась, Надежда Алексеевна, разве ж так мыслимо?..

В кухне примостились на одном табурете еще две старухи, соседки по дому. У одной из них в руках банка, у другой — бутылка.

— В кипяток заваривать или в чай? — деловито спрашивает у них дворничиха.

На двух конфорках быстро закипают чайник и кастрюлька.

Дворничиха вошла в комнату; порывалась в тумбочке, вынула термометр.

— Поставь, — велит она Наде.

— Да нет у меня температуры, тетя Лиза. Просто я сегодня немножко устала.

— Поставь, тебе сказано. И держи хорошо, по-честному. Туфли скинь, протяни ноги... Девочки! — окликает она старух в кухне.— Заварили?

Две старухи над плитой, как две колдуньи, заваривают свои снадобья из банки и из бутылки в чайник и кастрюлю.

Дворничиха укрыла Надины ноги шерстяным платком. Надя вынула из-под мышки термометр.

— Ну, вот видите, тетя Лиза: тридцать пять и четыре — нормальная.

— Для покойника нормальная... Бульону тебе надо бы попить. Борща наваристого со свининкой... Ну как, девочки, померли вы там, что ли? — снова кричит она старухам.

Они входят в комнату, держа каждая по чашке чае-родейского напитка.

— Который сперва? — спрашивает дворничиха.

Обе старухи одновременно протягивают свои чашки. Надя покорно пьет. Отпив, спрашивает:

— Что это у вас, бабушка?

— Трава,— отвечает одна старуха.

Отпив из другой чашки, Надя спрашивает:

— А у вас что, бабушка?

— Корень,— отвечает вторая старуха.

— Ты пей,— велит дворничиха.— Пей по глоточку и думай: сейчас поможет, сейчас полегчает — оно и вправду полегчает. Поспишь минуток полтора-два и взойдешь в себя...

В той же комнате. Очевидно отлежавшись, Надя собирается уходить. Она надевает туфли, причесывается перед зеркалом, поправляет подушки на кушетке.

Дворничиха моет посуду в кухне.

— Хотела тебя спросить, Надежда Алексеевна. Видела вас как-то в кино с чернявеньким таким. Он кто тебе приходится?

— Никто. Учились вместе. Хирург он.

— Женатый?

— Нет.

— А что ж так?

— Собирался жениться, но все расстроилось.

— Почему?

— Не пошла она за него.

— Выпивает?

— Даже не курит.

— Может, он гулял от нее?

— Нет.

— Ну и дурища. Чего ж ей тогда надо было?

— Он ее не любит.

— Не уважает, что ли?

— Нет, уважает. Но только не любит.

— Постой. Как это не любит, раз хотел жениться?

— Он головой хотел, а не сердцем.

— Так голова же — надежней! Значит, обдумал, рассудил, принял положительное решение. А что — сердце? Сердцем можно такого прохиндея полюбить, что всю жизнь будешь маяться.

— Ну и пусть.

Дворничиха вошла в комнату с мытой посудой.

— Семья должна быть у человека. Хоть какая, а семья. Ради кого тогда и жить?.. Вон ты добегалась: ни поесть вовремя, ни передохнуть, ни поговорить с родным человеком... Засидишься в девках, а потом не возьмут.

— Полюбим друг друга — выйду.

— А надолго ли этой любви хватает, Надежда Алексеевна?

— На всю жизнь.

Протянув Наде пузырек с напитком, дворничиха говорит:

— Выпьешь на ночь. Может, тебе во сне и покажут такого мужа.

Надя засмеялась.

— Мне, знаете, тетя Лиза, что чаще всего снится? Лестницы, лестницы, лестницы... Бесконечные лестницы, Вверх-вниз. Вверх-вниз...

Просторный, светлый коридор поликлиники.

У дверей врачебных кабинетов сидят на стуле пациенты, ожидающие приема. Наиболее нетерпеливые переминаются с ноги на ногу у стен — их очередь скоро подходит.

Подле двери с табличкой: «Терапевт Н. А. Лузина» больных побольше, нежели у других кабинетов.

И снова в этой очереди приметна вальяжная особа — мы уже видели ее когда-то в той же самой позиции. Она и нынче, как и тогда, виртуозно вяжет кофту, не глядя на спицы и бдительно держа в поле своего зрения весь коридор. С медсестрами и врачами, проходящими мимо, она здоровается как с давнишними друзьями:

— Привет, Ксеничка!

— Здравствуйте, душенька.

— Добрый вечер, Леонид Сергеевич!

Ей рассеянно кивают в ответ.

За то время, что мы ее не встречали, она несколько огрузнула, но не потеряла своей живости и неистребимой жажды общения. Сегодня ей не повезло: справа от нее сидит здоровый, цветущий парень лет двадцати двух, контакт с которым наладить совершенно невозможно — он не обращает на свою соседку никакого внимания. Лицо этого парня кажется нам знакомым — вроде бы мы уже видели его ранее, — но пока нам не удается узнать его.

— Простите, вы в первый раз к доктору Лузиной? — спрашивает вальяжная особа.

— Нет, — не поворачиваясь, односложно отвечает он.

— Что-то я вас здесь не встречала.

Молчание.

— Вообще говоря, доктор Лузина недурной специалист. Характер у нее, правда, несколько резковатый. И я бы сказала, что, несмотря на свою молодость, она излишне консервативна. Сейчас в медицине столько восхитительно новых средств! Они буквально преображают человека. А все эти банки, горчичники, аспирин — так лечили наших дедов!

Парень посмотрел на нее.

— Вашего деда не могли лечить аспирином, — говорит он.

— Почему?

— Потому что в то время аспирин еще не изобрели.

Она возмущенно отворачивается, спицы в ее руках мелькают с космической скоростью.

Кабинет Нади Лузиной.

На диване лежит голый до пояса рослый мужчина. Надя ощупывает его печень.

— Вдохните. Глубже, голубчик. Не напрягайте живот... Еще раз вдохните. Садитесь, пожалуйста. Покажите язык... — Она оттягивает его нижнее веко и осматривает белки глаз. — Ну вот, печень у вас, к сожалению, опять разгулялась. Придется полежать, полечиться... Одевайтесь, голубчик.

Натягивая на себя рубаху, рослый мужчина вост:

— Да не могу я сейчас лежать, доктор! Конец квартала нынче, у меня же в цеху план горит...

Надя пишет за столом. Невозмутимо спрашивает:

— А кто третьего дня провалялся у себя в цеху полсмены с грелкой?

— Ну, было,— гудит он.— А потом оклемался...

Продолжая писать, Надя спрашивает:

— А кому вчера заводская медсестра делала инъекцию пантопона?

— Ну, делала. И полегчало сразу.— Он уже оделся.— Я знаю, это вам моя Клавдия наступала, делать ей нечего...

Надя отложила перо.

— И не совестно, Григорий Ильич? Ваша жена беспокоится о вашем здоровье, старается готовить вам диетическую еду...

— С этой еды ноги можно протянуть,— ворчит Григорий Ильич.

— Глулости. А как же вегетарианцы живут всю жизнь?

— Так они ж идейные. Ради идеи можно и поголодать. А я в творог не верю. Я в мясо верю... Вы мне дайте такое лекарство, чтобы я...

— Ну, вот что,— рассердилась Надя.— У себя в цеху вы— мастер. А здесь — мой пациент. И извольте делать то, что я вам велю. Ясно?

— Ясно,— покорно говорит он.— Вас не послушаешься, вы начальству доложите.

— Правильно, голубчик, непременно доложу,— улыбается Надя.— Значит договорились: бюллетень я вам даю сперва на пять дней.

Снова коридор поликлиники у кабинета Лузиной.

Первый в очереди — цветущий молодой парень. Вальяжная особа, сидящая рядом, повернулась к нему спиной и, продолжая ловко орудовать вязальными спицами, обрушивает свою неудержимую словоохотливость на девушку слева:

— Главное — не идите слепо на поводу у врачей. Культурный больной должен до некоторой степени ру-

ководить врачом. Ведь вы наблюдаете себя круглые сутки, а доктор видит вас всего пять минут во время приема. Вы ему абсолютно безразличны, а для себя вы самый дорогой человек на свете...

Она отложила вязанье и развернула на своих коленях журнал «Здоровье», лежавший у нее трубочкой в сумке.

— Очень рекомендую вам этот журнал. Лично я лечусь исключительно по нему...

Девушка наивно спрашивает:

— Зачем же вы тогда ходите сюда в поликлинику?

— Видите ли, милочка, на основе чтения этого журнала у меня возникает ряд подозрений относительно моего здоровья. Вот, скажем, рак. Раньше им болели только пожилые люди, а нынче рак помолодел. Следовательно, я должна проверить себя по поводу онкологии. И вам настоятельно советую...

Лицо девушки становится несколько испуганным.

— Но у меня нету никаких симптомов.

— И у меня нету. Тем более это опасно!..

Из кабинета вышел больной. На пороге показалась медсестра:

— Следующий! — Увидела вальяжную особу. — Гражданка Ефимова, вы же только два дня назад были, мы вам ЭКГ сделали, рентген сделали, кровь брали, желудочный сок...

— Насколько мне известно, — высокомерно отвечает особа, — лечебная помощь в нашей стране бесплатная и общедоступная!

Молодой цветущий парень вошел в кабинет Лузиной. Сел на стул.

— Слушаю вас, — говорит Надя.

Заканчивая свои бесконечные записи, она еще не успела взглянуть на него.

Он смущенно молчит.

— Я вас слушаю,— теперь уже глядя на него, повторяет Надя.— На что вы жалуетесь?

— Ни на что... Я здоровый. Меня мама прислала,

— Мама? — удивлена Надя.— Чья мама?

— Моя... Не узнаете, доктор? — огорченно спрашивает парень.

Надя всмотрелась в него.

— Ой, у вас же была фолликулярная ангина! — Она радостно всплескивает руками.— Я же из-за вас чуть с ума не сошла от страха! Я же тогда поставила неправильный диагноз...

— Как это неправильный? — обижается парень.— Вы меня от смерти спасли. Я совсем отдавал концы. Ночевали даже один раз у нас. Я-то не помню, у меня жар был, мама рассказывала.— Он помялся.— А теперь вот женюсь. Пришел пригласить на свадьбу. Мама велела, пускай с супругом приходит: у такого, говорит, доктора, наверное, и супруг замечательный...

Приемный покой больницы. Глубокая ночь.

На полу стоят пустые носилки. Парень лет двадцати шагает подле них взад и вперед, держа в руках свернутую комом женскую одежду — платье, белье, туфли.

В докторском халате быстро вошел Сергей Кумысников.

— Вы привезли больную Лебедеву?

Парень метнулся к нему:

— Я.

— Садитесь. Доктор Кумысников. У нас мало времени. Вы — муж?

Парень кивает. Он так и не сел, а только положил на стул одежду жены.

— У вашей супруги аппендицит, осложнившийся гнойным перитонитом. Операция необходима немедленно.

но, и ее уже готовят. Как хирург, я обязан спросить вашего согласия.

— А Зина согласна?

— К сожалению, в данный момент больная без сознания. Поэтому я и спрашиваю вас.

Пауза. Судорожно глотнув, парень спросил:

— Доктор, это опасно?

— Не стану вас обманывать — вы мужчина. — Кумысников незаметно посмотрел на часы. — Пожалуйста, поскорее.

— Хорошо, — сказал парень. — Согласен. — И добавил просто, без всякого выражения: — Если Зина умрет, я утоплюсь.

Кумысников приоткрыл дверь в соседнюю комнату:

— Сестра, дайте, пожалуйста, товарищу валерьяновых капель. — Обернулся на прощанье к парню: — Я обещаю вам сделать все, что в моих силах. А сейчас идите домой — операция может продлиться долго, ждать вам здесь бессмысленно. — Еще раз обернулся в соседнюю комнату: — Попрошу вас, сестра, дать товарищу с собой две таблетки элениума, пусть примет перед сном. — Пожал Лебдеву руку. — Утром позвоните в справочное. Будем надеяться на удачный исход.

Парень шагнул вслед за ним.

— Доктор, мне жить без нее невозможно. Это я вам точно говорю...

Послеоперационная палата. У постели больной, на высоких штативах, висят капельницы с глюкозой, с физиологическим раствором; шланги от них ведут к телу оперированной. Пустая, использованная кислородная подушка лежит на табурете. Пожилая медсестра обвязывает марлей горловину второй кислородной подушки.

Кумысников сидит подле больной, измеряя ей давление. Он сидит здесь давно — это видно и по сбитому на сторону галстуку под халатом, по расстегнутому вороту

рубахи и по спутанным, выбившимся из-под круглой белой шапочки волосам. Мы впервые видим его в таком расхристанном состоянии.

Что же касается пожилой хирургической медсестры, то это ведь особая порода людей, не столь уж часто встречаемая: сдержанность, собственное достоинство, невозмутимая выдержка в любых, самых острых больничных обстоятельствах, размеренная точность и скупость движений, немногословие и поразительное умение всегда оказываться именно в том месте, где этого требует неотложная срочность положения, — вот какими чертами характера обладает в полной мере та пожилая медсестра, что сейчас находится в послеоперационной палате.

— Грелку к ногам! — тихо велит Кумысников.

— Я уже положила.

Отгнув в ногах больной одеяло, он пощупал грелку.

— Надо сменить воду.

— Сергей Петрович, я только что налила кипяток.

— А я прошу вас сменить воду! — резко повторяет он.

— Хорошо, — звучит спокойный ответ.

Уже две использованные кислородные подушки лежат на табурете. Резиновую трубку третьей, тоже наполовину опустевшей, Кумысников держит у губ оперированной больной. Медсестра заполняет капельницу кровью для переливания.

Наклонившись к лицу больной и увидев ее открытые глаза, Кумысников спрашивает:

— Зна, вы меня слышите? — Голос его беспокоен.

Очевидно, он обращается к ней не впервые, но открытые глаза больной лишены смысла.

— У меня все готово, — говорит медсестра.

Кумысников пробует ввести иглу в вену, однако, то ли от волнения, то ли от неопытности, инъекция у него не ладится. Лицо его покрывается крупным потом.

За его спиной раздается все тот же тихий, спокойный голос:

— Позвольте, Сергей Петрович. Обычно это поручается мне.

Он обернулся:

— У нее очень тонкие вены, никак не попасть иглой...

Поднявшись, уступил место медсестре. Она быстро и ловко проделывает все, что нужно. Медленно, едва заметно понижается уровень крови в капельнице.

Счет времени уже давно утерян Кумысниковым. Беспокойство и почти отчаяние сменяются порой на его лице внезапно сверкнувшей надеждой — в конце концов, он еще очень молод, Сережа Кумысников. В этом состоянии он совершенно не умеет ждать в бездействии, и поэтому чаще, чем, может быть, нужно, он щупает пульс больной, измеряет ей давление, возится с кислотом.

Была ночь за окнами палаты, затем разгорелся день, и снова разом ожили уличные фонари.

— Я заварила кофе,— говорит медсестра.— Вам следует сейчас же выпить.

Он покорно идет к столику в углу и, не присаживаясь, пьет.

Медсестра подливает глюкозу в капельницу.

Кумысников снова приблизился к постели, наклонился:

— Вы слышите меня, Зина?

— Я ввела ей пантопон. Она, вероятно, спит.

Помедлив, он подошел к медсестре, без надобности потрогал шланг.

— Я вам нагрубил вчера...— тихо произносит Сергей.

— Если бы за тридцать лет работы я обращала внимание на все то, что говорят хирурги... Вы еще сравнительно вежливы, Сергей Петрович. Пойдите в ордина-

торскую и прилягте. Я позову вас в случае необходимости.

Но он снова опускается на стул у постели больной и в сотый раз щупает ее пульс.

Из дверей поликлиники выходит Надя. Она успевает сделать несколько торопливых шагов — ее нагоняет такси с приоткрытой на ходу дверцей. Сперва машина медленно ползет вдоль тротуара, а когда Надя хочет перейти дорогу через переулок, такси сворачивает в этот переулок и преграждает ей путь.

Из машины высунулся Сергей Кумысников. Он взял Надю за руку.

— Садись быстренько, тут нельзя останавливаться...

Она села рядом с ним.

Наклонившись к шоферу, Сергей говорит адрес, но шум улицы заглушает его голос.

Сидит молча Надя, рядом с ней молчит Сергей. Посмотрев в окно, она удивленно оборачивается:

— Куда ты меня везешь?

— Куда надо, туда и везу.

Уже по окраинным улицам города мчится такси; выносится на шоссе. Здесь, свернув в сторону, на проселок, машина остановилась. По обе стороны проселка молодой лес.

— Подождать вас? — оборачивается шофер.

— Не надо.

Машина ушла. Сергей с Надей остались на обочине.

— Считай, что я прискакал за тобой на коне, — говорит Сергей, — перекинул через седло и привез сюда. Спасибо, что ты при этом не кричала.

Они вошли в лес.

— Куда мы идем? — спрашивает Надя.

— Никуда.

— Я тебя серьезно спрашиваю.

— А я серьезно отвечаю — никуда. Я привез тебя на край света.

Надя остановилась.

— Что с тобой, Сережа?

— Ничего. Я понял наконец, как следует поступать с тобой, а заодно — и с собой.

Они идут.

— Здесь чертовски красиво... Хочешь есть? У меня с собой бутерброды и пиво. Я хотел взять термос с горячим чаем, но он не влезал в карман.

Они идут.

— Позавчера я дежурил у себя в клинике. Ночью доставили девушку с разлитым гнойным перитонитом. Я сделал ей операцию, почти не надеясь на успешный исход. В приемном покое сутки сидел парень. Он сказал мне: доктор, если Зина умрет, я утоплюсь.

— Она жива? — спрашивает Надя.

— Два дня я не уходил из клиники. Кажется, это первый человек, которому я реально спас жизнь... Надя, мне невозможно жить без тебя. Ты молчи. Не отвечай мне. Я третьи сутки на ногах. И не останавливайся, пожалуйста, иначе я упаду — сперва на колени перед тобой, а потом на эти листья — и засну мертвецким сном...

Они продолжают идти.

Кабинет инспектора горздравотдела.

Инспектор Анна Игнатьевна Сырцова — молодая энергичная женщина, не лишенная приятности, — беседует с участковым врачом Надей Лузиной. Они разделены столом. Перед Сырцовой лежат бумаги; по мере необходимости она заглядывает в них.

— Я искренне рада за вас, Надежда Алексеевна. Мы считаем вас очень перспективным специалистом. Характеристика, выданная вам главврачом, в высшей степени похвальная. За два года работы на участке совер-

шенно несомненен ваш творческий рост. И для того, чтобы стимулировать его, горздрав направляет вас на три месяца в клинику Института усовершенствования к профессору Медведеву.

Надя просияла:

— Спасибо!

Сырцовой приятно, что она обрадовала Лузину.

— Попутно я хотела бы воспользоваться нашей встречей...— Сырцова заглядывает в бумаги на столе.— Сколько больничных листов выписано вами на своем участке за последний квартал?— мягко спрашивает она.

— В точности не помню, я не подсчитывала.— На чулке Нади поползла петля; незаметно послюнив палец, она пытается смочить дырочку, чтобы петли не разошлись еще ниже.

— Как же можно, коллега! — укоризненно говорит Сырцова.— Больничный лист — это документ строжайшей отчетности...

Сверившись по бумагам, она продолжает:

— За три последних месяца вами выписано сто тридцать два бюллетеня, общей продолжительностью в пятьсот шестьдесят семь рабочих дней.

Она смотрит на Надю.

— Я давала больничные листы людям, которые по состоянию своего здоровья не могли выйти на работу, — тихо говорит Надя.

— Естественно, — одобрительно кивает Сырцова.— Никто не берет под сомнение вашу врачебную квалификацию. Однако почему-то именно на вашем участке наиболее высокая цифра выданных бюллетеней. Чем же, по-вашему, вызвано это явление?

— Не знаю, — подумав, искренне отвечает Надя.— Вероятно, чаще болеют. На моем участке много пожилых людей.

— Кстати, и об этом я хотела побеседовать с вами. Госпитализировать в первую очередь следует работоспо-

собных пациентов. Больничные койки мы предоставляем преимущественно трудящимся и уж затем...

Надя подняла глаза на инспектора.

— Я доктор. И если медицинские показания...

— Надежда Алексеевна,— прерывает ее Сырцова,— я могла бы сказать вам, что ни у меня, ни у вас нет времени для ведения бесплодных дискуссий; могла бы сослаться на установку, которую мы с вами обязаны выполнять. Но я тоже медик, коллега. И воспитана на тех же гуманных советских принципах, что и вы. Ваше доброе, сердечное отношение к пожилым пациентам совершенно закономерно и, поверьте, глубоко мне понятно. Однако, когда решается вопрос, кого поместить в больницу — больного, который пролежит два-три месяца, причем без эффекта, ибо он болен необратимо, или пять-шесть человек, которых можно вылечить, а часто это кормильцы семьи,— врач должен решать в пользу последних, не будучи при этом ни бюрократом, ни чиновником...

Все это Сырцова произносит горячо и убежденно. Склонившись к столу, она готова выслушать возражения молодого доктора, но Надя не может подыскать столь же убедительные, рациональные доводы. Сырцова видит это и продолжает уже совсем мягко и доверительно:

— Если бы вы знали, Надежда Алексеевна, как мне иной раз бывает больно отказывать людям! Но что поделаешь?.. Это мое кресло позволяет мне видеть более широкую картину, нежели вам. Вы руководствуетесь гуманизмом отдельного частного случая, а мы — государственным.

Надя спрашивает:

— А разве государственный гуманизм не составлен из отдельных частных случаев?

— Безусловно составлен! Но только не путем простого арифметического сложения. Ведь мы же и не

утверждаем, что можем уже сейчас, сегодня, удовлетворить решительно все насущные потребности граждан. Мы стремимся к этому всей душой, всеми средствами,— размах строительства лечебных учреждений грандиозен!

Улыбаясь, инспектор Сырцова поднялась. Она, видимо, удовлетворена беседой с молодым участковым врачом. Обойдя стол, она пожимает руку Наде и медленно провожает ее до дверей кабинета.

— Не расценивайте, пожалуйста, мои деловые замечания как выговор. Это всего лишь советы и размышления более опытного коллеги... Я была очень рада познакомиться с вами, Надежда Алексеевна. И совершенно убеждена, что работа в клинике профессора Медведева принесет вам огромное творческое удовлетворение...— У дверей она пожала руку Наде еще раз.— От всей души желаю вам здоровья и счастья в личной жизни!..

Маленький паровозик, старомодно посвистывая и отдуваясь, хлопотливо семенит по заводскому двору. Пропустив его, окутанные паром, возникают Надя Лузина и председатель завкома. Они переступают через узкоколейку и шагают к зданию дирекции.

Предзавкома. Извините, доктор, что принимаю вас на ходу — конец квартала, вздохнуть некогда... Пожаловаться, между прочим, не можем: коллектив выкладывается со всей душой...

Лузина (*перебивает*). Три недели назад я уложила в клинику Григория Ильича Баженова, мастера инструментального цеха.

Предзавкома (*оживился*). Гришу? Да знаю я Гришку. Вó мужик! Он у меня в завкоме два созыва работал... Ну, как он там, бедолага? Все мается со своим радикулитом? У меня у самого, доктор...

Лузина (*снова сухо обрывает*). Григорий Ильич

никогда не страдал радикулитом — у него больна печень.

Предзавкома. Ах ты господи! Вот так живешь, живешь и не знаешь, где тебя стукнет!..

Лузина. За три недели вы не были у него в клинике ни разу.

Предзавкома (*оторопело остановился*). Я лично?

Снова, отдуваясь и силло посвистывая, преграждает им путь суетливый паровозик. Скрытый облаком пара, предзавкома старается перекричать паровозный шум:

— Мы ж ему апельсины отправили, виноград, яблоки, мед. Десять целковых завком утвердил на гостинец...

Они перешагивают через рельсы.

Лузина. Фрукты ему приносят из дому. А вот то, что у вас не нашлось часа времени посидеть у постели больного товарища, который, по вашим словам, «вб мужик!»...

Предзавкома. Да я же объясняю вам, милый доктор, — конец квартала, будь он неладен!

Лузина (*резко*). На рыбалке в воскресенье были?

Предзавкома (*смутился*). Был... Так ведь я, доктор, тоже не из железа... А вы, собственно, по какому вопросу пришли ко мне?

Лузина. Вот по этому вопросу и пришла — посмотреть на вас хотела.

Кивнув ему, уходит. Предзавкома спрашивает вдогонку:

— Ну, а как здоровье-то нынче у Гриши?

— Справки о состоянии больных сообщаются в справочном бюро. Телефон 42-35-78. С девяти утра.

Ушла.

Прихожая большой новой квартиры. Здесь все завалено пальто, плащами, кепками, шляпами, ботами, уличными женскими сапогами. Никакая вешалка не может

вместить всей этой одежды. Прихожая пуста, однако из комнат доносится гул голосов. В этом гуле можно разоб-
брать вопли:

— Горько-о! Горько!.. Владик, Тамара, горько!..

И на фоне криков слышен звонок в дверь. Звонят раз, другой, третий.

Из комнаты в прихожую выбегает Владик — это тот самый здоровый, цветущий парень, что был у Нади в поликлинике. Вслед за ним выбежала и невеста.

Владик открыл дверь. На пороге — Надя с букетом в целлофане.

— Извините, пожалуйста, — смущенно говорит она. — Я опоздала...

На лестничной площадке, скрытый распахнутой дверью, стоит Кумысников. Дверь уже почти закрывается перед его носом, когда раздается голос Нади:

— Там еще со мной Сережа...

За свадебным столом, раскинутым из угла в угол комнаты, шумно. Гости собрались давно, они уже сыты, веселы, и хозяйева сейчас наперебой потчуют Надю с Сереей.

Мать Владика накладывает в тарелку Серееи закуски, он жуе с завидным аппетитом.

Подле Нади хлопочет невеста.

— Спасибо вам за Владика, — говорит она. — Он мне рассказывал, как вы спасли его от смерти.

Рассеянно улыбнувшись, Надя подозрительно прислушивается к тому, что происходит рядом, у Серееи.

— А вы давно поженились? — спрашивает Сереею мать Владика.

С набитым до отказа ртом Сергей солидно кивает головой.

— И жилплощадь есть? Квартира?

Он снова кивает, чинно отпивая вино.

Надя, сидящая рядом, больно наступает ему на ногу под столом.

— Двухкомнатная,— говорит Сергей.— Окна на юг. Потолки — два восемьдесят. Санузел несомещенный. С балконом.

— Вы ешьте,— уговаривает Надю невеста.— Мы с Владиком тоже строимся, я на прошлой неделе уже купила обои. Может, вам надо?

— У нас финские, моющиеся,— деловито сообщает Сергей, выпив залпом бокал вина.

— Сейчас же перестань врать! — шипит Надя.

Сережа оборачивается к хозяйке:

— Если б вы знали, как великолепно Надюша готовит! В особенности — борщ! Она кладет туда желтый перец и охотничьи сосиски. Это наше семейное фирменное блюдо. По субботам, когда я привожу дочку из садика, мы обедаем втроем. И это самые счастливые часы в нашей жизни!..

Невеста шепчет жениху:

— Вот ты слушай, слушай, Владик,— тебе надо учиться у него!..

— Бывают же счастливые семьи! — говорит немолодая гостья, незаметно вытирая платочком печальную слезу.

В прихожей хозяева провожают Надю с Сережей.

— Как жаль, что вы так рано уходите,— говорит невеста.— Даже чаю не попили.

— Да я бы, откровенно говоря, еще посидел,— отвечает Сергей,— но вот у Надюши сегодня очень трудный день. Очень!

Мать Владика торопливо появляется из кухни с пакетом в руках.

— Надежда Алексеевна, милая, не обижайте меня — это я завернула для вашей Танечки. Тут сладкое. Она ведь любит сладкое?

— Обожает! — говорит Сергей, беря из рук хозяйки пакет.

По лестнице спускаются Сергей с Надей. Два марша они идут молча. У Сережи преувеличенно беззаботный вид, хотя он искоса и поглядывает на Надю.

Убедившись, что лестница пуста и их никто не услышит, Надя резко поворачивается к нему:

— Хлестаков несчастный! Брехун! Зачем ты врал целый вечер?

Сережа приоткрывает угол пакета, заглядывает в него.

— Надька, здесь потрясающая вкуснятина! С заварным кремом...— Он сует палец в пакет, вынимает, облизывает его.— Попробуй. Я же видел, ты же ни черта не ела за столом.

— Я тебя спрашиваю, зачем ты врал? Ты что — напился?

— Я? Нисколько.

— А ты помнишь, что пригласил их в гости в нашу двухкомнатную квартиру? — яростно спрашивает Надя. Она почти плачет.

— Помню, конечно,— пожимает плечами Сергей.— Вот с Танькой я, кажется, немножко перебрал, но это меня занесло.

— Называется — врач! Хирург, серьезный человек! Врун ты, вот кто. Отвратительный, низкий врун!..

Они стоят на лестничной площадке. Сергей протягивает Наде пакет и неожиданно серьезным тоном просит:

— Подержи, пожалуйста, минутку.

И теперь, когда ее руки оказываются занятыми, он с силой обнимает ее и целует.

Отстранившись наконец, Надя подозрительно спрашивает:

— А откуда ты знаешь про борщ? Кто тебя кормил таким борщом?

— Никто. В поваренной книге вычитал.— Он снова целует ее.

По широкому проходу между койками просторной больничной палаты идет группа врачей в белых халатах. Во главе этой группы старик профессор — мы помним его: он произносил речь в день принятия присяги.

Это утренний обход. Профессор присел на койку больного — мастера Баженова.

— Доброе утро, Григорий Ильич. Посмотрите-ка на меня, дружок... Ну, вы сегодня совсем молодцом! Даже обзавелись румянцем...— Профессор открыл дверцу тумбочки.— Интересно, что же мы здесь имеем? Варенье, яблоки, мед... Прелестно. С такими харчишками я бы и сам не прочь поваляться с недельку... Ну, а как насчет духовной пищи? Что мы изволим читать? — Он взял с тумбочки книгу.— «Приключения Тома Сойера». Очень хорошо... А теперь давайте-ка мы вас посмотрим...

Вокруг постели больного стоят врачи. Среди них — Надя Лузина.

Не по-обычному профессор начинает осмотр. Откинув одеяло, он сперва вглядывается в обнаженные грудь и живот больного, еще не касаясь тела руками. Вероятно, так художник всматривается в натуру, пытаясь найти в ней те особенности, которые отличают ее от всего того, что приходилось наблюдать ранее. Никаких инструментов и приборов нет сейчас в распоряжении профессора.

Мягкими, теплыми руками он начинает ощупывать тело больного, выстукивая грудную клетку своими пальцами и прислушиваясь к тону. Голова профессора склонена набок, словно он вслушивается в невидимую партию, и самомалейший фальшивый звук не минет его строгого абсолютного слуха.

Наклонившись еще ниже, профессор прикладывает свое ухо к груди больного, к его сердцу.

Один из молодых врачей заботливо протягивает профессору фонендоскоп,

Торопливо задержав руку врача, Надя шепчет:
— Уберите. Виктор Георгиевич этим не пользуется...
ся...

Стоят вокруг постели врачи. Длится осмотр больного. Слышен тихий ласковый голос профессора:

— Повернитесь набок, дорогой. Вот так. Скажите медленно: раз, два, три... Хорошо. Еще раз погромче, пожалуйста... Раз, два, три...

И вот наконец профессор выпрямился, прикрыл больного одеялом.

— Я доволен вами, дружок. Вы нам очень помогли.— Обернувшись к окружающим его врачам, старик отыскивает взглядом Надю и пожимает ей руку.— Спасибо, коллега. Решительно ничего не могу добавить ни к вашему диагнозу, который, признаюсь, показался мне поначалу чуточку проблематичным, ни к тому курсу лечения, что вы назначили пациенту. Полагаю — дня через три его можно будет отпустить домой.

— Я хочу сделать это через неделю,— тихо, но настойчиво говорит Надя.

Старик нахмурился: видимо, он не слишком любит, когда ему противоречат. Иронически взглянув на нее, он так же тихо отвечает:

— Очевидно, вам виднее — вы лечащий врач, а я всего-навсего малопрактикующий профессор...

Эта внезапная коротенькая перепалка ведется на ходу, почти шепотом — окружающие и больные не слышат ее. Вся группа утреннего врачебного обхода передвинулась к следующей постели.

По коридору, во главе с профессором, идут врачи. Обход закончен. Старик явно утомлен. Он вошел в ординаторскую, опустился на диван, прикрыл глаза.

— Виктор Георгиевич, извините, пожалуйста...

Перед диваном стоит Надя.

— Вы совершенно правы, профессор,— больного можно выписать через три дня. Но я сама попросила его задержаться: рядом с ним лежит человек в очень подавленном состоянии. И ему предстоит на этой неделе тяжкая процедура. А они подружились...

Пауза.

— Садитесь, коллега,— говорит профессор.

Надя опускается на краешек дивана.

— В моей клинике,— говорит профессор,— освободилось штатное место ординатора. Я предлагаю его вам, коллега.

Робая, Надя молчит.

— Я присматриваюсь к вам вот уже три месяца. Вы — думающий врач, и, что не менее важно, у вас сердце врача.

— Спасибо, Виктор Георгиевич...

— Благодарить меня совершенно незачем. Я руководствуюсь интересами дела. Мне кажется, мы сработаемся. В условиях клиники вам будет легче совершенствоваться, а наши больные приобретут в вашем лице дельного и доброго доктора.

— Виктор Георгиевич, спасибо большое...— Надя отчаянно смущена.— Я должна сразу дать вам ответ?

Молчание. Быстро взглянув на нее, он язвительно произносит:

— Вероятно, вы хотели бы проконсультироваться с мамой, с супругом, со свекровью?

— Я живу пока одна,— тихо, не поднимая глаз, отвечает Надя.

— Тогда остается предположить, что вам требуется время, для того чтобы обдумать мою квалификацию как шефа клиники?

Она готова провалиться сквозь землю под его испепеляющим взглядом.

Профессор поднялся и буркнул:

— Ну что ж... С недельку я могу подождать, покуда

вы решитесь на этот опрометчивый шаг. Конечно, если вы сообразовываете на него решиться...

И снова под слепяще ярким полуденным солнцем высятся корпуса знакомого жилмассива. Сейчас здесь уже все обжито. С молодых тополей, щедро раздавленных, слетает пух. Зацвел кустарник.

И как всегда в эту рабочую пору дня, особенно приметны во дворах пожилые люди; дети еще не вернулись из школы. Греются на солнце старики.

Идет по двору участковый врач Лузина. Теперь ей уже не приходится всматриваться в номера квартир над подъездами — это ее участок, он отлично изучен.

Пересекая палисадник, идет по двору Надя Лузина, и по тому, как здороваются с ней люди, по тому, как они смотрят ей вслед, видно, что она свой человек в этом доме.

Лестница.

Слышен торопливый стук каблуков. Марш за маршем разворачивается перед нами пустая лестница, и стук каблуков становится все замедленней. Порой он затихает где-то на лестничной площадке, затем, через мгновение, каблуки снова мерно постукивают по ступенькам.

Тишина.

И голос откуда-то сверху:

— Я из поликлиники. Врача вызывали?

СПОКОЙНОЕ УПРЯМСТВО ДОБРОТЫ

(О прозе И. Меттера)

В этой книге, в повести «Стажер», есть сдержанное, почти протокольное описание обыска в комнате проворовавшегося завмага. Дело идет четко, вор так беспечен, что и не подумал прятать концы в воду, все почти на виду: сберкнижки, бостон и драп, «желтый металл», и юристу-пятикурснику Саше Овчаренко поручено занятие, которое и занятием не назовешь (и поручили-то, очень возможно, чтобы сосунок не путался под ногами): сиди, следи за старухой, матерью хозяина. Саша и следит, сперва получая что-то вроде удовольствия от своей прилежности и не замечая, как мало-помалу сама его бдительная наблюдательность становится какой-то иной. Не совсем, так сказать, профессиональной: «Сидела против него старая женщина, руки ее упирались в край кровати, поддерживая неверное тело, чтобы оно не повалилось на бок. Сперва лицо ее обеспокоилось, а потом утихло. Торчало из-под платка бесполезное ухо, шевелился острый кончик подбородка, словно она жевала, глаза заволокло мутной слезой. Раза два за время длинного обыска Саша видел: старуха вскидывалась, обводила слепым безучастным взглядом комнату, рука ее дотягивалась до девочки, проверяя, здесь ли она, не увели ли ее потихоньку прочь».

А потом, когда дело выйдет «в цвет» и оперативники, зайдя в столовку «Уют», скинутся с устатку на графинчик, эта не обязательная наблюдательность, посторонние, необязательные мысли не перестанут тревожить зеленого стажера. Хотя самому ему в них не разобраться...

«— Жалко тебе их?

— Конечно, жалко.

— А государство тебе не жалко?

Саша слабо улыбнулся.

— Ты чего ухмыляешься? — разозлился Гордеев. — Из чего состоит государство? Из людей. Видел, чего я выгреб из шкафа? Он овощи тоннами пускал налево, на компоте нажился, капитал ско-

лотил на наших трудностях... Сволочь такая, пробы на нем негде ставить!

— Я же не про него, — сказал Саша. — Вы поймите меня, пожалуйста, Кирилл Иванович. Вот мы сидим втроем, пьем, едим. А там старуха с девочкой...

— А пошел ты на фиг! — сказал Гордеев. — Не имею я права об этом думать. Ясно тебе? И не желаю. У меня сердца на всех не хватит.

— И все-таки здесь что-то не так, — сказал Саша.

— Ах, не так? — Гордеев приблизил к нему через стол свое красное, запотевшее лицо. — А можешь ты мне сказать — как?

— Не могу, — сказал Саша.

В этом «не могу» — все дело.

Что желает сказать автор? «О чем бренчит, чему нас учит?» Может быть, проводившие обыск — плохие работники и скверные люди? Нет. Работники явно дельные. И люди неплохие. Не плохие, по крайней мере («Хороший? — Честный...» — такой разговор произойдет у Саши с матерью относительно Гордеева). Были ли они грубы со старухой? Снова нет, были вполне корректны, и все делали строго по инструкции: «Мы, Ксения Макаровна, действуем согласно закону... Конечно, это для вас неприятное переживание, но постановление вам было зачитано в присутствии понятых, социалистической законности мы не нарушаем...»

В общем, дай-то бог, чтобы все и всюду так.

Но тогда, может быть, — страшно выговорить, — несправедлив закон и надо пощадить вора, чтоб не отягчать жизнь его матери?.. Однако абсурдность предположения уж слишком очевидна. Да даже и в том, что усталый Гордеев злится на расчувствовавшегося пацана, нет ли своей основательности? В самом деле: не у всякого хватает сердца «на всех», — не у всякого, что поделаешь, нет возможности рассчитывать на это, особенно ежели принять во внимание душевную усущку-утруску многих профессионалов — от работников угрозыска до учителей и хирургов. В конце концов, сама-то Сашина повышенная чувствительность есть ли постоянное, вечное достоинство его сердца или всего только преходящая черта преходящей молодости? И что он запоем лет через двадцать?

Вот сколько сомнений, и справиться с ними нелегко не только в возрасте Саши Овчаренко.

Пожалуй, наоборот: потом будет еще труднее, — во всяком случае, эту все более наваливающуюся тяжесть не раз испытал и переиспытал за долгую жизнь прозаик, к книге которого я пишу послесловие...

Вообще-то это занятие — писать послесловия — кажется мне несколько странным. Не таким, правда, когда сочиняешь предисловие, то, что перед словом и самим словом как бы

еще не является, когда перебегаешь читателю дорогу, беседуя с ним о том, чего он еще попросту не читал, — но все-таки странным.

Вы только что дочитали книгу, мысли, ею возбужденные (если таковые оказались), еще бродят в вашей голове, отношение к ее героям (если они опять-таки для того достаточно объемны) еще устанавливаются и определяются, а тут, извольте: вот вам четкое суждение о том-то и о том-то. Чужое суждение, не ваше, стало быть, процесс размышления над книгой насильственно остановлен или подтолкнут — пусть даже и в «том» направлении.

Возможно, мои сомнения преувеличены или субъективны, но они у меня возникли, и потому я сейчас не прокомментирую обстоятельно того, что прочитано, не толкую и не растолковываю. Не зря в подзаголовке сказано: «О прозе И. Меттера», а не «об этой книге», хотя и о ней тоже. Я выхожу за ее строгие пределы, обращаюсь к иным меттеровским вещам в надежде что-нибудь добавить, досказать или, вернее, проследить, что он сам добавляет и досказывает к сказанному этими семью повестями.

Итак, «не могу», — честно отвечает стажер Саша, а в другом рассказе, в котором идет речь о пьяном покушении на человеческую жизнь, неоперившемся герою будет вторить и его изрядно понаторевший автор: «...вот уж сколько лет так и не могу разобратся... я понял, пожалуй, лишь одно: всему виной были тогда пол-литра водки и два стакана бормотухи, которые выпил на голодный желудок плотник Дунаев». Да и Сашин ответ дан не им... Ну, хорошо, скажем иначе: не только им.

Его студенческий возраст — деталь не случайная, да: но вот что касается его наблюдательности, то она как раз не по возрасту. Даже то, что автор «замотивировал» сострадательность Сашин («Старуха на мою бабушку похожа...») не сделало пронизательность стажера логичнее (я не нужно, кстати говоря: эта нелогичность из тех, что может позволить себе настоящий писатель, — именно он-то, впрочем, и может). Ее, эту пристальную наблюдательность, вручил юному соглядатаю сам прозаик — свою собственную, личную, и в том, что Саша, послушно наблюдая за старухой, вдруг видит ее судьбу, прошлую и будущую, сказалась острота не молодого взгляда, а пожившего сердца. Та, которая в высокой степени свойственна Меттеру.

«Забирали его всегда за драку. Так получилось в жизни старухи (уже другой, из рассказа «Мать». — Ст. Р.), что она видела на своем веку много драк, — и колыями бились, и бутылками, и заматывались топорами, а уж кулаки и не в счет, — но в тюрьму попался не всякий: вечером схлестнутся, утром замирятся. Славке же не везло, судьба его так складывалась, что его забирали. Конечно, он вино пил без меры, но и Гришка, другой ее сын, тоже выпивал будь здоров, и кругом никто от вина не отказывался, а вот Славки

ку судьба отмеривала положенный срок. И старуха не кляла эту судьбу. Она только горьчилась, что уж здорово не везет».

В рассказе Шукшина о матери, сыну которой так же вот «не повезло», сказано: «Материнское сердце, оно мудрое, но там, где замаячила беда родному дитю, мать не способна воспринимать посторонний разум, и логика тут ни при чем».

Эта, меттеровская, старуха способна, как видим. И там, и тут — сердечная мудрость, только тут она горше, привычнее к беде, тут она более усталая и оттого уступчивее: «не кляла». Эта мать, видно, еще больше видела обид и горя, притерпелась, притерлась, так что даже свалившаяся на нее глухота не только беда, но и спасение от невесткиных попреков, от лишнего, недоброежелательного шума. А если люди станут удивляться бесстрашию, с каким старуха отправится в невообразимо дальний путь, в заключение к сыну, автор и здесь пояснит со своей обычной и необходимой сдержанностью, — необходимой потому, что тут есть, что сдерживать: «Посторонних людей она нисколько не робела: за долгую свою жизнь старуха убедилась, что если кто ее утеснял или обижал, то были это всегда не посторонние, а люди, которых она знала».

Это формула очень горькой жизни: близость, соседство, родство — как ожидаемая возможность утеснения и обиды, а дальность — как меньшая их вероятность (не оттого, что дальние непременно добрее, просто им незачем, а может, и некогда обидеть). И как же должна быть живуча материнская душа, как трудно ее убить, убиваемую ежедневно, если не только дальним, необижающим она доверчиво и охотно открыта, но и ближних, из самых что ни на есть обидчиков, готова пожалеть, простить, а понадобится — и спасти.

Зло бессмысленно, — в это, мне кажется, оптимистически верит Меттер, как ни реальны рассуждения о том, что и злу, с испытанно-философской точки зрения, есть место в равновесии мировых сил. По крайней мере, в его прозе оно именно дпкость, нелепость, зловещий и необъяснимый курьез, воспринимаемый с горестным недоумением даже теми, чья борьба со злом составляет их милицейско-будничные обязанности и кому оно, стало быть, не в новинку: «Убили, мерзавцы, человека за мануфактуру. Ты можешь это понять?» Оно предстает здесь как кричащее, нет, орущее несоответствие повода и результата: бандит, закалывающий старика сторожа вилами (зачем не пустил погреться?), выстрел в живот после водки с бормотухой, пьяная Славикова драка, второй раз перешибающая хребет его собственной и материнской жизни...

То есть, если будет надобно, и бесстрастность призвется на помощь — или, точнее, объективность, принявшая подчеркнуто холодноватую форму бесстрастности. И тогда мы узнаем о преступнице, знаменитом своей жестокостью, простые, человеческие подробности:

«Втроем они пили чай, а Гусько потом сбегал за маленькой белого для себя и пол-литром красного для девушек. Принес еще полтора-ста граммов печенья «Мария» и двести граммов конфет «Счастливое детство». (Видите, скромная четвертинка, а не два литра, мирное чаепитие, а не дикий разгул — ничего от легенд про «хазы» и «малины», человек вроде как человек.) Да и подполковник милиции из повести «Алексей Иваныч» может увидеть убийцу непредвзято оценивающим, «протокольным» глазом.

«Высокого роста, крепкий, голова стриженная, правильной круглой формы, кожа на лице чистая, рот небольшой и тоже приятной формы, маленькие упругие уши, глаза серые, блестящие, с длинными ресницами, чуть-чуть курносоватый нос — вот каков был Гусько».

А когда у Алексея Иваныча прорвется совсем иное отношение к убийце, то это будет значить, что сам автор вместе с ним не выдержал своего спокойного тона, исчерпал свою бесстрастность, разволновался, взорвался, и тихая сдержанность, с какой он вначале пытался повествовать о Гусько, обыденно житейская интонация рассказа о нем, которую оказалось физически невозможно длить, задним числом подтвердит все ту же мысль о дикой алогичности зла. Все то же наивное изумление: как это удается ему совмещаться с нормальной и даже приятной внешностью человека, рожденного не для убийства, а для жизни среди людей? Все то же самое — принципиальное — «не могу разобраться».

В самом ли деле не может? Как будто — нет, размышлений и ответов о причинах того или иного преступления, той или иной подлости в прозе Меттера предостаточно, и даже небольшой части ее вполне хватило бы иному уверенному литератору, чтобы безапелляционно «закрыть вопрос». И эта — словно бы — неуверенность, эта не то что неторопливость с ответом, а как бы даже боязнь окончательного приговора происходит уж конечно не от непонятливости, а от напряженного человеческого сострадания. «Не могу» — это миг высокого бессилия перед чужой бедой, немислимость примирения с ее неотвратимостью и неустранимостью, даже если рассудок, свой или чей-то еще, пессимистически твердит иное.

И этот повторяющийся миг — самое острое проявление меттеровского отношения к жизни. Отношения пристального, доброго, гражданственного, потому что в этом «не могу» звучит: «Не может быть! Не должно!..»

В свое время в соответствующем томе Краткой Литературной Энциклопедии о меттеровской повести «Мухтар» было сказано: «...история служебно-розыскной собаки служит средством выявления непримиримой противоположности между деятельной добротой и бездушным».

Справочные штампы — из самых стойких, и, вероятно, поэтому автор заметки в КЛЭ, критик умный и тонкий, не избежал того,

чтобы увидеть в повести, тоже тонкой и умной, всего лишь подсобно-утилитарное «средство выявления».

Что ж, «деятельная доброта» — отменная вещь, но сейчас мне совсем не хочется уходить в уточняющие определения («деятельная», «активная», а то и «боевитая»), — они ведь имеют обыкновенные, содержательное понятие. Как декларирует и автор, «конечно, за добро нужно бороться. Только когда говорят — «с кулаками», некоторым людям нравится именно это: добро для них в дальней перспективе, а сейчас можно пускать в ход кулаки...»

Сам Меттер в очерке «Собаки» объяснил, почему написал повесть «Мухтар». Ни пыльное чучело Султана, Мухтарова прототипа, сберегаемое в Ленинградском криминалистическом музее, ни даже рассказы о его служебно-розыскной доблести не вызвали ничего более конкретного, чем вежливый интерес. «Однако перед самым моим уходом один из работников музея рассказал мне походя драматический финал жизни Султана — его бесприютную, тяжкую старость. Вот тогда-то и дрогнуло мое сердце. В судьбе этого пса я увидел нечто человеческое».

То есть началось именно с сострадания. С того, что очеловечивает — и сострадающего, и того, кому (даже чему) сострадают, — очеловечивают настолько, что повесть про собаку могла закончиться фразой, на удивление явно перекликающейся с одним из знаменитых лирических афоризмов Бабеля. Вот она, концовка «Мухтара»: «Они (молодые псы. — Ст. Р.) презрительно глядели на старого, хворого, колченого пса, не зная его жизни и не понимая, зачем он еще ковыляет на этом прекрасном белом свете». И вот — бабелевское: «Мы оба смотрели на мир, как на луг, по которому ходят женщины и кони».

А впрочем, удивление-то как раз и излишне, ибо причина сближения — полнота лирического сопереживания...

Дело отнюдь не в басенных аллегориях, не в том, чтобы читатель, следя за возвышением и драмой овчарки, вздохнул: «Вот так и жизнь наша...» Правда, автор, может быть, отдавая дань времени, не совсем ушел от прямого растолкования. «Вероятно, собаки, так же, как и люди, не любят, когда их продают», — скажет мимолетный персонаж повести, а в финале комиссар милиции подпустит и вовсе назидательное: «Сегодня, знаете ли, наплевать на заслуженного пса, а завтра, глядишь...» Но опять-таки не в том суть, не в том сила, не в том обаяние.

Пес Мухтар самоценен для писателя Меттера: он ему чрезвычайно интересен, как еще один, пусть малый, мир, который стоит постичь, и постижение идет вовсе не с самоуверенностью завязатого миропроходца: то, что за плечами опыт творцов «Холстомера», или «Измурда», или «Белого Клыка», не облегчает задачи. «Вероятно,

ему казалось...» — так деликатно пробует автор предположить, что именно в тот или иной момент испытывает собака: может, так, а может, иначе, — кто знает? И рядом с описанием важнейших для Мухтара событий равноправно присутствует то, что принято считать как бы не совсем литературным сюжетом: «Она вывела Мухтара из клетки на поводке. От волнения и счастья он тут же задрал заднюю ногу на пенек. Он досадовал на эту вынужденную задержку и все посматривал назад, под свой живот, скоро ли это безобразие кончится. Оно длилось, и Мухтар все это время страдальческими глазами глядел на хозяйку».

Столь (еще повторюсь!) самоценный интерес — к человеку или к собаке — бескорыстен, и доброта не урезана утилитарным заданием.

Правда, «к человеку или к собаке» — это противопоставление неточно.

Собака в повести — это собака. Не меньше, чем любопытнейшее творение природы, однако и не более того. Не знаю, случайно ли, но между строк даже мелькнуло предупреждение о том, что — «не более», предупреждение чуточку угрожающее, хотя и смягченное шуткой. Мухтар сидит рядом с проводником, обыскивающим в поисках оружия задержанных бродяг, и следит, «прилично ли ведут себя люди. По его понятиям, достойное, нормальное поведение человека заключалось в том, чтобы он стоял не шевелясь и задрал ружьи кверху».

Представим себе, что нам неизвестен контекст, что мы не знаем, какой Глазычев, Мухтаров проводник, — ведь вздрогнешь...

Мухтар — не воплощение некоей моральной силы или нормы (как Холстомер в гениальной повести Толстого). Он, снова скажу, не более чем собака, и все дело в том, чья и какая воля вложена в него, чья душа вдунута.

Когда автор попутно сообщает нам, что старый пес Дон, руководимый отталкивающим Дуговцом, выбракован по старости, то есть попросту умерщвлен, нам, пожалуй, жаль и этого ветерана. Пожалуй... То есть ежели спросят: «Жаль?» — ведь не отмахнешься: «А, чего жалеть?» Постесняешься не посочувствовать меньшему брату. Но такое сострадание мимолетно, условно, бесследно. И совсем другое — когда борьба идет за право жить для Мухтара, которому мы сострадаем с безусловной отдачей, как человеку, потому что в него и душу вложил человек — Глазычев. В том-то и состоит разумная, созидательная, очеловечивающая сила добра, по природе своей противостоящего дикой случайности зла... да, случайности, потому что оно бессмысленно и незаконно в системе нравственных координат, созданной человеком...

Зло... Добро... По правде говоря, я делаю некоторое усилие, извлекая эти понятия в химически чистом виде из меттеровской

прозы, такой далекой и от обнаженной символики и от открытого пафоса,— прозы, где неприманчиво сдержанная интонация не стремится возвышаться до громкого гнева (разве уж совсем невтерпёж) и не свергается в сарказм,— прозы индивидуальной, узнаваемой, по несущей на себе вполне отчетливые следы того стилистического единства, которое принято именовать «ленинградской школой».

Что до усилия, то оно оттого и надобно, что вечные категории, запинаясь всякого писателя, тут, может быть, особенно очевидно врастают в быт, вырастают из быта, и воплощения их предельно конкретны — вплоть до точной административной прописки.

«Все то, чего коснется человек, приобретает нечто человечье», — так начинал свои стихи о Ленинграде Маршак, подтверждая реальность и определенность городского пейзажа великими тенями, прописанными в нем навсегда: «О Блоке вспоминают Острова, а по Разъезжей бродит Достоевский». Все верно: приходило ли нам, однако, в голову, что точно так же родной город конкретизирован и обжит каждым из его жителей, что каждый окрасил его в цвета своих печалей и надежд, связал с его поворотами и тупиками повороты и тупики собственной судьбы,— даже если это так неявно для постороннего взгляда?

Меттеру это пришло в голову, для его глаза это явно, и вот подполковник Городулин, главный герой повести «Алексей Иванович», идет по городу вместе с бывшим вором Колесниковым, и писатель имеет скромную смелость представить город Блока и Достоевского еще и их городом, вобравшим в себя и их судьбу:

«Они медленно шли по Невскому: мимо яслей, где тридцать лет назад был бильярдный зал, в котором при задержании Ванька Чугун ранил Городулина, мимо сберегательной кассы, где помещался когда-то ресторан «Ша нуар»,— сюда любил ходить с проститутками Колесников, мимо Гостиного двора, где в маленьких лавчонках торговали живые миллионеры, — Городулин забирал у них из-под половиц, из печных вышек, из бабалдашинок металлических кроватей столбики золотых десятков, мимо «Ювелир-торга», в котором Колесников сбывал драгоценности из Углича, мимо Екатерининского садика, где Городулин в перестрелке убил кулака-дезертира, мимо Московского вокзала, куда приехал в последний раз из колонии Колесников и с тех пор перестал воровать...» — и т. д. и т. п., так они идут по большому городу, по длинной своей жизни, по эпохе, в которой бывало всякое, но из которой никуда не податься, потому что она и есть их жизнь, и сам город поворачивается к нам еще одним из миллионов своих обличий...

География прозы Меттера за последние годы расширилась — точно так же, впрочем, как и география самого Ленинграда, обрастающего пригородами и поселками. Но с расширением площади писательского внимания пришло и уточнение адреса, даже сужение

его, — именно так! Место действия все чаще стало переноситься из города, но не в деревню, а в нечто среднее между ними, в поселок, являющийся географическим и социальным новообразованием. И этот факт, имеющий, может быть, прежде всего чисто житейское происхождение, всего-навсего то, что писатель живет в одном из неблизких ленинградских поселков, стал вдруг фактом художественным.

Да и неудивительно: ведь понятие материала тоже — хоть отчасти — содержательное.

Поясню общеобозримой аналогией.

Когда-то Ильф и Петров, веселые и молодые, в «панорамном» романе «Золотой теленок» изобразили кряду и Воронью слободку, захотев увидеть ее не в упор, а как бы с высоты птичьего полета, вернее, с высоты полега ее случайного и временного жильца — летчика-героя Севрюгова. Изображение было соответственно цельным, слитным, без въедливых подробностей и мелких штришков, когда незачем и некогда разбираться, существенна ли разница между камергером Митричем, коечницей Дуней и даже ничьей бабушкой, о которой просто ничего не было сообщено — ни хорошего, ни дурного: все были равны, как наследие отживающего мира, все подлежали исчезновению, как и сама Слободка, сгорающая в почти символическом пламени.

В те же годы, однако, сложился и иной взгляд. Под закопченные примусами своды коммуналок пришел Зошенко, сосредоточивший свое внимание как раз на «прочих незначительных гражданах», и обнаружилось, что там тоже кипят страсти, притом нешуточные, что в Слободке есть свое человеческое многообразие, свой размах, свои Гарпагоны и Отелло, что какой-нибудь Борис Иванович Коттофеев способен ощутить непрочность мировых связей с не менее трагическими (для себя) последствиями, чем сам принц Гамлет, а для инвалида Гаврилыча кухонная битва что для Наполеона Ватерлоо. Есть всё и все, но свое, свой, свои — потолок иной. Потолок, а не стремление человека к разновыявлению.

Тематическая пестрота ранних зошенковских вещей сменилась «упорным, напряженным постоянством»: социальный круг героев сузился... нет, определился, ибо в писательском деле точный выбор есть путь ввысь и вглубь, и вместе с этим пришла определенность стиля, мысли, задач.

«Земляческой», ленинградской аналогии не стоит придавать большего значения, чем всем вообще аналогиям, и привел я ее только чтобы заметить: случается, что сам по себе выбор «натуры» способен многое прояснять в характере писательского своеобразия, даже сформировать его, вернее, доформировать.

Нечто похожее произошло и с Меттером. Поселок под Ленинградом, люди поселка, в которых можно взглядеться совсем по-

сёдки, все то, что теперь заняло значительную часть его внимания, помогло ему увидеть что-то дополнительно новое в его привычных «нешумных» персонажах, еще более сконцентрировать внимание на невидных сторонах их жизни, быта, будней. И даже — в некоторой степени — уточнить свое место в современной прозе, место уже не только «городского писателя», урбаниста, что ли, а... Но и термина куда не подобать, настолько книги о ней, «промежуточной», по существенной части России, становящейся все населеннее, весьма и весьма нечастые, не замечаются критикой.

Что касается Меттера, то он, к сожалению, прежде проходил по разряду пишущих «про милицию» (что определялось людьми, привыкшими судить литературу с точки зрения «про что», а не «что» и, тем более, «как»), но лишился, к счастью, этой репутации, да, кстати сказать, и милиция хотя не ушла вовсе из поля его внимания, но само ее вмешательство в дела поселковых жителей обернулось сюжетной возможностью заглянуть за ограду, войти в дом, ближе и глубже узнать этих людей, а сами традиционные герои Меттера, капитаны и младшие лейтенанты УВД, прописались в поселке. Прописались в поселке.

«В этом поселке Василий Капитонович работал десять лет, — буднично повествуется в рассказе «Сноха» о местном начальнике милиции. — Он уже давно понял, что здесь ему дослуживать свою службу до конца. Вся жизнь его прошла вокруг города, то в одном сельсовете, то в другом, он никогда не жаловался на свою судьбу. В городе ему было неуютно, он чувствовал себя там ничтожным человеком, от которого ничто не зависит». И это не просто индивидуальное ощущение, — да, в поселке всяк человек на виду. Не спрячешься, если и захочешь. Да не все и хотят: редкий частокол меж домами можно заменить непроницаемым забором — был бы тес, — но городская замкнутость, которой сейчас так озабочены социологи и психологи, еще не коснулась душ обитателей поселка, и тут, как правило, все наружу, завидное и стыдное, счастье и скорбь, — вот она, соблазнительно легкая и мучительно тяжкая добыча писателя.

«Никому не секрет, — говорит бойкая продавщица, — за два года за прилавком я каждого покупателя всю допотопную знаю, а он всю мою допотопную знает»; говорит, являя очевиднейшую особенность поселкового жителя, где всё на миру, — что далеко не так одноцветно прекрасно, как в поговорке, согласно которой в данных обстоятельствах красна и сама смерть (впрочем, может быть, не зря в ней не говорится о жизни на миру).

«Легко любить все человечество, соседа полюбить трудней», — эти строки поэта Кулиева, сказанные «вообще», я думаю, способны обрести весьма конкретную актуальность в масштабах поселка, где соседство далеко не так часто связано с родством, как в

деревне, в которой узы вязались десятилетиями, а то и веками. «Испытание соседством» — вещь совсем не шуточная, и поселок, жизнь его, уклад предстают здесь своеобразным (и трудным) критерием стойкости и истинности писательских представлений о доброте и любви — к соседу ли, к близкому или дальнему.

«Мать», «Сноха», «Выстрел», «На коммутаторе» — я могу себе представить социолога, всерьез решившего использовать эти рассказы в качестве подсобного материала для исследований быта, экономики, языка, системы связей в поселке; это не исчерпает ни задач, ни достоинств рассказов, но роль, что ни говори, достойна. Такое возможно потому, что и первое, и второе, и третье, и четвертое представлено тут со знанием старожил, со всепроницаемостью сельсоветского общественника, но и с умением художника вдруг отстраниться, отодвинуться и увидеть привычное в неожиданном, странном, даже причудливом свете.

Как, например, разом и привычна и странна фраза продавщицы про «допотопную», — фраза, где взят на пробу своеобразный этот язык, в котором непричесанно-вольная речь вчерашних выходцев из села, а нынешних поселочан (да и обитателей ленинградских дворов) переслоена словечками, выловленными в телевизоре, подхваченными у Сенкевича или Белянчиковой. Впрочем, дело не в «дегустации», не в «гурманстве», как и не в том, в конце концов, кем это сказано, городским ли дворником из повести «Мухтар» или героями «поселковых» рассказов «Мать» или «На коммутаторе».

Автор честно черпает из речевого потока полной пригоршней, — черпает, как есть, всего помаленьку, не вылавливая занятных курьезов, но и не пропуская сквозь брезгливые пальцы того, что «нелитературно»; вот почему меттеровские диалоги — живые без излишней живописности и характерные без натуги, слово в устах его персонажей не рекламирует себя, но может стать способом характеристики и проводником мысли.

Да и становится.

«По совести говорят (Дуговец произносил это выражение именно так: не «по совести говоря», а «по совести говорят»), по совести говорят, беспокоит меня Зырянов» — так забавная оговорка может соучаствовать в лепке физиономии несимпатичного героя повести «Мухтар», наушника и карьериста. Я вижу — в одной этой фразе, — как Меттер ненавидит Дуговца, потому что выразительно само по себе употребление слова «совесть» в бессмысленном контексте. Выходит, это только слово, а не понятие, и за ним — пустота.

Автоматизм языка, мне кажется, задевает писателя Меттера не как ревнивого хранителя «живого, как жизнь», а как человека, для которого ничего нет хуже, чем автоматизм мышления и чувствования («мещанин мыслит автоматически», писал Горький;

писал в пору, когда люди были очень невысокого мнения о способностях автоматов).

Вот диалог из рассказа «На коммутаторе». Солдатик Петя играет по служебному телефону с поселковой (опять!) телефонисткой Дашей.

«— Разрешите завести с вами знакомство?..

Она ответила:

— Если не секрет, как вас зовут?

— С утра был Петром,— ответил Петя.— А вы, наверное, Людмила?

— Обознались,— сказала Даша, хихикнув.

— Возможно, маленько ошибся,— сказал солдат, подмигнув сверхсрочнику.— Но если не Людмила, то около того.

— Вероника,— сказала Даша.— Прошу понять в виду, у меня жутко ревнивый супруг.

И она вынула штепсель из гнезда воинской части, нарочно обрывая первый разговор на самом интересном месте.

Солдат Петя тотчас же позвонил снова...»

В рассказе этот диалог не так томительно пошел, как в цитировании, там он даже трогательно симпатичен, потому что писатель опередил наше восприятие своим комментарием, оберегающим героев от неприязни: «Не видя той, с кем он говорит, Петя не испытывал привычной своей робости. Рядом с ним сидел рослый, нахальный сверхсрочник, губастый мужик, покоритель девок во всей округе... Даша тоже не раз слышала, как разговаривали в таких случаях телефонистки...» То есть это не они говорят: это за них бодро декламирует обкатанный и бедный ритуал,— но то-то и грустно. Грустно, что у милых и, употребляя все более и более немодное слово, невинных молодых людей, у некрасивой Даши и шуплого, востроносенького Пети, нет своих слов, а порою кажется — и чувств своих нет. И если не права бывалая подружка, снаряжающая Дашу на свидание («Солдату только бы полапаться. Он взял увольнительную, ему надо во время уложиться»), если Петя ведет себя стеснительно, то после, подначиваемый расспросами дружков, «откололось ли ему сегодня», он все-таки станет лихо и многозначительно намекать, что «полный порядочек».

Значит, не один слова заучены с чужого голоса, но и чувства, едва воспарив, натываются на низкий потолок пошлости. Пока что — чужой пошлости...

Мы так часто и охотно смеемся над наивными читательскими письмами, в которых писателей умоляют устроить счастье полюболюбившихся персонажей, что литераторы порою, кажется, просто «назло» разводят героев, стесняясь счастливых концов. (Хотя, если уж на то пошло, дело не в окраске финала голубым или черным: на заре кинематографа в Дании зритель, наоборот, отказывался смотреть

фильм, если он не кончался печально,— дорого ли стоят такие слезы?). Что до рассказа про солдата и телефонистку, то мне, его читателю, тоже «по-простому», по-читательски хочется, чтобы за многогощнем финала прятался восклицательный знак хеппи-энда,— думаю, и добрый талант Меттера надеется на то же.

Вот что, однако, мешает предаться благодущию.

Двум этим птенцам, Даше с Петей, придется на пути друг к другу преодолеть не только свою робость и некрасивость, но и силу все того же автоматизма, ужасной своей заведенностью подавляющего единичность, индивидуальность, неповторимость чувства. Или — не преодолеть: не все зависит от доброй воли писателя, и трудное его дело потому и трудно, что приходится стреноживать ее, добрую эту волю, приходится, если нужно, быть даже жестоким к своим героям.

Что это именно трудно, что против воли, говорит хотя бы киноповесть «Врача вызывали?», где Меттер не удержался от соблазна, такого понятного и, кажется, такого простительного, тут же в сюжетных пределах вознаградить милую героиню всем — от любви, взаимность в которой только что казалась безнадежной, до приглашения на дефицитную вакансию в медицинскую клинику. И все же куда, куда чаще сама добрая воля пытана в меттеровской прозе все теми же бесконечными «не знаю», «не могу разобраться» — сомнениями, препятствиями, несчастьями...

Отчего бы, в самом деле, не вернуть пожилым героям повести «Гололед» их счастье, полубессмысленно утраченное в юности?

Отчего не прибавить достоинств — и прежде всего верности — той, которую слепо и отчаянно любит герой «Кати»?

Нет, не выходит отчего-то, хотя к большинству этих своих персонажей писатель относится с симпатией и ко всем — с сочувствием, а Борис, герой «Кати», и вовсе ведет рассказ от первого лица, что почти всегда таинственно роднит писателя с таким героем-рассказчиком, даже если автор не так уж много отдал ему своего, не так щедро поделился собственной судьбой.

Вернее, как раз ни с кем из близких ему героев Меттер не жесток так, как с Борисом. Или — не мешает тому быть жестоким наедине с собою. «Катя» — странная повесть. Собственно, и повестью ее можно назвать разве лишь потому, что в русской литературе это один из самых неопределенных жанров: «Аммалат-Бек», «Капитанская дочка», чеховские «Три года» — всё повести.

Она и написана со свободой совершенно внжанровой: тут и куски вполне «нормальной», повествовательной прозы, и поспешно-дневниковые странички, и дотошность мемуаров, и даже строки, которые больше приличествовали бы журнальному эссе: «У историка Нечкиной есть книга — «14 декабря 1825 года». В тоненькой этой книжке...» и т. д. И если цельность повести вне сомнения (а

лучше сказать: если цельность ее как бы даже проверена и подтверждена свободой «клочковатости» и «комковатости»), то причиной тому не фабульное единство, не закругленность судеб, не завершенность характеров — ничего этого и в помине нету. Тут причина совсем иная. Как листья, щепки, куски коры в водовороте сливаются в один сплошной круг, так все разноликие и разновеликие события, вошедшие в повесть «прямо из жизни», слиты и объединены центростремительной силой души поколения, которого все касалось и все коснулось.

И еще, пожалуй, авторской жадной разглядеть и пощупать ее, эту общую душу.

Борис — рассказчик повести, а ее герой — память, жадно и горько восстанавливающая все, что было с персонажами, с их поколением, со страной; память, срывающаяся и торжествующая, способная восстановить все заново и тут же сознающая невозможность этого; память, которую тем не менее не отшибить. Именно она, память, и есть тут добрая воля — уже не просто писателя или его вспоминающего героя, даже не просто целого их поколения, но человеческой породы и природы. Если угодно, то и истории. Воля, настолько упрямая в своей доброте, настолько неотменимо необходимая человеку (чтобы ощущать себя человеком), что Меттеру не страшно подвергать ее тяжелейшим сомнениям или испытаниям.

А может, и страшно — кто знает? — главное, что все-таки не перестает подвергать: не раз, не два и не только в «Кате».

У него есть рассказ «Сухарь», где обладатель нелестной клички майор милиции Сазонов занят делом, заведомо «мертвым»: выясняет, живы ли родители солдата, потерявшегося ребенком во время войны. Когда же, вопреки всему, отыскан отец, дело вдруг начинает казаться уже не бесперспективным, но бессмысленным, — потому что встреча сына с отцом вызывает, как их ни гони, мысли непарадные, торжеству никак не подходящие. Да писатель и не гонит их из наших с вами голов, — напротив! Вот отец, который, припоминая сыновьи приметы, спросит у «сухаря»: «Может быть, это вам поможет?» (потом он, правда, смутится: «Я нехорошо сказал», но «вам» уже вылетело); вот сын, произносящий деревянным голосом: «Здравствуйте, папа!»; вот неловкий поцелуй двух незнакомых и чужих мужчин, — все это так заметно в рассказе, что ясно: нас влекут, ташат, толкают к сомнению: «Стоило ли?» Да! Два человека шестнадцать лет жили друг без друга, они не то что отвыкли, они, такие, какие есть, и не привыкали один к другому, — стоило ли резко сворачивать их судьбы с рельсов? Станет ли встреча счастьем? А вдруг — мукой?

С Сазоновым-то еще дело ясное. Он сам потерял в войну сына. Искал. И не нашел. Но — автор? Что для него перетягивает: упорство майора или собственное — отчетливое — колебание?

Впрочем, что Сазонов, «сухарь»? Что механическое объятие отца и сына? В лирической и иступленной «Кате» пресловутая «добрая воля», жажда восстановления, неуступчивая память воплощена в фигуре почти уродливой... Возможно, и «почти» я говорю из невольной деликатности по отношению к человеку, очень уж обездоленному.

Речь о некоей Зинаиде Борисовне, которая сотворила кумира из убитого на войне приятеля, из человека, которого едва знала и в чьей жизни не играла никакой роли. Зинаида Борисовна написана жестко, даже жестоко, и теряешься, размышляя: чего же в ней больше, трогательности или странности — в этой женщине, сочинившей любовь из курортного, выражаясь нарочито вульгарно, «пересыпа»? Что она значит в этой странной и берущей за сердце повести? Что она символизирует, упорство ли памяти или трагикомичность напрасного усилия удержать неустойчивое?..

Но мне кажется, в том-то и дело, что ничего она не символизирует. Она — вновь — самоценна, объемна и, как говорится, «присуща» самой жизни, к счастью, не лезущей ни в какую схему и иной раз сопротивляющейся даже доброму желанию писателя Меттера; самоценна, как и прочие, наиболее удавшиеся герои его прозы: Катя, Борис, Алексей Иваныч, проводник Глазычев и его служебно-розыскная овчарка Мухтар...

Как самоценна и упрямая сила, заставляющая «сухаря» Сазонова или нелепую Зинаиду Борисовну делать то, что они делают, — сила, которой даже не дано предвидеть конкретно-жизнейских последствий. Изначально разумное добро восстанавливает связи, порванные изначально бессмысленным злом, не потому, что так надо, а потому, что иначе нельзя.

Ст. Рассадин

Содержание

Мухтар

3

Алексей Иванович

77

Гололед

137

Стажер

191

Катя

259

Врача вызывали?

343

Ст. Рассадин

Спокойное упрямство доброты

416

Меттер И. М.

М54 Повести.— Л.: Лениздат, 1982.— 431 с., портр.—
(Повести ленинградских писателей).

В книгу вошли ранее издававшиеся повести И. Меттера: «Мухтар», «Алексей Иванович», «Гололед», «Стажер», «Катя», «Врача вызывали?». Статья о повестях И. Меттера написана Ст. Рассадным.

М 4702010200—222
М171(03)—82 200—82

84.3(2)7

Израиль Моисеевич
МЕТТЕР



**МУХТАР
АЛЕКСЕЙ ИВАНЫЧ
ГОЛОЛЕД
СТАЖЕР
КАТЯ
ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?**

*Редактор А. А. Девель
Оформление серии художника О. И. Маслакова
Рисунки А. А. Король
Художественный редактор Б. Г. Смирнов
Технический редактор А. И. Сергеева
Корректор В. Д. Чаленко*

ИБ № 2173

Сдано в набор 23.11.81. Подписано к печати 30.04.82. М-17532. Формат 70×108¹/₃₂. Бумага тип. № 2. Гарн. литерат. Печать высокая. Усл. печ. л. 18,9+вкл. Усл. кр.-отг. 19,12. Уч.-изд. л. 19,77+0,03=19,80. Тираж 100 000 экз. Заказ № 358. Цена 1 р. 40 к.

Ордена Трудового Красного Знамени Лениздат, 191023, Ленинград, Фонтанка, 59. Ордена Трудового Красного Знамени типография им. Володарского Лениздата, 191023, Ленинград, Фонтанка, 57.